

<i>Сергей Александровский</i>	3	ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ 2007-2012 ГГ.
<i>Борис Горзев</i>	10	ТРИ МЕДАЛИ, ИЛИ ОТКРОВЕНЬЯ НЕПУШКИНИСТА
<i>Роберт Сервис в переводах Евгения Витковского</i>	23	ЕЩЕ ОДИН РОБЕРТ
<i>Ольга Рукенглаз</i>	40	ТРИ РАССКАЗА
<i>Евгений Кольчужкин</i>	51	СТИХОТВОРЕНИЯ
<i>Георгий Турьянский</i>	57	ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
<i>Алена Бабанская</i>	87	РЕТРОГРАД МНОГОЦВЕТНЫЙ
<i>Леонид Зорин</i>	93	АВАНСЦЕНА глава из мемуарного романа
<i>Елена Тверская</i>	112	ПРОСТЫЕ ВЕЩИ
<i>Олег Краснов</i>	118	ШЕЛКОВИЦА
<i>Джованни Пасколи в переводах Александра Триандафилиди</i>	123	ВЕСНА
<i>Наташа Борисова</i>	130	...НО ХОЧУ, ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ МЕНЯ ЧИТАЛИ...
<i>Борис Кокотов</i>	137	ГЛАГОЛЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
<i>Лилия Александровская</i>	141	ДВА ВОРА
<i>Дмитрий Смирнов-Садовский</i>	152	ВОСЬМИСТИШИЯ
<i>Екатерина Садур</i>	159	КОРОТКИЕ ЗАПИСКИ После Schaubuhne
<i>Рафаэль Левчин</i>	167	ИЗ ЦИКЛА «ИДОЛЫ»
<i>Вадим Молóдый</i>	175	АЛЕКСАНДР ЯБЛОНСКИЙ. ПОЗДНИЙ СТАРТ
<i>Александр Яблонский</i>	180	МАРИНА
<i>Михаил Лукашевич</i>	193	ДЕЖУРНЫЙ ВОЛШЕБНИК
<i>Ксения Драгунская</i>	201	ИРГА
<i>Даниэль Клугер</i>	207	ИГРОК

<i>Айдын Ханмагомедов</i>	213	БЕГЛЕЦ
<i>Ксения Кумм</i>	219	ВЕЛКОМ ТУ ЮКРЭЙН!
<i>Тамара Ветрова</i>	229	ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ
<i>Василий Бетаки</i> <i>Валерий Исаеяц</i> <i>Андрей Кнеллер</i>	236	А Н О Н С

---

---

### От редакции

## Уважаемые читатели!

За время, прошедшее после выхода первого номера «Зарубежных Задворок», произошло много изменений. Самое важное из них — создание Международного редакционного совета, обязанности Председателя которого принял на себя Евгений Витковский (Россия). В совет вошли (в алфавитном порядке) Сергей Александровский (Украина), **Василий Бетаки** (Франция), Леонид Зорин (Россия), Борис Кокотов

(США), Евгений Кольчужкин (Россия), Рафаэль Левчин (США), Ли Мэн (США) и Евсей Цейтлин (США).

Еще одно изменение касается редколлегии, в состав которой вошел Вадим Молóдый (США), приведший на страницы «Зарубежных Задворок» своих соратников по «Веку перевода» и издательству «Водолей». Написанные им вступления к публикациям выделены курсивом.

---

---

КОГДА ЭТОТ НОМЕР ЖУРНАЛА БЫЛ УЖЕ СВЕРСТАН,  
ИЗ ФРАНЦИИ ПРИШЛО ПЕЧАЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ:  
**23 МАРТА НА ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕМ ГОДУ ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ ПОЭТ,  
ПИСАТЕЛЬ И ПЕРЕВОДЧИК  
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ БЕТАКИ**  
ПРАХ **БЕТАКИ** БУДЕТ РАЗВЕЯН НАД СРЕДИЗЕМНЫМ МОРЕМ  
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕКУ, ЧЬЕ ИМЯ ВОШЛО В ИСТОРИЮ  
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

---

---

## Сергей АЛЕКСАНДРОВСКИЙ



Сергей Анатольевич Александровский родился 21 ноября 1956 года в Харькове, где продолжает жить до сих пор. Окончил факультет иностранных языков ХГУ. Печатается с 1989 г. В 2000-2005 гг. публиковал оригинальные стихи преимущественно в нью-йоркском «Новом Журнале». В 2007 г. в издательстве «Водолей» вышел сборник его стихов и переводов «Факсимиле». Переводит с английского, французского, испанского и португальского языков; диапазон его переводческой деятельности охватывает более пятидесяти поэтов — от Джеффри Чосера и Джона Лидгейта до Фернандо Пессоа и Эзры Паунда. Несколькими изданиями выпустил «Возвращенный Рай» Джона Мильтона, в том числе в серии «Литературные памятники» (М.: Наука, 2006). Участник антологий «Строфы века», «Строфы века-2», «Век перевода» (выпуски I-III), «Семь веков английской поэзии».

Среди недавних публикаций — «Книга о королеве. Птичий парламент» Джеффри Чосера («Время», 2004), поэма «Вишня и тёрн» Александра Монтомери вкупе с его же сонетами («Водолей», 2007), избранные стихотворения кубинских модернистов Хулиана дель Касаля и Хосе Марти «Средь сумерек и теней» («Водолей», 2011), малые поэмы Джона Китса («Водолей», 2012), сборник «Из шотландской поэзии XVI–XIX вв.» («Водолей», 2012)».

Александровский переводит далеко не все. Вот ответ, который он дал в интервью «Русскому журналу» (вела интервью Елена Калашникова):

*РЖ:* За перевод каких жанров, авторов вы никогда бы не взялись, потому что знаете, что это не «ваше»?

*С.А.:* Считаю все без исключения иноязычные «верлибры» либо творениями полубезумных словоплетов, либо — чаще всего — исчадиями ленивых графоманов, либо сознательной, мягкой оплеухой читателю — мол, получай, неведомый сноб, и восклицай: «какой шедевр!» — умным прослынешь. Никому не навязываю своей точки зрения, однако стою на ней очень твердо. Хочешь писать прозой — пиши хорошей прозой, а не руби заушную чушь на мелкие щепки. Вы замечали, что «верлибры» в подавляющем большинстве — бессмысленны?

Настоящие, метрические — включая логоэдические — стихи разделяю только на плохие (по-моему) и хорошие (тоже по-моему), независимо от того, кто их автор: изысканный средневековый классик, или вычурный современный «-ист»...

И собственные стихи, и переводы Сергея Александровского безупречны по форме и невероятно красивы. Одни критики считают его поэтом-классицистом, другие — романтиком, но на самом деле он не вмещается ни в какие рамки. Выдающийся поэт. Выдающийся переводчик. Выдающийся ученик и соратник Евгения Витковского. Выдающийся человек — вот и все, что можно о нем сказать.

# ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ 2007–2012 гг.

\* \* \*

*Лиле*

Искатель тихих мест, укромных троп,  
Усталый, поседелый мизантроп!

Не унывай: невзгоды — гиль и вздор.  
Лишь час езды — и вот: безлюдный бор.

Заглохший парк — всего лишь час ходьбы!  
Есть место, где укрыться от судьбы.

А вот: единый шаг, единый миг —  
И тут они, ряды любимых книг!

И тут же друг любимейший — жена,  
Без коей жизнь пуста и ненужна.

Земля стенает, бытие трещит —  
Но Бог твое прибежище, твой щит.

Гляди спокойно вдаль, бесстрастно вширь;  
На сон грядущий раскрывай Псалтирь.

С презреньем вниз гляди, с надеждой — ввысь,  
И от хандры хронической лечись —

И твердо помни, что свинья не съест...  
А сколь на свете заповедных мест!

Заглохший парк — всего лишь час ходьбы!  
Есть место, где укрыться от судьбы.

И, ежели в кармане держишь нож,  
Пройдешь по парку. Может быть, пройдешь...

\* \* \*

*Илье Будницкому*

*Мне голос был. Он звал утешно...*  
Анна Ахматова

Хочу покоя, праздности хочу!..  
Вселяют годы в каждого тревогу:  
Пусть век никчемный вновь себе дорогу  
Прокладывает к морю и мечу,

Кадит и ловкачу и палачу —  
Мне все равно. Я мыслю понемногу  
О том, что возраст подставляет ногу,  
И что не грех наведаться к врачу.

Я ныне чужд любых твоих забот,  
Юдоль ничтожных прав и чахлых льгот,  
Тлетворный, тусклый мир Большого Брата...

Зазывно шепчет Повелитель Мух —  
А я руками замыкаю слух,  
Глядя на луч пурпурного заката...

## Cum grano salis

*Андрею Кроткову*

*На Святой Руси петухи поют...*  
Н. Берг

Нет, радио горланит на Руси! —  
Вседневно, ежечасно и повсюду:  
Везде почет назойливому чуду  
Техническому, Господи спаси...

Что ж, громкоговоритель, голоси —  
Дай волю горлодеру, словоблуду!  
И я внимать, скрипя зубами, буду  
В автобусе, в троллейбусе, в такси...

А прежде, молвят, нас возили кони;  
И, говорят, не только в глухомани  
Возможно слушать было тишину...

Клянущая всяк час Попова и Маркони,  
Клянущая всяк день Кулона и Гальвани —  
И век пропащий всячески клянущая.

\* \* \*

*Татьяне Берфорд*

*На что вы, дни!..  
Баратынский*

Грохочут годы в городском аду,  
И цепенеет ум, и вянут уши...  
Неслышно скрыться в стареньком саду,  
Устало сесть под сенью сонной груши!

Презреть забот постылых череду,  
Уйти от суеты, забыть о чуши;  
Скончаться судьбой сужденную страду:  
Читать, курить, неспешно бить баклуши.

Недужен век, и в нем поэт не нужен.  
В навозных кучах нынче нет жемчужин,  
И нынче стыдно знаменитым быть...

И стыннут недописанные книги,  
И на корявой груше зреют фиги,  
И не желает Парка резать нить.

## Дубинушка

*Надежде Мальцевой*

О, кривда силу исстари копила!  
И властвовать ей ныне суждено:  
Былая правда канула на дно,  
И бесы не пугаются кропила.

Увы: явила правда столько пыла,  
Что с плевелами спутала зерно...  
В пустых амбарах, за бревном бревно,  
Свергаются ненужные стропила.

Артель крушит!.. О Боже, укажи:  
Как можно жить над пропастью во лжи,  
Куда бежать, коль целый мир — чужбина?

Ни колоса в полях. В полях метель...  
И ухаёт безмозглая артель,  
И бухает бессмертная дубина.

## Animal farm

*Юрию Лукачу*

Усердно жвачку жуй, людское стадо,  
Пока тебя хозяйская рука  
Пасет! — и множься, коль велят пока  
Из года в год плодить за чадом чадо.

Убой далек, беспечное говядо —  
Знай, тучные нагуливай бока!..  
Строг фермер, да заботлив: табака —  
Не надо, молвит. И стихов — не надо...

Не зря мирскую дрянь, земную грязь  
Насытил и взлелеял темный князь:  
Доволен сброд, и славит властелина;

Век шествует — греша, глуша, круша...  
Сиротствует бесправная душа,  
И царствует несмысленная глина.

## Листопад

*Моей матери*

Пусть на асфальте россыпи листья —  
А солнце греет. Свет и синева —  
Июлем веет! Но октябрь, увы,  
Уже вступил в державные права.

Прощальный шепот жухнувшей травы,  
И палых листьев грустные слова...  
О, что же мне сказать хотите вы,  
Златая осень, тихая вдова?

Скажите, что восславить вас пора —  
Велите мне добраться до пера,  
Покуда за окном шуршит метла...

Горит листва, печальна и пестра.  
Внушите мне, что жизнь — моя сестра,  
Солгите, что печаль моя светла...

\* \* \*

*Наталье Львовне Раковской*

Брезгливый призрак на мирском пиру,  
Я предаюсь отрадному похмелью.  
Не по душе мне пир, не по нутру...  
Зачем же я пришел? С какою целью?

Что день — то ближе к смертному одру.  
Сколь суеты меж ним и колыбелью!  
Даруй мне, Боже, маленькую келью  
Под елью в райском ласковом бору!

Разделанный судьбою под орех,  
Не понаслышке ведаю про грех,  
Утратив правый путь во тьме долины...

И умоляю: «Господи, прости  
Свое создание, шедшее с пути:  
Земная жизнь и смертный грех — едины».

## Беглец

*Бедный, слабый воин Бога...*  
Федор Сологуб

И ты отвагу счел своей сестрой?..  
Бойцом себя нарек, бездумный шут?  
Ты взялся Божий защищать редут —  
Боец на час, потом — на миг герой;

Потом — беглец! Тебя сквозь долгий строй  
Невзгод и бед заслуженно ведут;  
Когда хлестнет последний тяжкий прут —  
Велят: «Возьми лопату, стань и рой».

Но прежде возгласит Архистратиг:  
«Ты честный прожил час, и добрый миг;  
И в Божьей каре зла не усмотрел.

Не худшее средь падших Божьих чад,  
Прими наш дар: спасительный расстрел,  
Домой ведущий — в небо — в свет — назад...»



## Этюд

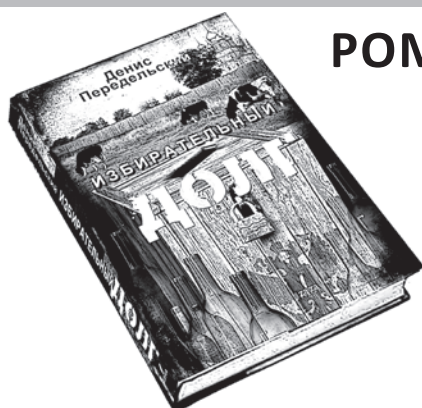
*Ларе Леггатт*

Из окна второго этажа,  
Сквозь листву заржавевшего клена,  
Выплыла мелодия, дрожа,  
В серый мир асфальта и бетона.

Трепетали пальцы скрипача,  
Быстры, безошибочны и тверды;  
И лились, застенчиво звуча,  
Жизнью позабытые аккорды.

И витали ноты, и вились,  
И ныряли в уличные дали,  
И взмывали в меркнущую высь,  
И, мелькнув, немедля пропадали:

Тронув паутину сентября  
Нежными легато и стаккато,  
Улетали в алые моря  
Празднично-прощального заката...



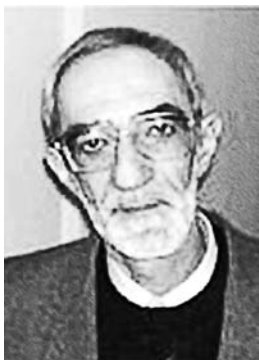
### РОМАН «Избирательный долг»

**Дениса ПЕРЕДЕЛЬСКОГО**

Ничем не примечательный процесс  
выборов **губернатора**  
в одном из регионов России  
неожиданно оказывается нарушен  
**РЯДОВЫМ** гражданином.

ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG

## Борис ГОРЗЕВ



Борис Аркадьевич Горзев родился в 1944 году в Москве, где живет и поныне. По образованию врач, затем научный сотрудник Института медицинской генетики, кандидат наук. С конца 80-х профессиональный литератор, член Союза писателей Москвы. Публиковал стихи и прозу в «Новом мире», «Знамени», «Дружбе народов», «Гранях» и других журналах на родине и за рубежом, в частности, в США, Германии, Польше. Автор восьми книг прозы и двух поэтических сборников. Автор исследований о Пушкине (книга «Пушкинские истории»), а также серии очерков о других известных личностях - сказочнике Гансе-Христиане Андерсене, русском царе Борисе Годунове, поэте Павле Когане и др. Переведен на польский и болгарский языки. Несколько книг Б. Горзева приняты Русским отделом Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне.

## ТРИ МЕДАЛИ, ИЛИ ОТКРОВЕНЬЯ НЕПУШКИНИСТА

### 1

**Л**ев Гордон был профессиональным писателем, но непрофессиональным пушкинистом. А что такое профессиональный пушкинист? Ну, скажем, литературовед, чья область деятельности — пушкинистика. Или такой пример: всем известный Натан Эйдельман. Историк по образованию, затем школьный учитель, затем научный сотрудник, кандидат наук. История русской культуры и общественное движение России в XVIII—XIX веках — вот что его интересовало особо. Естественно, одной из главных тем этих исследований, а затем и писательского творчества стали декабристы. А еще одной темой, что тоже естественно, — Пушкин. Другой пример — Юрий Михайлович Лотман. Филолог, литературовед, культуролог, один из основоположников семиотики (под этим понимают науку о коммуникативных системах и знаках в языках), доктор наук, в свое время зав кафедрой русской литературы в Тартуском университете, профессор, член нескольких иностранных академий. Опубликовал многое,

в том числе труды по декабристам и, конечно, по Пушкину. «Конечно» потому, что мимо Пушкина никак не пройти. Комментарии к «Евгению Онегину» — это, считай, уже классика. Вот такие примеры, такие личности, и куда уж нашему Лёве Гордону!

Лёва Гордон окончил медицинский институт, затем в течение десяти лет врачевал. Врачевал он хорошо, но без души. Говорят, чтобы понять человека, надо знать о его хобби. Вот это и есть занятия для души. А еще говорят, основная цель хобби — помочь человеку самореализоваться.

Лёва Гордон самореализовался — стал писателем, чем серьезно занимался с юности. Ушел из медицины, писал, помаленьку пошли публикации, и, в конце концов, через немалое число лет, его приняли в Союз писателей, то есть он стал писателем профессиональным, официальным. Выпустил несколько книг поэзии и прозы, причем, прозы, так сказать, серьезной, не детективы или что-то другое, модное или легко читаемое, хорошо покупаемое. Раскручен он был не слишком, но от этого не страдал, писал, как душа велела, себе не изменял. Однако, опять же с юности было у него еще одно хобби — Пушкин. Почему именно Пушкин, его творчество, жизнь и судьба — это долгий и отдельный разговор, но факт есть факт: изредка, время от времени, Гордон отвлекался от своей литературы, от очередной повести или романа, и увлеченно занимался каким-то исследованием, связанным с великим поэтом, рылся в документах, просиживал в библиотеках, делал выписки, потом обдумывал, что-то понимал или о чем-то догадывался, а на финале всего этого — писал очерк. Таких очерков за многие годы набралось с десяток. Гордон их не публиковал, ибо, справедливо не считая себя пушкинистом, долго относился к этому действительно как к писательскому хобби. Да и вклиниваться в ряды настоящих пушкинистов было неловко. Кто он такой, чтобы иметь свое мнение, когда существовали и существуют всем известные корифеи? Шло время, Гордону было уже лет сорок пять, он стал более или менее известен, особенно, как говорится, в узких кругах, то есть своих, писательских, а плюс кому и издательских. Вот благодаря этим последним и начались интересные истории. Тогда многие рисковали — кто-то выживал, кто-то исчезал с горизонта. Отменили цензуру, рынок, рынок, рынок! Возникли издательства, которые искали новых авторов или печатали прежде запрещенных, чтобы заявить о себе и утвердиться. Книг и книжных магазинов стало море, глаза разбегаются. Среди таких новых издательств оказались вполне серьезные, выпускавшие книги не только еще малоизвестных авторов, но и те, которые в советское время не могли увидеть свет по определению. Например, в 91-м году возникло издательство «Русский путь» — как филиал парижского издательства «Имка-Пресс», причем, что существенно, при поддержке Фонда Солженицына. Что издавали? Исторические исследования и мемуары (в том числе эмигрантские), художественную литературу, литературоведческую и философскую, книги по искусству. Как-то так вышло (а как — теперь уж позабылось), среди редколлегии «Русского пути» оказались люди, которым кто-то из знакомых порекомендовал нашего Гордона. Ему позвонили, он приехал на Нижнюю Радищевскую, что прямо за метро «Таганская», посидел, попил чаю с приятными людьми, и ему предложили попробовать себя в качестве редактора, а если всё сложится, то уже в качестве гонорара издадут его, Гордона, собственную книгу. То есть вы — нам, мы — вам. Подумав, Гордон дал согласие, и начался новый этап его деятельности: работа литературного редактора. Дело новое, но вскоре пошло-поехало, и оказалось, это даже по-своему интересно. Так, он отредактировал книгу о декабристах (автор жил в Германии, и держать связь с ним

по тем временам было непросто), потом книгу современного датского историка (естественно, в переводе на русский) о супруге государя Александра III принцессе Дагмар, дочери короля Дании Кристиана IX, впоследствии императрице Марии Федоровне, матери нашего последнего царя. Мало того, что всё это оказалось очень интересным, и Гордон узнал много нового, в том числе трагичного, — он приобрел новую профессию — литературного редактора, а приобретая ее, много взял для себя по части тонкостей родного языка, ибо приходилось на ходу самообразовываться, читать специальную литературу. Ну и еще немаловажная деталь — гонорары. Один из них Гордон вложил в издание собственной книги, ибо зацвело время, когда наиболее известные издательства, если соглашались тебя издать (то есть именно такую твою книгу, а не что-то не отвечающее их имиджу), то при условии внесения автором стартового взноса. Дальше — договор, выпуск книги, постановка ее в книжные магазины, столько-то процентов — вам, столько-то нам. Вскоре книгу издали. Но сейчас дело не в этом. Гордон продолжал писать и параллельно с этим, хотя, время от времени, когда предлагали, занимался редактированием книг в «Русском пути». Тут возникали преинтересные встречи и знакомства, и пока укажем только на одно из таких знакомств — с Натальей Дмитриевной Солженицыной, женой Александра Исаевича, прекрасной, энергичной женщиной, куратором многих изданий в «Русском пути». К последствиям этого знакомства мы еще вернемся.

Приближалась время пушкинского юбилея — 200-летие со дня рождения поэта. К этому событию многие готовились, в том числе разные издательства. В одном из них (но не в «Русском пути») Гордона спросили однажды, есть ли у него что-то по Пушкину. Он задумался. В том смысле, что есть-то есть, а вот не стыдно ли будет предлагать это для публикации, ведь он не пушкинист. Однако в конце концов решился отнести рукопись в то самое издательство, и вот еще почему. Где-то с год назад Гордон написал свой очередной пушкинский очерк. Долго примерялся к нему, к этой теме, и наконец написал. Боязно было, но взялся, написал. Теперь, в совокупности с прежними очерками, получалась целая книга — небольшая по объему, худенькая, но тем лучше. Сборник очерков, или цикл. Каждый из этих очерков был связан с какой-то пушкинской историей, его судьбой (один из этих очерков — о таинственном исчезновении дуэльного сюртука Пушкина, прямо детектив! — был написан после консультаций с замечательным историком, далеvedом, писателем В. И. Пурдоминским). В общем, исследования, а может быть, и расследования, это как вам угодно. А тот последний очерк, завершающий книгу, очерк, к которому Гордон примерялся годами, назывался «Выбор. Пушкин и Наталья Гончарова». Тут не надо было специально готовиться, то есть начитывать что-то конкретное — тут следовало обобщить всё то, что Гордон знал раньше, что знал о Пушкине из многочисленных источников, документов, писем. Речь шла о психологии, именно о ней: почему Пушкин выбрал именно Наталью Гончарову? Вот в психологии всё и дело. А ее, эту науку, Гордон, пусть опять же не профессионально, знал. Еще будучи студентом-медиком, а потом врачом, читал специальную литературу, даже посещал лекции по психологии в качестве факультатива. В общем, знания были. И вот — Пушкин. Соединяя первое со вторым, можно было что-то понять глубинно. Он что-то понял и написал. Как вышло, судить не нам, но Гордону показалось, что он попал в точку. Потому и присовокупил этот очерк к написанным ранее, сложил всё это, расположил как надо, написал предисловие и отнес в издательство. Там прочитали, сказали «хорошо, ждите». Ну, дескать, есть очередь в типографии, а до того — обычная работа редактора, корректора, художника и так далее. Гордон занимался своими делами и ждал. Прошел месяц, еще один, и наконец его вызвали в издатель-

ство. Тут и случилось событие. Оказалось, вот в чем причина задержки: директор издательства, не будучи знатоком Пушкина и, понятно, не желая рисковать имиджем своей фирмы (все-таки скоро юбилей великого поэта, а туфту издавать никак нельзя), решил изначально заручиться профессиональной рецензией на принесенную ему рукопись. Если ерунда, то — извините, а если рецензия окажется положительной, то вот и отлично, будем издавать. Что ж, правильно решил: ведь сам не знаток предмета, да и автор — не профессиональный пушкинист, а, так сказать, любитель. Так вот, пришедшего в издательство Гордона ознакомили с полученной рецензией на рукопись его книги о Пушкине. Потом это событие Гордон обозначил с улыбкой так: я получил медаль! Медаль за Пушкина. Так и говорил своим друзьям: «Я получил за Пушкина медаль. Других медалей не заслужил, а тут — вот она, и за Пушкина». А дело было в том, что рецензию на книгу Гордона дал Музей Пушкина. Тот, который в Москве на Пречистенке. И писал ту рецензию зам директора музея по научной работе, женщина, довольно известный пушкинист, о чем Гордон давно знал, равно как и то, что эта дама довольно строгая в оценках. И что? А то, что рецензия оказалась положительной, и, хотя там было несколько мелких критических замечаний, книгу рекомендовали к печати. Рекомендовали! Вот так, шутейно говоря, Гордон получил свою медаль. А как иначе? Ведь его, пушкиниста-любителя, не то что не обругали, а даже погладили по головке. Чудеса! В общем, Гордон получил свою медаль, которую нельзя было прицепить на грудь, но вскоре получил свою книгу, которую можно было подержать в руках и дарить друзьям. Что он и делал с удовольствием, ибо эта его книга, его «Пушкинские истории», была ему особенно дорога. Почему особенно? Ну, так ведь это о Пушкине, а еще, оказалось, автор — все-таки пушкинист. А что это такое — пушкинист? Ай, ну ладно, опять тот самый разговор!

## 2

**Т**огда же, в числе прочих, Гордон преподнес экземпляр своих «Пушкинских историй» директору «Русского пути», человеку серьезному и, всем было известно, строгих правил. С ним еще пару лет назад, когда Гордон на договорных началах редактировал упомянутые выше книги, установились доброжелательно-ровные отношения. Знаменательным в этом отношении стало знакомство с выпущенной «Русским путем» книгой Анны Васильевны Тимирёвой, героической и прекрасной женщины, которая была вместе с адмиралом Колчаком все его последние до расстрела годы, за что потом поплатилась тридцатью годами тюрем и ссылок. В том толстом томе, кроме воспоминаний, приведена ее переписка с Колчаком, а еще рассказы и короткая подборка стихов. Оттуда Гордон столько узнал и столько вынес для себя, что это тема (сам Колчак, а также он и Тимирёва), потом стала звучать и в его личном творчестве. А плюс к этому, Гордона познакомили с племянником Тимирёвой, хранителем письменного наследия своей прекрасной, талантливой тётушки с трагической судьбой (тогда уже покойной), и, бывая в их доме на Плющихе, Гордон видел такие документы и такие фотографии, что это не могло не произвести на него неизгладимого впечатления. Связь времен и судеб. И эта связь не прерывалась: пройдет несколько лет, и Гордону предложат стать редактором, автором предисловия и одним из составителей новой книги Тимирёвой — полного сборника ее стихотворений (эта книга опубликована под фа-

милией Книпер, по второму браку автора). Но и это не всё: Гордон напишет большой очерк о Колчаке и Тимирёвой, затем на этой основе — сценарий, по которому будет сделан документальный историко-биографический фильм. Его покажут на центральном телевидении в рамках цикла передач «Цивилизация», причем неоднократно. Но мы забежали вперед. А тогда, как было упомянуто, в 1998 году, Гордон преподнес свои «Пушкинские истории» директору «Русского пути». Через некоторое время — телефонный звонок. Оказалось, Наталья Дмитриевна Солженицына. Гордон аж обалдел, ибо никак не ожидал и вообще это в первый раз. Сам разговор вышел короткий и деловым. Первое — она прочитала его пушкинскую книгу, оценка вполне благоприятная; второе, и главное: «Русский путь» уговаривает правнучку Пушкина издать книгу ее воспоминаний, и, если эти уговоры увенчаются успехом, то редактором этой книги должен стать Гордон. Согласны? Полный обвал чувств! Ну, благодарю за честь, это понятно. Однако как это — правнучка Пушкина? Правнучка? Как это — она жива? Не может быть! Оказалось, может. Да, именно правнучка, а не пра-пра. Да, уже престарелая, 95 лет, но при ясном уме. Надо торопиться издать, а то она неважно себя чувствует, слабенькая. Торопиться — именно сейчас, к 200-летию Пушкина. У нее есть воспоминания о семье, об отце, о детях Пушкина, но эти воспоминания стесняется издавать. И вообще она очень много знает и помнит, говорить с ней — будто касаться истории, пушкинской и первой половины двадцатого века, в том числе ее собственной истории, по большей части трагической, как у нас и положено (в 37-м году репрессирован отец — генерал Мезенцов, бывший адъютантом великого князя Михаила Николаевича, затем состоявший в свите Николая II, а ее брат, то есть правнук Пушкина, еще совсем молодым был арестован в 1930-м году и вскоре умер от туберкулеза). Так вы согласны? Если да, то дело за ней, правнучкой: если она согласится отдать свою рукопись (именно рукопись, то есть написанное рукой) и если она согласится, чтобы у нее был редактор. Не корректор, после того как текст напечатают на машинке, а именно редактор. И еще: если будет встреча с ней, захватите с собой вашу пушкинскую книгу, чтобы подарить. Вот такой разговор с Солженицыной. В тот день Гордон долго не мог свыкнуться с этой мыслью: правнучка Пушкина, именно правнучка? Казалось, расстояние во времени (в веках!) между Пушкиным и ним, Гордоном, будто по волшебству сжалось, скукожилось всего до... ну да, всего до трех поколений. И Пушкин стал намного ближе — вот, дотянуться можно! Посмотреть на его живую правнучку, поговорить с ней, услышать воспоминания, семейные легенды! С этим надо свыкнуться, и вправду. Гордон еще не знал, что вскоре его наградят второй медалью. Второй медалью за Пушкина.

В означенный день сели в машину и поехали: директор издательства «Русский путь», еще одна дама оттуда же и Гордон. Значит, Наталья Дмитриевна Солженицына добилась того, чтобы правнучка Пушкина их приняла. Значит, правнучка согласна делать книгу. Дом в старой новостройке (то есть «хрущоба») на окраине Москвы, за Давыдково. Маленькая квартира, бедноватая. А вот и хозяйка — Наталья Сергеевна Шепелева, девяностопятилетняя, сухая, но прямая, еще стройная женщина, которую старухой назвать язык не поворачивается. Седые волосы на пробор, ясные темные глаза, длинные худые руки. Не улыбочатая, но доброжелательная. Довольно подвижная: вознамерилась угостить чаем, но гости тут же взялись помогать ей (сама хозяйка давно жила в одиночестве). Наконец расселись за столом в комнате. На стенах — всё о Пушкине, но не картины, а репродукции, даже вырезки из иллюстрированных журналов. Пушкин, Пушкин, а вот и Наталья Николаевна... Мать честная, вдруг поразился Гордон, ведь эта Наталья Сергеевна — правнучка не только Пушкина, но и его жены, Гончаровой! Гены, гены! Вот откуда стройность,

неизбывная, неподвластная почти столетнему возрасту стать! И голос — негромкий, но четкий, без старческих модуляций, капризов, всё по делу: да, решила, да, будем работать, а пока берите рукопись, печатайте на машинке, потом привезете мне, я всё сверю. Наконец, очередь дошла до Гордона. «Это ваш редактор, Наталья Сергеевна, хороший редактор, а сам он писатель и еще пушкинист, недавно книгу о вашем великом предке написал, так что именно ему с вами и работать. Согласны?» Гордон протянул свою книгу, на титульном листе которой еще дома сделал дарственную надпись. И тут случилось неожиданное. Правнучка приняла дар, повертела в руках, взглядываясь в название, и сказала как-то безапелляционно: «О Пушкине? А нынче чего только о нем не пишут! Много шума и лишнего. Ладно, вот прочитаю, что вы тут написали, а тогда и решу, будете вы у меня редактором или нет. А и вообще — зачем мне редактор? Ни в коем случае, я писать по-русски умею». Директор «Русского пути», человек дипломатичный, быстро перевел разговор на другую тему, заговорил об оформлении будущей книги, об иллюстративном материале, и Наталья Сергеевна сразу отвлеклась на фотографии из своих альбомов, которые достала из ящика буфета. Гордон с любопытством глядел на старые фото, в том числе сделанные еще на картоне и пластинках, чуть ли не дагерротипы. Просто фантастика! (Потом некоторые из них окажутся в вышедшей книге — отдельными вклейками на толстой матовой бумаге, и первым будет сын Пушкина Александр Александрович, дед Натальи Сергеевны, герой Шипки и Плевны, в генеральской форме при сабле, в накидке, седобородый, статный, незадолго до смерти в 1914 году.) Визит длился не более часа. Собрались откланяться, чему, как показалось, хозяйка была рада, ибо разволновалась и устала. Но это не мешало ей всё помнить. Прощаясь, сказала Гордону: «Оставьте мне свой номер телефона и напишите там ваше имя-отчество. Я прочту вашу книгу и позвоню вам сама. Если да, то да. Ну а если нет, то...» И не договорила, ибо и так было ясно...

Минуло три или четыре дня. Вечером — звонок. После приветствий следующее: «Я прочтала вашу книгу. Кое-что спорно, но в целом хорошо, даже очень хорошо, неожиданно. Я согласна на вас. Будем работать». Так Гордон получил вторую медаль за Пушкина. И не от кого-нибудь, а от его правнучки. Впрочем, у этой медали оказалась обратная сторона, однако, в отличие от известного мнения, тоже крайне положительная.

Еще через неделю Гордон поехал в «Русский путь», чтобы получить отпечатанный на машинке экземпляр рукописи Наталии Сергеевны (еще один уже отвезли ей домой). Вечером начал читать — и ахнул. Нет, текст сам по себе оказался грамотным, образным, в меру эмоциональным, очень интересным (какие сведения, какая история семьи правнучки Пушкина и его потомков!), четким, последовательным, с подробной датировкой событий (никогда не скажешь, что автору почти сто лет), однако — стиль! Создавалось впечатление, что Наталья Сергеевна мыслила прошлой речью, то есть продолжала ощущать себя живущей где-то в начале двадцатого века, и писала так, как было принято тогда. Тьма архаизмов, излишне деликатных выражений, иногда со скрытым смыслом, чтобы, не дай бог, никого не поранить, не обидеть. Ну а плюс к тому, много дат, исторических ссылок (а ведь это надо проверять, выверять, ибо автор — в возрасте, мог кое-где и напутать, ибо написаны воспоминания исключительно по памяти). В общем, помня о повелении правнучки ни в коем случае не править ее текст, Гордон придумал вот что: отредактировал всего одну страницу и, позвонив Наталье Сергеевне, напросился на визит, причем именно деловой, уточнил. Уже у нее дома передал ей отре-

дактированную страницу и предложил (но не сейчас, а завтра, завтра!) спокойно сверить это с первичным текстом и решить, так пойдет или нет. Если да, то да, улыбнулся, а если нет... ну, если издательство согласится, то тогда без редактора, только даты проверить. Потом они говорили о Пушкине, о семье, Наталья Сергеевна кое-что вспоминала, опять показывала фотографии, поведала о некоторых крайне любопытных деталях, не вошедших в ее воспоминания, поскольку, сказала, это семейные легенды, мнения, пересуды, а было ли так на самом деле, бог знает. В общем, чудесно посидели, Гордон был счастлив. И еще потому счастлив, что чувствовал: правнучка Пушкина относится к нему очень тепло. А назавтра новый звонок. «Я внимательно прочитала ваш вариант. Сверила с моим. М-да, есть разница... Но знаете, что я решила? Думала-думала и решила. Редактируйте так, как вы считаете нужным. Да, вот так. Так хорошо. Я согласна». Вот и выходит, что у обратной стороны медали (второй медали Гордона за Пушкина), бывает не просто положительное, а даже нечто расчудесное. Во всяком случае, так показалось Гордону после того, как он положил телефонную трубку и в его ушах еще стоял негромкий, ясный голос правнучки Пушкина... Потом началась работа над рукописью, кропотливая, напряженная, и заняла она почти два месяца. Приходилось многое править по стилю, сверяться с датами по справочникам и опубликованным документам (удивительно, но за исключением всего двух моментов, память не подвела Наталию Сергеевну). Несколько нервировало то, что Гордона торопили: несколько раз звонили из издательства и от имени Солженицыной повторяли, что Наталье Сергеевне девяносто пять лет, что она неважно себя чувствует, слабеет и, не дай бог, не доживет до издания своей книги, а это теперь стало смыслом ее жизни, и святая обязанность «Русского пути» успеть, успеть! Ну, Гордон и так не валял дурака, работал энергично, и все свои личные писательские дела отложил в сторону. Время от времени они — автор и редактор — перезванивались, но исключительно по делу: сверялись по определенным деталям, датам или Гордон спрашивал, нет ли возражений, если некий эпизод будет подан в исправленном виде, а не как в рукописи. Уже не удивлялся, что контакт был хорошим, Наталия Сергеевна выслушивала внимательно, высказывала свое мнение, иногда спорила, но чаще не упорствовала, соглашалась. И все-таки Гордон чувствовал, что она устает, вскоре голос слабел, поэтому с течением дней телефонные общения становились всё короче. Однажды возник такой разговор, довольно неожиданный.

— Хочу посоветоваться с вами, — начала Наталия Сергеевна, позвонив вечером. — Как вы считаете? Вот фамилия моя — Шепелева, это по мужу, давно покойному. А девичья моя фамилия, то есть по отцу — Мезенцова. Так вот, я подумала, верней, мне захотелось... Захотелось мне, чтобы эта моя книга о семье, об отце и матери, о потомках Пушкина, чтобы ее издали под моей фамилией по отцу. Чтобы была Мезенцова. В память отца. Как вы считаете, это допустимо? И вообще — это хорошо?

Гордон ответил так:

— Это ваше право, Наталия Сергеевна. Решать вам. Но право выбора вы имеете. Это же не анкета, где всё по паспорту, а книга. Лично я не вижу возражений, а решать вам. Но мне кажется, если у вас возникла такая мысль, то возникла неспроста. Если так хочется, если это некий глубинный зов, то, может, так и нужно? Решайте.

Возникла пауза, потом слабый голос:

— Спасибо. Значит, так и сделаем. Исправьте на первом листе мою фамилию на Н.С.Мезенцову...



Наконец Гордон завершил свой труд и отвез Наталии Сергеевне отредактированную рукопись, чтобы она внимательно прочитала, сделала, если нужно, какие-то замечания, потом они всё согласуют, и она подпишет рукопись в печать. Стал ждать. Но через пару дней вдруг позвонила Солженицына и заговорила жестко:

— Что Вы тянете? Где рукопись? Наталия Сергеевна плохо себя чувствует!

Гордон объяснил, что работу сделал, рукопись отвез автору, теперь дело за ней. На том инцидент был исчерпан. Но осталось беспокойство: как дела у Наталии Сергеевны, сможет ли она справиться с вычиткой текста, с правкой?

Потом он узнал, что она совсем ослабела, но рукопись успела прочесть. И следом заболела — кажется, гриппом (по Москве ходила очередная зимняя эпидемия). Рукопись у нее забрали в «Русский путь», и там началась срочная подготовка книги к изданию. Солженицына всех торопила ужасно. Вскоре Наталию Сергеевну госпитализировали с пневмонией. Состояние ухудшалось. Перевели в реанимацию. Дело было за типографией — успеют ли сделать тираж? Тираж не успели, сделали пока несколько сигнальных экземпляров, и Солженицына срочно повезла один из них в больницу — показать правнучке Пушкина. Солженицына успела. Потом рассказывали, что в реанимации старушка огладила книгу дрожащими руками и произнесла: «Ну вот, теперь я могу умирать»... Ее, не дожившую до 200-летия Пушкина всего нескольких месяцев, отпевали в храме на Остоженке, после чего поехали на Новодевичье, где была семейная могила Пушкиных (там в 1932 году был похоронен и репрессированный брат Наталии Сергеевны молодой Саша, правнук Пушкина). Был сырой март, ветрено, слегка морозно. Гордон стоял у гроба и в последний раз вглядывался в белое лицо старой женщины, которую успел полюбить, с которой его связало нечто большее, чем просто знакомство редактора с интересным автором. Их соединил Пушкин. И судьба. Потому что, если любишь Пушкина, любишь осознанно, понимая, почему его любишь, любишь всю долгую жизнь, то это не хобби, не увлечение, даже не страсть, это твоя судьба. И не странно, что тогда вспомнились именно эти слова из книги правнучки Пушкина, из книги, названной ею «В них обретает сердце пищу», книги, которую она издала под фамилией Мезенцова, по отцу, репрессированному в 37-м: «Я родилась в 1904 году в Петербурге во время войны и в жизни своей пережила пять войн, из которых самая страшная была гражданская, которая в моем сознании никогда не кончалась».

### 3

**В** том же юбилейном году, 1999-м, уже в начале лета, должен был состояться творческий вечер Гордона в Доме-музее Цветаевой. Вообще-то пушкинских вечеров там прошло несколько, и вот очередной из них предложили Гордону, тем более что тут он выступал и раньше, причем неоднократно, поскольку с Музеем Цветаевой его связали давние отношения. Тамошняя культурная программа всегда отличалась некой почти классической изысканностью. Вечера бывали разные — поэтические, музыкальные или посвященные памяти какого-то знаменитого литератора. Однако всё и всегда строго, никаких современных наворотов и вольностей. Это, если угодно, насадила и постоянно отслеживала Надежда Ивановна Катаева-Лыткина, организатор музея и его научный руководитель, женщина выдающаяся, благодаря идеям и энергии которой Дом-музей Цве-

таевой стал одним из культурных очагов в центре Москвы, в Борисоглебском переулке. Да, за восемьдесят женщине, а энергии — через край, умна, доброжелательна, но строга. И, конечно, любовь к истинному искусству, к живописи, музыке, вокалу, поэзии, а уж к Цветаевой — это само собой. (Уже после смерти Надежды Ивановны в 2001 году Гордон узнал такие детали ее биографии: врач по образованию, она во время войны работала во фронтовом госпитале, потом, после войны, — в различных медицинских учреждениях, и в 53-м была уволена за несогласие с «делом врачей». Спасибо еще, не успели посадить, поскольку то «дело» вскоре после смерти Сталина лопнуло.) Это мы к чему, про строгость Катаевой-Лыткиной и безусловную, безоговорочную любовь к Цветаевой? Дело в том, что, обдумывая программу своего пушкинского вечера, Гордон замыслил, в том числе, познакомить присутствующую публику с одной из глав своих «Пушкинских историй» — именно с главой «Выбор. Пушкин и Наталья Гончарова». Ну и что? А то, что там — постоянная заочная полемика с Цветаевой, с ее высказываниями и мнениями о жене поэта, причем, в общем-то, негативными, мягко говоря. А Гордон будет доказывать, что Цветаева не права. А Цветаева, понятно, уже никак не сможет ответить на это, стоять на своем. А Надежда Ивановна Катаева-Лыткина будет сидеть в зале и слушать всё это. И... и что будет потом, после выступления, страшно себе представить. В общем, Гордон волновался, однако решил делать, как задумал. В конце концов, вспомнил, у него две медали за Пушкина, от научного руководителя Музея Пушкина и от правнучки Пушкина — они читали его книгу, в том числе «Выбор», и дали положительную оценку. Посему — надо рискнуть. И рискнул: во втором отделении (в первом читал стихи из своего «Пушкинского цикла») сказал, что теперь, продолжая разговор о Пушкине, хочет поделиться мыслями о том, почему поэт остановил свой выбор именно на Наталье Гончаровой. И добавил: почему — с точки зрения психологии. Далее он почти близко к тексту пересказал свой очерк из «Пушкинских историй». Тот самый очерк. Вот он.

## ВЫБОР

ПУШКИН И НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА

Но не хочу, о други, умирать;  
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;  
И ведаю, мне будут наслажденья  
Меж горестей, забот и тревоженья:  
Порой опять гармонией упьюсь,  
Над вымыслом слезами обольюсь,  
И может быть — на мой закат печальный  
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

*А.С.Пушкин*

Что ж, признаем: эти строки из «Элегии», созданной поэтом в 1830 году, за год до брака, оказались провидческими. Так и вышло: на действительно печальный закат блеснула действительно прощальной улыбкой любовь... Выбор. Пушкин — Наталья Гончарова... Но дело не в ней, потому что выбор совершал Он. И если, имея в виду эту пару, эту связку имен — Пушкин и Гончарова, — если о чем-то говорить, то именно о выборе — о его сути, истоках, о психологии именно такого выбора.

Да, вот тема, которой я всегда опасался касаться. И очень долго не касался. Тема брака Пушкина и всего того, что с этим браком оказалось впоследствии связано. Что-то было в этой теме для меня запретное. Потом я понял, что. Смещение акцен-

та. Достаточно обзреть многое из написанного на данную тему, чтобы в этом убедиться. Смещение акцента на интим — не тот, что в кавычках, «вересаевский», а интим истинный, который всегда есть между мужчиной и женщиной и который не может быть предметом анализа. Забывать об этом — всё равно что подглядывать в замочную скважину. А кроме того, замечу, нас должно интересовать не следствие (а именно на нем и было в основном сосредоточено массовое внимание), а — причина, ибо, повторю еще раз вслед за Галилеем, истинное знание есть знание причин. А причина здесь — это Выбор. Наверное, настало время об этом поговорить. Благо, есть источник, отталкиваясь от которого, это сделать проще. Я имею в виду статью Марины Ивановны Цветаевой «Наталья Гончарова».

Отношение Цветаевой к Гончаровой известно, оно выражено однозначно, обостренно-чётко. И дело не в отсутствии справедливости. Дело в недогляде. Кое-что (самое существенное!) Цветаева недоглядела, и недоглядела потому, что, как и многие, оказалась задавлена, подавлена тем самым следствием — трагедией, кровью, смертью, пушкинской смертью, простить которую она не могла никому. Вот примеры:

«...Нет в Наталье Гончаровой ничего дурного, ничего порочного... Было в ней одно: красавица. Только — красавица, просто — красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И — сразила...» «Наталья Гончарова просто роковая женщина, то пустое место, к которому стягиваются, вокруг которого сталкиваются все силы и страсти... Судьба выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие: красавицу...»

«И еще, изменяла Гончарова Пушкину или нет, целовалась или нет, всё равно — невинна. Невинна потому, что кукла невинна, потому что судьба, потому что Пушкина не любила...» Но гений не был бы гением (это я о Цветаевой тоже), если бы даже в таком неприятии, субъективизме, даже ослеплении, она, Цветаева, не разглядела бы все-таки истоки главного, истинного — того, кстати, что практически перечеркивает всё (или почти всё) сказанное ею в адрес Гончаровой выше. Да, разглядела — точнее, подглядела, нашла, но нашла как бы мимоходом, не остановившись, следуя своей установке дальше. Вот это главное: «Тяга Пушкина к Гончаровой, которую он сам, может быть, почел бы за навязчивое сладострастие и достоверно («огончарован») считал за чары — тяга гения — переполненности — к пустому месту. Чтоб было куда... Он хотел нуль, ибо сам был — всё... Не пара — Россет, не пара Раевская, не пара — Керн, только Гончарова — пара. Пушкину ум Россет и любовь к нему Керн не нужны были...» Да, вот это — истинная подглядка, однако и здесь — две кардинальные ошибки: «тяга гения... к пустому месту» и «Он хотел нуль» (специально выделяю голосом эти цветаевские слова). Нет, не так. И не пустое место была Гончарова, и Пушкин хотел вовсе не нуль!

А вот то, что это действительно была тяга гения — переполненности, — вот это верно, и нам сейчас только необходимо понять: тяга гения — переполненности — к чему? Не к кому (ибо «к кому» — это уже следствие), а именно к чему? Указание в мою пользу, как это ни парадоксально, находим опять же у Цветаевой, в статье «Искусство при свете совести»:

«Гений — высшая степень подверженности наитию — раз, управа с этим наитием — два. Высшая степень душевной разъятости и высшая — собранности... Гения без воли нет...» Вот именно! Управа со своим наитием, воля, могучий рефлекс цели, как это определял известный ученый-биолог Эфроимсон в своем труде «Генетика гениальности». То есть неосознанное (подсознательное) и сознательное — как бы одно целое. Так у Пушкина и было. И его тяга, тяга его гения, его переполненности, — это была тяга к вполне конкретному «чему». А вот уже потом — к «кому». И, определив это «к

чему», поняв его, можно затем отыскивать адресат, персонифицировать его: «к кому». И так, я перечисляю, но не по степени значимости, а просто по порядку, одно за другим, ибо тут значимо всё и одно без другого для Пушкина (для личности с психологией Пушкина) не существовало.

Первое. Это был человек с очень выраженным мужским началом, сильнейшим темпераментом, однако темпераментом крайне эстетизированным, и стремление к обладанию женщиной именно красавицей, именно божественной — такое стремление было заложено в код его мужской программы. Тем более он выбирал жену — то есть спутницу надолго, навсегда. А если так, она, эта вечная спутница, должна надолго же (навсегда!) соответствовать такой его эстетике. Это должен был быть действительно «чистейшей прелести чистейший образец», а образец — внимание! — не может приесться! Подобное создает эффект присутствия в некоем музее изящных искусств, таком музее, к экспонатам которого вы — вот чудо! — имеете право прикасаться, да не только прикасаться — владеть ими! Отсюда вывод: гармоническая, эталонная красота — вот что крайне необходимо мужчине такого типа.

Второе. Сказанное сопряжено с повышенным самолюбием, даже тщеславием такого типа мужчины: он должен знать, что все знают, какой он совершил великолепный выбор. Это не только постоянно подпитывает, удовлетворяет его сильное мужское начало, но и поднимает такую личность, с его точки зрения, в глазах окружающих. То есть подобный выбор связан с выгодой в общественном мнении, что для Пушкина — на вполне осознанном уровне — было существенно. Третье. Это — психология стареющего мужчины. Удивлены? Даю справку: средняя продолжительность жизни в России первой трети прошлого столетия едва достигала 40 лет. Дело, однако, не в статистике, а конкретно в Пушкине. Он действительно стремительно старел — проживал себя. Его фантастическая энергия, главное — творческая, постепенно сжигала его, и к 36 годам он выглядел явно стареющим — вспомните хотя бы его последний прижизненный портрет: уже почти не вились волосы, он лысел, худел. Да, в момент выбора, о котором идет речь, ему было около тридцати, но подсознательное ощущение старения уже возникало. «Закат печальный» — это ведь сказано именно тогда, и сказано вовсе не истериком или ипохондрикком, к числу которых Пушкин однозначно не принадлежал. И так, вот она, психология стареющего мужчины, совершающего выбор. Нужна не только красавица, но и фактически девочка, дитя — юная особа, которую он может еще и учить, обучать — обучать всему: и жизненному, и любовному.

А если она — благодарная ученица, то от такой, так сказать, эффективной педагогики подобный мужчина получает истинное наслаждение, и оно-то подкрепляет и закрепляет рефлекс тяги именно к этой женщине. Сам того не осознавая, подобный мужчина как бы играет еще и роль отца (мужчины плюс отца): любя — раз, владея — два, и обучая — три. Отсюда формула выбора: он — мужчина-отец, она — жена-дочь. Четвертое. К этому необходимо добавить еще одно, крайне важное: в такой ситуации она, жена-дочь, — вовсе не пустое место (как у Цветаевой), а — начало, глина, из которой муж-отец лепит своё чудо. А лепит он, образно говоря, сосуд, сосуд прекрасной формы. Почему сосуд? Да потому (вот тут Цветаева права), что сам-то он переполнен, его сосуд постоянно расплескивается и необходимо куда-то эту переполненность сбрасывать. В сосуд, который здесь же, рядом. В рамках такой психологии (такой психологии такого мужчины такого возраста) Пушкину действительно (подсознательно и осознанно одновременно) не нужны были: ни Россет (слишком для женщины умна), ни Керн (слишком чув-

ственна и опытна) и ни Оленина тоже (слишком себе на уме). Ни одна из них, да и прочие тоже, не отвечали всему отмеченному выше — сразу: небесной красоте (образец!), юной неопытности, благодарной ученице. Красавица + дочь = жена. Вот такая формула. Пятое, и последнее — для завершения этой психологической системы. Да, красавица, да, жена-дочь, да, та самая глина, однако — тёплая глина! То есть он, Пушкин, увидел еще и душу... ну, если не душу как таковую, то зачатки души, ее завязь. Нет, это вовсе не кукла, если вновь вспомнить «диагноз» Цветаевой. Куклу Пушкин в жены не взял бы. И Гончарова куклой не оказалась, это нам хорошо известно, особенно из ее писем (переписка с братом, например). Мы знаем, что Наталья Николаевна была и добродетельной женой, и хорошей матерью. Знаем и то, что литературные дела мужа входили в круг ее интересов. Во все не бесчувственна, во все не холодный мрамор, во все не голая красота, если опять по Цветаевой. Душа, конечно, была. Опытный, столькими обладавший мужчина, Пушкин через несколько лет после начала совместной жизни тоскует по ней и, тоскуя, вспоминает не столько о ее теле, сколько о ее душе. Помните: гляделась ли ты в зеркало, спрашивает он жену в письме, разумея ее лицо, с которым ничего на свете нельзя сравнить, и тут же добавляет: «А душу твою люблю еще больше твоего лица». Вот так! И потому в заключение вопрос: что же он, великий, переполненный, уходящий своим гением ввысь, уходящий ото всех, стареющий, опытный, — что же он выбирал, выбирал подсознательно и осознанно одновременно? Красоту, детскость, душу. Красоту, детскость, душу — в едином облике, в конкретной личности, в будущей жене. Вот — что. А теперь — кто. Этим данным — едино — среди тех женщин, кого Пушкин видел и знал, соответствовала только Наталья Гончарова. И Пушкин оказался «огончарован» — на всю оставшуюся ему недолгую жизнь.

На этом можно было бы и закончить, говоря о выборе, если бы не законный вопрос: а как же тогда понять финал — то, к чему этот выбор привел? Что ж, да, за такой выбор пришлось платить. Слепительная красавица, царица света, высшего света. Юная, неопытная. Естественно, тянулась к этому свету. Естественно! Ну что там: восемнадцать поначалу, затем двадцать, двадцать два... А в свете, между прочим, не часто: давайте не забывать, что за недолгие годы брака с Пушкиным, за неполные шесть лет, родила четверых, да и еще одну беременность пережила (выкидыш). За шесть лет пять беременностей, в четырех случаях — роды и послеродовые периоды.

Повторю: за шесть лет — пять беременностей! И где уж там сплошные балы, как нам внушали про жену Пушкина еще в недавние времена? Нет, свет — это редкость, подарок. Конечно, тянулась туда. А там она — соблазн для многих. И она — что? Нет, не важно! Не важно потому, что Пушкин первым признал: невиновна! Он, именно он — когда-то экзальтированный, пылкий, дуэлянт, донжуан со своим списком на 113 персон — он, гений, мудрый, разумный (точное определение Андрея Битова!), сказал такое, что только он и мог сказать. Может быть, самое великое из всего великого, им сказанного: «Да, она невиновна, но душа ее смущена». Невиновна — но душа смущена (видите: опять о душе, именно о душе ее вспомнил!). Конечно: душа ее была смущена. Свет, блеск, молодой, в отличие от стареющего мужа, красавец кавалергард (неглупый, кстати, хотя и мерзавец, конечно). Вот и смутилась. Да дело не в ней, а в том, что Пушкин это понял. Понял, что это может быть. Природа... Всё понял и всё взял на себя. Себя защищал, свой выбор. И защитил. Кровью. За такой выбор поэта, за такую красоту и гармонию поэт только кровью и может заплатить. Ибо если слишком велик поэт, то и слишком велик его идеал. А это, если не забывать о психологии, зона крайнего риска. Поэт, тем более великий, в ней всегда.

---

Гордон закончил, поблагодарил зал (там, пока он говорил, стояла мертвая тишина) и вслед за тем раздались аплодисменты. Обычные аплодисменты, какие бывают на финале выступлений. И пока они еще звучали, из первого ряда грузно поднялась Надежда Ивановна Катаева-Лыткина, внимательный, напряженный взгляд которой Гордон ощущал всё это время, причем, когда он произносил имя Цветаевой, то всякий раз невольно напрягался, ибо не мог не помнить, кто сидит перед ним, всего в нескольких метрах. Надежда Ивановна подошла вплотную к Гордону и расцеловала его. Он не ожидал. А она, держа его за руку, обратилась к залу. Взволнованный Гордон запомнил не все ее слова, но суть ее короткой речи была в следующем. В том, что в эти юбилейные пушкинские дни столько сказано, столько наговорено про нашего великого поэта, что, кажется, сказано всё, да так всё, что многие слова выглядят затёртыми (это слово хорошо запомнилось Гордону), уже общеизвестными, чуть ли не банальными, а вот в том, что мы сейчас услышали, не было ни одного затёртого слова, ни одного. А что было? — продолжила она. А был ум, доброжелательный и пылкий ум выступавшего, и за это ему огромное спасибо. Опять раздались аплодисменты, и Надежда Ивановна еще раз поцеловала Гордона. Вот и всё. Так Гордон получил свою третью медаль за Пушкина, на сей раз от научного руководителя Дома-музея Цветаевой.

Через два года Надежды Ивановны не стало.

Гордон присутствовал на траурной панихиде в музее, в том же зале, где он неоднократно выступал. Потом направились пешком на отпевание в храм Вознесения у Никитских ворот. Знаменательно, что отпевание прошло именно там, где 18 февраля 1831 года состоялось венчание Пушкина с Натальей Гончаровой. А еще (это уже как бы отсылка к Цветаевой) там в ноябре 1917 года отпевали юнкеров и офицеров, погибших во время октябрьских боев в Москве, а в 1925 году в этом храме совершил своё последнее богослужение патриарх Тихон, затравленный большевиками. Всем и всему свое место, это точно.

Пройдет еще несколько лет, прежде чем до Гордона однажды дойдет: ну, пусть он пушкинист-любитель, а вообще-то и непушкинист, однако при трех медалях за Пушкина. Хотя это шутка, конечно, про медали. И Гордон усмехнулся. Усмехнулся и вслед за тем понял, что надо написать об этом. То ли очерк, то ли эссе, то ли рассказик. Написать — да, о своих медалях, но не о себе, а о тех, от кого он эти медали получил. О великих женщинах. Именно о великих: ведь, если вспомнить мнение одной из них, Гордону не свойственны затёртые слова.

---

***От автора для желающих. Список книг, упомянутых выше:***

- Ирина Бродская. «Поклонник истины святой». М., «Русский путь», 1999  
Бент Енсен. «Среди цареубийц». М., «Русский путь», 2001  
«Милая, обожаемая моя Анна Васильевна...». М., «Русский путь», 1996  
А.В.Книпер. «Не ненавидеть, но любить». Кисловодск, «Благодать», 2003  
Н.С.Мезенцова. «В них обретает сердце пищу». М., «Русский путь», 1999  
Борис Горзев. «Пушкинские истории», М., «Изограф», 1997.



**РОБЕРТ СЕРВИС**  
(1874-1958)

*В переводах*  
**Евгения ВИТКОВСКОГО**



Роль лауреата международных премий, эксперта  
Союза Переводчиков России,  
**ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВИТКОВСКОГО**  
в возрождении русской культуры переоценить невозможно.

*Родился в 1950 году. С начала семидесятых годов активно занимался диссидентской деятельностью. Выдающийся поэт, романист и литературовед, создатель блестящей школы поэтического перевода. По мнению академика Михаила Леоновича Гаспарова, является лучшим российским поэтом-переводчиком. Вот четкая формулировка того, чем обязан Витковскому русскоязычный читатель:*

*«Потрясающие ритмика и мелодика, которые холодным рассудком не сделать — их нужно прожить и взять в себя, чтобы они зазвучали в другом языке. Тонкая и точная передача разлёта времён через старую русскую речь. Редкая в переводах звукопись. ...И в целом, не translation с языка на язык, не interpretation через себя (как кто-то в своё время о поэтах в переводе Пастернака: «Поэты, все вы одинаковы — похожи все на Пастернака вы»), а перевод через пространство-время культур — из одной в другую... Из тех переводов, что не только открывают русскому читателю поэзию других времени-места-культуры, но и становятся достоянием русской поэзии»*

*Виктор Каган*

*В дополнение к вышесказанному можно привести слова самого Витковского:*

*«Если в XIX веке, чтобы быть культурным человеком, нужно было знать французский язык, то сейчас, чтобы вписаться в современный мир, нужно быть знакомым с тридцатью культурами. Ведь лучших писателей XX века можно найти в совершенно неожиданных странах — грек Кавафис, португалец Пессоа, выходец из Никарагуа Рубен Дарио, корсиканец Поль Валери».*

*«Я знаю 8-9 языков. Хорошо знал немецкий и английский, поэтому достаточно легко выучил голландский и африкаанс. Потом — мальтийский, португальский, французский и итальянский. Последним выучил шотландский гэльский — на нем сейчас говорят около 100 тысяч шотландцев по всему миру. В нем нет слов «да» и «нет». «Ты устал?» — «Устал». «Она больна?» — «Она находится в добром здравии». Я читал гэльские газеты середины XIX века, так там уроки английского языка начинаются с объяснения «да» и «нет» — им непонятно, зачем нужны такие слова. Хотя в Шотландии я никогда не был, но кажется, что знаю в этой стране каждый камень».*

*Витковский вернул русскому читателю Георгия Иванова и Ивана Елагина, Арсения Несмелова и Валерия Перелешина, Игоря Чиннова и других великих поэтов эмиграции. Он основал «Век перевода» — самый престижный русскоязычный поэтический сайт, единственный сайт, на котором нет ни одного графомана. Кроме того, Евгений Владимирович Витковский является главным редактором лучшего российского издательства интеллектуальной литературы «Водолей».*

## ЕЩЕ ОДИН РОБЕРТ

**К**огда речь заходит о поэте по имени Роберт из Эйршира (Шотландия), почитателей творчества которого можно найти по всему миру, чья слава надолго пережила его самого, — когда речь заходит о поэте, чьи поклонники ежегодно устраивают обед в его честь, то невольно на память приходит одно имя — Бернс. Однако поэт, рожденный в деревушке Аллоуэй, умер почти бедняком в 37 лет, в то время, как другой выходец из эйрширской семьи, другой поэт скончался на юге Франции в 84 года, давно будучи миллионером. Но что интереснее: именно его первая книга стихотворений была издана самым большим тиражом в англоговорящем мире: по крайней мере, так считалось до конца XX века (около трех миллионов экземпляров, не считая перепечаток в составе «Собрания стихотворений» поэта).

Его имя — Роберт Уильям Сервис и он хорошо известен за пределами родной Шотландии: он стал поэтом Канады. Точнее, Полярной Канады, Канады и Аляски Джека Лондона.

В то время, когда шотландцы по всему миру ежегодно в конце января празднуют Вечер Бернса, на диком западе Канады жители Уайтхорса устраивают обед в честь человека, которого они называют Певцом Юкона. Часто его называют также «Киплингом и Джеком Лондоном в одном лице». Однако Роберт Сервис не был канадцем по рождению, он родился 16 января 1874 года в Престоне, Ланкашир (Англия) в шотландской семье. Его отец, которого также звали Роберт, был родом из города Килвиннинг (Северный Эйршир), где



работал банковским служащим. Как раз когда родился его сын, он был переведен на юг в одно из отделений Престонского банка. Многие поколения семьи Сервисов жили в Килвиннинге; когда старшего Роберта перевели на работу в Глазго, он услали будущего поэта и его брата Джона к бабушке с дедушкой, к трем незамужним теткам, обожавшим мальчика, в Эйшир. Именно там Роберт приобрел нечасто встречающееся и у нынешних шотландцев знание разговорного гэльского языка; впрочем, тогда на нем в Шотландии говорила четверть миллиона человек (и многие из них не знали никакого иного).

Там Роберт пошел в школу и тогда же в нем проснулся поэтический дар — в шестилетнем возрасте он сочинил на свой День рождения первое стихотворение:

Спасибо, Господи, что всем  
Ты шлешь бекон и сыр и джем,  
Чтоб тетя Джейн умела всё же  
Еще вкуснее стряпать, Боже!

(Стихи эти, как говорится, «к сожалению, сохранились»).

Несколькими годами позже Роберт перебрался в Глазго к родителям и вслед за отцом выбрал карьеру банковского служащего: в 15 лет он поступил на работу в Коммерческий Шотландский банк (который сегодня называется Королевским Шотландским банком). Параллельно с этим он окончил Университет в Глазго, где изучал английский язык и литературу, запоем читал книги Киплинга и Стивенсона, мечтая о дальних странствиях и необыкновенных приключениях. Работа в банке была невыносимо скучной, и когда хилый младший брат, окрепший на деревенских работах в Файфшире, предложил ему построить ранчо в Канаде, жажда приключений взяла верх.

В 1895 ему исполнился 21 год, он заявил о своем намерении семье и в конечном счете ушел из банка. Его отец побывал на распродаже и купил для сына костюм: сомбреро, высокие кожаные ботинки, кожаный жакет с бахромой. Тем и ограничился.

Роберт уехал из Глазго с книгой очерков Р. Л. Стивенсона «Эмигрант-любитель», рекомендательным письмом от банка, ковбойским костюмом и чемоданом с прочей одеждой и в 1896 г. он пересек Атлантику. Однако там его ждала не романтическая ковбойская жизнь, а тяжелый труд разнорабочего в дебрях Британской Колумбии. Склонность к авантюризму заставляла его путешествовать по всему западу Америки и Канады вплоть до жаркой Калифорнии, не гнушаясь любой работой: течение шести месяцев он учился доить коров, пропалывать сорняки на полях, где росла репа, косить сено, — это была жизнь ковбоя, но в ней было много труда и совсем не было романтики. Роберт отчасти переусердствовал, и как тут не вспомнить бессмертную прачечную в романе Джека Лондона «Мартин Иден». А рабочий день Сервиса иной раз составлял 16 часов: не до литературы было. И будущий классик поступил так же, как герой Джека Лондона. Бросил все — но поступил иначе, нежели герой Джека Лондона. Правда, в июле 1900 года несколько его первых стихотворений появились в печати (в ежедневной газете Британской Колумбии «Колонист»): в том числе прославленный впоследствии «Марш мертвых», написанный под впечатлением англо-бурской войны: его брат Альберт — вместе с Уинстоном Черчиллем, — будущим лауреатом Нобелевской премии по литературе (1953) — попал в плен к бурам 15 ноября 1899 года. Впоследствии стихотворение вошло в первую книгу Сервиса (а четвертая оказалась посвящена памяти погибшего брата, о чем ниже). Первый сборник Сервиса, вопреки бытующей легенде о том, что до «Выстрела Макгрю» поэт ничего не со-

чинил, на добрую половину состоял из вещей написанных много ранее. Но для читателей легенда всегда лучше истины.

Однако на гонорары от газет ни Мартин Иден, ни Сервис прожить не могли. Не от хорошей жизни Сервис решил вспомнить навыки банковского служащего и в 1903 г. устроился на службу в Канадский коммерческий банк в Ванкувере, Британская Колумбия. Хотя времена великой «золотой лихорадки» миновали, названия Доусон и Уайтхорс горячили кровь молодого Роберта: в 1905 он перешел на работу в Юконский филиал банка и перебрался в Уайтхорс. Город, в котором во времена Золотой Лихорадки 1898 года жило свыше тридцати тысяч человек, куда к в 1900 году пролегла железная дорога, в 1910 году населяло едва ли девять тысяч жителей. Но золотоискатели не исчезали, город не вымирал, — он и по сей день остается столицей канадских Полярных Территорий.

Большую часть свободного от службы времени Роберт проводил в одиноких блужданиях по окрестным лесам, восхищаясь величественной северной природой и черпая в ней поэтическое вдохновение. По вечерам в салунах он пел под укулеле и банджо чужие стихи (в основном Киплинга), но после того, как в местной газете «Уайтхорская звезда» было напечатано несколько его собственных произведений, редактор предложил ему написать что-нибудь о событиях, которые имели место непосредственно у них в городке. Он сказал: «Дайте нам что-нибудь, что бы касалось нашего собственного клочка земли. Это — золотая жила, которая только и ждет, чтобы ее разработали». Роберт задумался на мгновение. «Была субботняя ночь и со всех сторон из салунов доносился гомон шумного веселья». И тут его посетило вдохновение... Он помчался назад в банк, чтобы записать рождающиеся строки, потревожил спящего коллегу, который принял его за злоумышленника и выстрелил в него с перепугу. Будь коллега чуть более метким стрелком, «Выстрел Дэна Мак-Грю» скорее всего никогда не был бы написан.

Для крепких парней салун «Маламут» хорош и ночью и днем,  
Там есть механическое фоно — и славный лабух при нём;  
Сорвиголова Мак-Грю шпильял сам за себя в углу,  
И как назло ему везло возле Красотки Лу.

За дверью — холод за пятьдесят, но вдруг, опустивши лоб,  
В салун ввалился злющий, как пес, береговик-златокоп,  
Он был слабей, чем блоха зимой, он выглядел мертвяком,  
Однако на всех заказал выпивон — заплатил золотым песком.  
Был с тем чужаком никто не знаком, — я точно вам говорю,—  
Но пили мы с ним, и последним пил Сорвиголова Мак-Грю.

*Перевод Е. Витковского*

Стихи, что называется, «хлынули горлом», баллада была набело переписана к пяти утра. За ней балладой последовало так много других, что Сервис решил собрать их и издать отдельной книгой. Первые же произведения, такие как «Выстрел Дэна Мак-Грю» и «Кремация Сэма Мак-Ги» сделали его известным поэтом. Чуть позже Сервис захотел издать свои стихи и даже был готов заплатить за это 100 долларов. Он не надеялся продать даже один экземпляр, однако издатель, подозрительно быстро поверив в потенциал молодого поэта, вернул ему деньги и предложил Сервису заключить контракт: 10% с каждого проданного экземпляра. Думал ли Роберт, что очень скоро счет этих экземпляров пойдет на мил-

лионы?.. Думал ли он, что издатель безбожно обсчитывает его, допечатывая неучитываемые экземпляры и продавая их уже только в свою пользу?.. Но даже в такой ситуации доход поэта от его первой поэтической книги превысил сто тысяч долларов.

Вскоре после того, как в 1907 вышли «Песни Сардо» (ставшие известными позже как «Зов Юкона и другие стихотворения»: «сардо» — слишком труднопереводимое слово, примерно «пионер и золотодобытчик Полярной Канады, крутой парень»). [Забегая вперед, скажу, что в нашем издании первые два сборника Сервиса, наиболее прославленные, представлены полностью.] В 1908 году банк перевел Сервиса в бывшую столицу Золотой Лихорадки, в Доусон, где и возникла его вторая книга, «Баллады чичако»; лишь после ее выхода Сервис решился уволиться из банка. Книги пользовались такой бешеной популярностью и принесли автору столько денег, что он смог целиком посвятить себя писательской работе. В 1912 году вышла его третья поэтическая книга, название которой можно примерно перевести как «Ритмы Перекати-Камня», она так же была встречена с немалым успехом. Сервис купил бревенчатый дом на склоне холма. «Позади была гора, внизу — долина Юкона. Величественный пейзаж вдохновлял, я был абсолютно одинок и это было воплощением заветной мечты. Радовали меня и рога американского лося, прибитые над дверью. Они казались символом успеха, моей Крылатой Победой». Не забудем, что огромный американский лось был символом Канады задолго до Сервиса, о нем писали гэльские поэты Новой Шотландии еще в те времена, когда Новая Шотландия даже и по-английски не говорила. Интересно отметить, что «Дом Сервиса» в первоизданном виде существует до сих пор: сотрудники службы Национальных Парков Канады заботливо сохраняют его как историческую достопримечательность (вплоть до того, что постоянно обновляют его дерновую крышу), а поклонники творчества поэта и туристы всегда могут хотя бы заглянуть в его окна: прошло уже столетие, и ветхость бревен не позволяет допустить внутрь даже самых верных фанатов поэта. Главная улица Уайтхорса сейчас носит его имя.

Не будучи стесненным в средствах, Сервис стал много путешествовать — объездил всю Европу, писал иногда статьи для газет и предавался богемной жизни Латинского квартала Парижа, поселившись возле Набережной Вольтера. Окончательно — по всей видимости — оправившись от разрыва с некоей Констанцией Маклин (поэт познакомился с ней в 1906 году, четыремя годами позже был с ней помолвлен, но уже в 1912 году Констанция оказалась замужем за неким землемером в Доусоне), поэт нашел свою судьбу в Старом Свете: в июне 1913 года он женился на французенке Жермене. Она была дочерью владельца ликероводочного завода. Они познакомились, толкаясь в толпе, глазевшей на военный парад. Мадам Сервис узнала, что ее муж — богатый человек, лишь спустя год после свадьбы, в велосипедной поездке в Бретань, когда поэт привел ее в свой дом, «Приют Мечты», в Лансье. Сервис был актером всегда и во всем — не только в балладах, но даже в отношениях с любимой Жерменой.

Во время Балканских войн 1912-13 г.г. Сервис стал корреспондентом газеты «Звезда Торонто». Затем он уехал во Францию — и остался там на полтора десятилетия. В армию он попасть не мог: сказались годы скитаний от Калифорнии до Аляски, тяжелейшая работа «по Мартину Идену» — Сервис всю жизнь страдал варикозным воспалением вен. Но не в его характере было оставаться в стороне от событий. Ему был 41 год, когда началась Первая мировая война. Негодный к строевой службе, он вновь стал военным корреспондентом и два года прослужил водителем санитарной машины на линии фронта, что дало материалы для созданию цикла баллад «Ритмы человека из Красного Креста». Это была

четвертая книга его стихотворений, поэт посвятил ее памяти брата, лейтенанта канадской пехоты Альберта Сервиса, погибшего во Франции в августе 1916 году. К этому времени поэт был известен уже и в иной ипостаси: первый же его роман «Тропа девяносто восьмого» (1909), о Золотой Лихорадке 1896-1906 годов, книга по сей день переиздается, в том числе и в русском переводе, а второй роман — «Самозванец. История в Латинском Квартале» (1914) хотя и вышел не совсем вовремя, но славы автору не убавил. Забегая вперед скажем, что и четыре более поздних романа Сервиса, среди них один фантастический, по сей день заслуживают внимания.

Сервис вновь стал путешествовать, побывал в Шотландии, в Килвиннинге, там, где провел детство. Вторая мировая война застала его в Польше, откуда он бежал через Швецию во Францию, позже — в США. Поэт с семьей перебрался на безопасное западное побережье Америки, жил в Канаде, в Голливуде и Ванкувере. Вместе с другими знаменитостями участвовал в концертах, поднимавших боевой дух армии — в военных лагерях читал вслух и пел свои стихи. В 1942 году вместе с Марлен Дитрих он снялся в кинофильме «Негодяи» (в роли самого себя!). Фильм, кстати, достоин того, чтобы посмотреть его и сейчас: вестерн на материале юконской «золотой лихорадки» и сам по себе нечасто найдешь, столь свирепые драки с участием «короля вестерна» Джона Уэйна на экране почти не известны, — и совершенно незабываема сцена, когда очаровательная хозяйка салуна «Северянин» Вишенка Малотт (Марлен Дитрих) проходит по галерее над общим залом и останавливается у столика, за которым не обозначенный в титрах фильма Поэт (собственно Роберт Сервис) сидит и что-то пишет, хозяйка спрашивает — о чем? — и Поэт отвечает: «о женщине по имени Лу, и о ее возлюбленном Дэне Мак-Грю, которого в конце убивают...». Сервис гордился этой своей «ролью». И к тому были основания: весь аромат кинофильма — это аромат поэзии Сервиса, запах золота и перегара, алчности и голода, красоты и безумия.

В общей сложности было издано около сорока пяти его поэтических сборников, куда вошло более 1000 стихотворений, — притом, что по имеющимся данным написано им еще не менее восьмисот. Перу Сервиса принадлежат две автобиографические книги, «Пахарь Луны» (1945) и «Небесный Арфист» (1948), о шести романах было рассказано выше. Одну из его книг в 1927 г. взял с собой в первый одиночный перелет через Атлантический океан знаменитый летчик Чарльз Линдберг. На границе Аляски и Канады гора с двумя вершинами названа в честь двух самых выдающихся писателей тех мест: вершина на Аляске — «Джек Лондон», вершина в Канаде — «Роберт Сервис». Едва ли не любимым своим поэтом считал Сервиса Рональд Рейган. Даже герои прославленной серии романов о детективе Ниро Вульфе знаменитого писателя Рекса Стаута нет-нет да и читают Сервиса — одновременно с Киплингом и Джеком Лондоном.

Надо отметить, что в тридцатые годы Сервис все более и более интересовался марксистским движением. В 1937 он предпринял официальный тур в Советский Союз, и повторил поездку годом позже (см. его цикл «Советская страна»: вовсе не таких откликов ждали в Москве от славного писателя). Вторая поездка была прервана новостями о договоре Гитлера-Сталина. Сервис бежал через Польшу, Латвию, Эстонию и Балтику в Стокгольм, лишь затем через Францию отбыл в Канаду. Армия Германии подошла к его дому в Лансье очень скоро: поэта, открыто издевавшегося над Гитлером в газетных стихах, полагалось поймать. Но всех не переловишь, а у Гитлера вскоре стало куда больше проблем.

После Второй мировой войны Сервис возвратился во Францию, где вместе с женой и

дочерью прожил остаток жизни в Бретани и на Французском побережье Ривьеры. В 1946 году с семьей он еще раз посетил Уайтхорс... но теперь для него это было место, населенное одними призраками. Он предпочел помнить страну юности такой, какой она была в начале века, и больше не вернулся в Канаду; весной 1958 года он умер, и был похоронен в Лансье. Жермена Сервис, вдова поэта, надолго пережила его — и умерла в 1989 году в возрасте 102 лет.

Канадцы о европейской судьбе поэта мало распространяются, национальной гордости надо бы жить «дома», но Сервис считал своим домом любую страну, куда забрасывала его судьба. Он писал об Испании, Франции, Шотландии, даже о России, — и все же признавался сам себе в стихах, что если Господь и допустит его быть причисленным после смерти к плеяде истинных поэтов, то именно за созданный давным-давно «Выстрел Мак-Грю». Сервиса в самом деле нередко называют «Киплингом Полярной Канады», и к этому есть не только географические предпосылки: самые знаменитые баллады Сервиса тесно связаны с Киплингом: «Кремация Мак-Ги» повторяет формой киплинговскую «Балладу о Западе и Востоке», «Выстрел Мак-Грю» очень уж похож на «Балладу о ночлежке Фишера», и список этот можно продолжить. Однако мощь дарования Сервиса была такова, что произведения его кажутся скорее продолжением творчества Киплинга, чем подражанием ему: это работы не копииста, но верного ученика, хранящего традиции учителя. Кроме того, повторю то, что уже писал в 1998 году в предисловии к большому тому избранных произведений Киплинга: «...кое-кто из читателей Киплинга (в том числе в России) никого, кроме Киплинга, не любит. Но этот факт годится и для обвинения, и для защиты». Возможно, и нехорошо цитировать себя самого, но лучше сказать не умею — причем на этот раз отнеся слова еще и к Роберту Сервису.

Справочники по англоязычной литературе Канады неизменно указывают на Роберта Сервиса как на единственного выдающегося поэта, целиком посвятившего свое творчество «полярным территориям». Для русского слуха его творчество созвучно прежде всего рассказам о «золотой лихорадке», принадлежащим перу Джека Лондона. Некоторые из его баллад («Выстрел Дэна Мак-Грю», «Зов Юкона», «Кремация Сэма Мак-Ги») вошли в золотой фонд мировой англоязычной поэзии. Из-за сравнительно позднего стихотворения «Баллада о гробнице Ленина» Сервис находился в СССР под почти гласным запретом; впервые Сервис (баллада «Сон») увидел свет на русском языке в филладельфийском альманахе «Побережье» (2001, № 11) в переводе Эрика Горлина (1916-1944, пропал на фронте без вести.).

Десять лет участники интернетного сайта-семинара «Век перевода» работали над поэзией Роберта Сервиса; в итоге оказалась переведена примерно четверть всего опубликованного поэтического наследия Сервиса. В XX веке на русский язык были переведены лишь несколько его стихотворений, да и те случайно уцелели в архивах (печатать их в СССР было нельзя). Однако именно с переводов Эрика Горлина и Вильгельма Левика начинается история: Роберт Сервис наконец-то превратился в русскую книгу. Только как прозаик он у нас давно известен — книга «Тропа девяносто восьмого» издана у нас несколько раз, правда, под названием «Аргонавты Девяносто Восьмого» (напоминаем — о Клондайкской Золотой лихорадке). Но... если стихи Джека Лондона почти ничего не прибавляют к его хорошо знакомому образу, то у Сервиса — наоборот; он и без прозы — прежде всего автор «Выстрела Мак-Грю» и еще сотен баллад.

Остальное читатель найдет уже в поэзии Роберта Сервиса..

*Евгений Витковский*

## Баллада о гробнице Ленина

Это слышал я в баре у Кэйси:  
Савецкаво парня рассказ,  
Что свалил с Лубянки для горькой пьянки,  
И сумел добраться до нас,  
От кровавой звезды уволок во льды  
Шрам да выбитый глаз.

Ленин спит в саркофаге, реют красные флаги, и трудяги, к плечу плечом,  
Словно крысы, входя — ищут нюхом вождя, прощаются с Ильичом.  
Смотрят пристально, чтоб бородку и лоб в сердце запечатлеть:  
Вобрать до конца в себя мертвеца, который не должен истлеть.  
Серые стены Кремля темны, но мавзолеей — багров,  
И шепчет пришлец из дальней страны: «Он не умер, он жив-здоров».  
Для паломников он мерило, закон, и символ, и знак и табу:  
Нужно тише идти: здесь спит во плоти их бог в хрустальном гробу.  
Доктора в него накачали смолу — для покоя людских сердец,  
Ибо если бог обратится в золу, то и святости всей — конец.  
Но я, товариш, нынче поддал, и открою тебе секрет,  
Я своими глазами это видал — других свидетелей нет.

Я верно служил Савецкай стране — чекистом и палачом,  
Потому в живых оставаться мне все одно не дадут нипочем;  
Тех, кто видел такое — не оставят в покое, будь сто раз себе на уме,  
За это дело только расстрела я дожидался в тюрьме.  
Но сумел сбежать, а в себе держать больше тайну я не могу,  
Бородой Ильича поклянусь сгоряча, разрази меня гром, коль солгу.  
На Красную площадь меня занесло — поглядеть на честной народ,  
На всякое Марксово кубло, что к Мавзолею прёт:  
Толпится там москаль, грузин, туркмен, татарин-волгарь,  
Башкир и калмык, латыш и финн, каракалпак и лопарь,  
Еврей, монгол, киргиз, казах; собравшись из дальних мест,  
Толпа стоит со слезами в глазах, этакий ленинский съезд.  
Сколько лет прошло, а их божество закопать еще не пора,  
Они — будто плакальщики того, кто умер только вчера.  
Я видел их, бредущих в тоске — кротко шепча слова.  
У меня, понятно, плясала в башке — водка, стакан или два.  
Шла, как всегда, людская череда, обыденная вполне,  
Но с трудом в этот миг удержал я крик, ибо призрак явился мне.  
Да, меня отыскал этот волчий оскал: таков был только один,  
Никто иной, как зарезанный мной князь Борис Мазарин.

Ты не думай так, что мне б не в кабаке лучше пойти, а к врачу,  
У алкаша тоже есть душа, я спиртом ее лечу.  
Без выпивки мне забыть не дано служение делу зла,  
За мной бегущие, как в кино, лица людей и тела.  
Но страшнее всех этот черный грех, позабыть я пытаюсь зря,  
То, как был убит Борис Мазарин, верный слуга царя.

Его, дворянина, мы взяли врасплох: нам повезло снова.  
И мать, и сына, и дочек всех трех прикончили мы сперва;  
Мы пытали его, твердя — «Говори!», а он молчал: ишь, каков!  
Тогда мы распяли его на двери остриями грязных штыков.  
Но он с презрением бросил нам: «Чертово шакальё!  
Сто к одному вас я возьму, сгину за дело своё!»  
И я задрожал, и ему кинжал в глотку воткнул до конца,  
Чтоб затем, в тюрьме, утопить в дерьме готового мертвеца;  
Конец казаку, да и всей родне, и они б воскресли навряд...  
Только князь шагает прямо ко мне, и мезью глаза горят.  
(Может, это бред, может, пьяный вздор моей головы дурной?)  
Так я увидал мерцающий взор человека, убитого мной.  
И в огне его глаз я прочел приказ, он короток был и прям:  
Безвольный, тупой, я слился с толпой, скорбно ползущей к дверям.  
Не знаю, реален он был иль мним, но строго за ним в аккурат —  
Все шел я за ним, все шел за ним, и скоро вошел в зиккурат.

Там свет всегда холоднее льда, и дует вечный сквозняк.  
Спотыкаясь, в поту, как в пустоту я сделал по лестнице шаг.  
Я кричал бы, да горло сухостью сперло и, его не найдя руки,  
Подумал — нет, уж какой там вред способны творить мертвяки!  
Увы, надеждам моим вопреки, он сам нащупал меня  
Плечо мое зажала в тиски костлявая пятерня.  
Не казак удалой, а череп гнилой, проломлен высокий лоб...  
Вот и зал, где Ленин лежал, нетленен, всунут в хрустальный гроб.

Ступив за порог я все так же не мог ни вырваться, ни упасть:  
Будто клешня вцепилась в меня его ледяная пясть.  
Вспоминать не хочу, как к Ильичу мы подошли наконец,  
Жестом недобрым к собственным ребрам вдруг потянулся мертвец,  
Затрещала рубашка, кости хрустнули тяжко, а потом единым рывком,  
Из груди, смеясь, выхватил князь сердца кровавый ком...  
Кабы просто ком бы!.. Как выглядят бомбы — я узнал на своем веку.  
А он хохотнул, и БОМБУ метнул... прямо в ленинскую башку.  
За вспышкой слепящего огня раздался бешеный рев,  
И мир обрушился на меня, он стал кровав и багров.

Потом — и вовсе исчез во тьме; я очнулся, едва живой,  
Не то в больнице, не то в тюрьме свет мерцал над моей головой;  
А рядом призрачная орда ворочалась тяжело,  
Из всей толпы в мавзолее тогда одному лишь мне повезло.  
Твердили, что все это было во сне — а сны, понятно, не в счет, —  
Но по их глазам было ясно мне, что я назначен в расход.

С Лубянки в итоге я сделал ноги, да не о том рассказ,  
Не прими за брехню, но я объясню, как дела обстоят сейчас.  
Геппеу закон охраняет свой, ему никогда не спех;  
Мавзолей на ремонте, так не впервой: он снова открыт для всех,  
Там Ленин лежит на все времена — как символ, знак и табу,  
И плетутся вшивые племена, благодаря судьбу:  
Раз Ленин нетленен — то мир неизменен, протухнет — падет Совдеп,  
А не сгнил он покуда, охрана не худо зарабатывает на хлеб.  
Но к стеклянному гробу подойти ты попробуй, при этом надо учесть:  
Нетленная рожа на воск похожа, но это же воск и есть!  
Расскажут тебе про искусство врача, про чудотворный бальзам,  
Но там — лишь чучело Ильича, уж поверь ты моим глазам.  
Бомба брошена в гроб прямо в лысый лоб, это я увидеть успел.  
Все гремит надо мной гул волны взрывной, — а Ленин, выходит, цел?  
Я кричу, и пусть дрожит мавзолей: кто придумал такую дрянь?  
Не веришь — времени не пожалей, пойдя туда, да и глянь.  
Ты решил — смутьян безумен и пьян... Нет, я не полезу в раж,  
Рубану сплеча: там нет Ильича, там лежит восковой МУЛЯЖ.

*Это слышал я в баре у Кэйси:  
Савецкаво парня рассказ,  
Это был пролетарий с развороченной харей,  
Представитель народных масс:  
Ну, а если поймешь, где тут правда, где ложь —  
Стало быть, в добрый час.*



## Железнодорожная бригада

Попутчик оказал мне честь,  
Сказал: «Твой край — Канада.  
Рельсоукладчиц много ль есть  
Среди подруг камрада?  
Мы равенство полов блюдем,  
И в коммунизм идем!

И старцы дряхлые, и детки —  
Мы все — народ один.  
Огромна тяга к Пятилетке  
И женщин, и мужчин!  
Покуда не пора в роддом —  
Наш общий строй блюдом!»

Я видел: бабы босиком  
В грязи таскали шпалы.  
«Камрад, теперь тебе знаком  
Наш подвиг небывалый!  
Здесь женщины горды трудом,  
Единый строй блюдом!

Цель наша — по-людски простая:  
И в зной, и в холода:  
Живет моя страна, мечтая  
О славном дне, когда  
Мир будет нами вдаль ведом  
И нами же блюдом!»

## Olga

Мы плыли по великой Volga,  
И гидом нам служила Olga —  
Уилбер, ехавший со мной,  
Сказал ей: «Будь моей женой!»  
Сначала Olga помолчала —  
И головою покачала.

Она сказала: «Ну, дела!  
Я дважды замужем была.  
Семья — не больше, чем обуза:  
Я дочь Советского Союза!  
А «Pravda» говорит всегда,  
Что ждет Америку беда!»

Расстроившись, не подал виду,  
Друг протянул на память гиду  
Платочек с Пятой Авеню:  
«Конечно, вас я извиню —  
Но говорю вам не впервые:  
Не суйте русским чаевые!»

Конечно, множество замен  
Нашел Уилбер в штате Мэн.  
Он у отца, не сожалея,  
Возглавил цех разварки клея;  
Как долго помнил он про Olga,  
Кто вместо мужа выбрал Volga?

## Московское метро

Я не люблю большевиков,  
Во мне изрядной злости залежь.  
Но метрополитен таков  
В Москве — что нехотя похвалишь,  
Поскольку ни в одной стране  
Подобный не встречался мне.

В галошах, потная до свинства,  
И от усталости тупа —  
Здесь, в глине — образец единства:  
Советских героинь толпа,  
Мечтой заветною влекома  
К рукопожатию наркома —

Он приказал создать метро!  
И вот хоромы — в дивном блеске,  
Невероятное нутро:  
Где есть мозаики, и фрески, —  
И статуи — за рядом ряд —  
Везде стахановцы стоят.

А в переполненных вагонах,  
Тычки да брань, и бабий крик,  
Колесный лязг на перегонах,  
Рассевшись, ни один мужик  
В знак равенства — не в знак протеста! —  
Брюхатой не уступит места.

Янтарь, нефрит — все напоказ!  
Дворец подземный: чем не чудо  
Здесь выстроил рабочий класс.  
Но, память, что возьмешь отсюда?  
Охраничьих шинелей дух,  
Брань моющих полы старух.

## Контраст

Помню край советский, серый:  
Вдоль перронов сплошь мегеры,  
Как ни корчит бедолаг,  
Но в руке у каждой — флаг.

Вот и польская граница.  
Будто новая страница:  
Кто здесь друг и кто здесь враг,  
Знает часовой-поляк.

...Отгремели войны, к счастью —  
Смята Польша новой властью:  
На перронах, что ни шаг  
Бабы. И у каждой — флаг.

## Пролетарский рай

Кто — коммунист я или нет —  
На это нет судьи.  
Москва давно ввела запрет  
На книги на мои.  
Ползет молва из края в край:  
Мол, я расстрела жду.  
Они меня не пустят в рай —  
Хотя живут в аду.

Весь коммунизм — в словах Христа,  
И на пути туда,  
Где Духом правит Нищета,  
И в этом нет стыда.  
Увидим: слуги Сатаны,  
Отыдут, проиграв:  
Любовь и праведность должны  
Спасти того, кто прав.

Господня проповедь чиста.  
Все остальное — грязь;  
Все остальное — клевета;  
И ненависть, и мразь.  
Слова кремлевского шута  
Лишь насмех, не на страх —  
Что Маркс давно поверг во прах  
Бойцов Христа!

## У гробницы Ленина

Как табаку не пожевать  
Когда стоишь в очередюге?  
Но близ Кремля нельзя плевать —  
Повсюду — бдительные слуги.  
Я рассчитал: в куток зайду  
И харкну, справивши нужду.

Куда бежать, куда деваться:  
Отнюдь не преданный земле,  
Обязан Ленин любоваться  
Ползущим мимо дефиле;  
Навек прихлопнут вождь-бедняга  
Прозрачной крышкой саркофага.

Труслив народ, поскольку слаб:  
Надежды нет ожить вдругорядь.  
Здесь ни один не смеет раб  
С ватагой самозванцев спорить.  
Цари с вождями — на беду  
Придуманы в одном аду.

Горят огни кремлевских башен,  
Трясется в гимне каждый кров;  
Огромный флаг, кровав и страшен,  
Взнесен в лучах прожекторов;  
И жуткий цвет его заране  
Готовит мир к кровавой бане.

## Красный дипломат

Он мог забыть свою страну;  
Но знал про месть властей,  
Предвидел все, что ждет жену  
И трех его детей.  
Владыки воля такова;  
Ну что же, не взыщи:  
Кого домой зовет Москва —  
Потом ищи-свищи.

Он знал: в заложники тиран  
Взял всю его семью.  
А он властен ни на гран  
Смягчить судьбу свою:  
И он отправился туда  
Куда пути вели:  
Допросы, пытки, зал суда —  
Да и команда «пли».

Бедняга, он чурался нас,  
В себе держал беду;  
Он мучился в полночный час  
В молитве иль в бреду.  
За перегоном перегон  
Летят, как тать в ночи —  
Кто бросился под свой вагон —  
Того ищи-свищи.

## Диктаторы умирают

Унынье, сумрак и покой  
Объемлют берега.  
Но хлынет завтра вал морской  
Взревет, как на врага.  
Я новостей не ожидал,  
Газету взял — и вдруг  
Читаю: «Сталин дуба дал!  
Вождю — каюк!»

Я стал ревматиком вполне  
И бегать не могу;  
Но радость приказала мне  
Плясать на берегу!

Конечно, мне бы на покой —  
Не радость — боль в боку!  
Но выдать джигу в час такой  
Уместно старику!

Когда диктатор дуба даст —  
Плевать то — почему!  
О как подобный миг нечаст,  
Как рад народ ему!  
Над морем выцветал багрец,  
Стояла тишь вокруг:  
Господь, спасибо! Наконец —  
Вождю — каюк!

## Милосердие

Я спал, и видел: со стыдом,  
Пришли давать ответ:  
Кандальники пред судом —  
Фигляр и людоед.  
И рек Верховный Судия:  
«Ну и мерзавцы там!  
Какую казнь измыслю я  
Сим трусам, сим шутам?»

И он судил земных владык:  
И милосерден к ним:  
Затем, что каждый был велик,  
И мог бы стать святым:  
Эоны пусть в иные дни  
Их проведут чредой,  
И пусть родятся вновь они —  
Но под иной звездой.

Им Божьего прощенья ждать  
Несчетные века.  
Для них Христова благодать  
Безмерно далека.  
Ты, Вечность, их храни в груди  
В узилище своем:  
*Покойный Гитлер, прочь иди  
Со Сталиным вдвоем.*

## Призраки

Призрак Ленина призраку Сталина рек:  
«Айда ко мне в мавзолей!  
В саркофаге хрустальном, мил человек,  
Вдвоем оно веселей.  
Пусть любуются люди нашей судьбой,  
Пусть хотят быть как я, как ты.  
Заходи, рябой: пусть на нас с тобой  
Наглядятся до тошноты».

Но Сталин Ленину молвил в ответ:  
«Тоже мне, вечно живой!  
Осточертел за столько лет  
Народу вождь восковой.  
Но перемены приятны сердцам,  
И скажу, обид не тая:  
Мавзолей — не место двоим жильцам,  
Только лишний — никак не я».

И Сталину Ленин сказал: «Лады!  
Вселяйся в мою избу!  
У людей пусть не будет большей нужды,  
Чем увидеть тебя в гробу!  
Пусть прах мой в землю теперь уйдет,  
(Замешкался я чересчур!),  
А твой черед — зазывать народ  
В наш музей восковых фигур».

### «Купание Ягнатьева»

Александра СТРОГАНОВА

Господь устал и задремал ненадолго.

Хаос лукаво улыбается —

у него для нас много

игр В ПОТЕМКАХ.



## Ольга РУКЕНГЛАЗ



Иудеи знают, что все решает Он. Но, несмотря на это, надеются изменить запись в Книге Судеб. Он смотрит на то, как они барахтаются, спорят с ним, но все рано решает так, как ему хочется.

Я об этой иудейской привычке спорить с Б-гом и пытаться менять Его решения узнала слишком поздно. Мне-то казалось, что все решаю я. Ох, как же я ошибалась!

У Него для меня был подготовлен список, в котором каждому делу был приурочен свой день и час. Я хотела заниматься журналистикой, Он отправлял меня трудиться радиоинженером; я собралась писать сценарии, Он пристроил меня на телевидение; я получила от телекомпании новенькую квартиру, Боженька купил мне билет в Израиль...

Я надеялась, что уж в стране, текущей йогуртом и шоколадным сиропом, так близко к Нему, я смогу заняться тем, чем мне хотелось. А не тем, что давало возможность намазывать питу толстым слоем хумуса. Но Он отправил меня фрилансером на газетные галеры.

Через 14 лет я вырвалась из Его крепких, но ласковых рук и получила должность редактора в документальном фильме и 50-серийном сериале.

Еще шажок — и вместе с соавтором мне был выдан грант на написание сценария...

Писать прозу я начала по инерции — закончив четвертый вариант сценария, поняла, что хочу придумывать истории, спорить с героями, мучиться, когда иссякает вдохновение и получать удовольствие от инсайтов и красочных снов...

За новым сценарием последовала повесть, вторая, пьеса, рассказы...

Конечно, иудеи знают, что все решает Он. Но это не отменяет того факта, что они должны трудиться, пытаться изменить то, что предназначено им свыше. А уж Он решит — что из этого пойдет в дело, а что — нет.

## ТРИ РАССКАЗА

### Преступление и наказание

**В** ночь с четверга на пятницу собака Лайка и кошка Майка нашкодили. Загнали в угол белую курицу с синей буквой М, выведенной на спинке бельевой синькой, удавили ее и съели. Курица пыталась звать на помощь, но ей быстро перегрызали горло. Возможно, Лайка с Майкой и чувствовали некоторые угрызения совести, но инстинкт охотника все пересилил. Их не остановило даже то, что курица принадлежала Ми-



халычу, мужику жесткому, не признающему половинчатых решений. И, главное, такое с ними случилось не в первый раз.

Обнаружив потерю собственности, Михалыч молча сгреб в газету обглоданные останки курицы, кинул сверток в ведро для мусора и занялся наказанием виновных. Было преступление, должно быть и наказание! Михалыч задумал порешить Лайку и Майку до смерти.

Был он человек не злой, но с принципами. Лайка с Майкой и пискнуть не успели, как уже были связаны друг с другом, а потом опутаны веревкой с головы до пят на манер дорогой немецкой колбасы, которую часто показывали в рекламе по телевизору. Колбаса вызывала у жителей крохотной деревеньки Достоевское обильное слюноотделение — многие специально подгадывали время, чтобы насмотреться рекламного продукта, а затем, вздыхая и чувствуя в животе возмущенное урчание, садились за стол и утишали голод картохой в мундирах, банкой кильки в томате и чаем «Майский» с долгоиграющим «Чупа-Чупсом».

В Достоевском обитало всего пятьдесят человек, и добраться до них можно было только пересаживаясь с газика на трактор, а потом на вездеход. Такая отдаленность от цивилизации с одной стороны представляла из себя минус — в Достоевском не было интернета, телефона, продуктового магазина и центрального отопления. Зато вокруг деревни простирался на многие километры вглубь и вширь настоящий живой лес, в котором росли экологически чистые грибы и ягоды, водились зайцы и куропатки, а воздух был так насыщен всякими-разными полезными элементами, что какой-нибудь оборотистый деляга, узнав об этом, запросто мог начать запечатывать воздух в банки и продавать его на экспорт. В загазованные иностранные державы и мегаполисы. Но пока ни один деляга про воздух не знал, и этим воздухом совершенно бесплатно, даже не осознавая — как им повезло — пользовались жители деревни. И это был огромный плюс.

Но вернемся к предстоящему аутодафе. Связанных Лайку и Майку Михалыч на глазах всей деревни приторочил к ржавому блину от боксерской качалки и приготовился запустить в Космос — так в деревне называлось глубокое озеро, в котором вода всегда была глубокого черного цвета. В общем, хотел утопить. Но, соблюдая уголовный и нравственный кодекс, все же спросил:

— Присутствуют ли тут граждане, которые могут оспорить вынесенный мною смертный приговор? Кто-нить хочет сказать слово в защиту этих разбойников?

— Хочет, — раздался чей-то голос, и вперед шагнул молодой японец.

Надо сказать, что появление японца в глухой сибирской деревне никого не удивило. В километре от Достоевского располагалось японское хозяйство, где трудились, выращивая непонятные заграничные овощи, пять граждан Страны Восходящего Солнца. Хозяйство было многопрофильное: после того, как овощи поспевали, из них мариновали, сушили и терли несъедобные с точки зрения жителей деревни вещи: маринованный имбирь гари, зеленый японский хрен васаби, соевые бобы и соевый соус. Потом приезжала огромная фура, и все это несъедобное хозяйство увозилось на запад — в столичные рестораны, кафе, сушии...

Поначалу достоевцы восприняли появление узкоглазых незнакомцев в штыки, но потом успокоились. Япончата оказались людьми тихими, работающими, непьющими. Ну, хрен у них зеленый, так что? У всякого свои вкусы. Претензий к японцам ни у кого не было. Да и какие могли быть претензии, когда утром все пятеро вставали затемно, пели, стоя навытяжку, гимн императору, а потом шли на работу. Заканчивали работу ровно в

восемь вечера, умывались, стоя, как обычно, навтыяжку, пели гимн императрице, съедали по чашке риса и шли спать. Никаких контактов между ними и деревенскими не возникало — разве что иногда кто-нибудь из японцев приходил к Михалычу — попросить в долг болтов или березовых веников для бани. Одолженное японцы всегда отдавали безо всяких напоминаний. На удивление честный народ!

В этот раз долг пришел отдавать самый младший — Хокусай. В правой руке он держал мешок с новенькими болтами, левую прижимал к сердцу, отдавая дань уважения присутствующим. Поклонился и встал ровно, как измеритель роста в городской больнице.

— Я хочу оспорить смертный приговор, — заявил Хокусай.

— А ну, давай, оспаривай, — удивился Михалыч.

Присутствующие зашептались, кто-то даже попробовал засмеяться, но Михалыч взглянул на смешливого, и тот сразу затих.

— Они не виновны, — спокойно сказал Хокусай. Причем, говорил он безо всякого акцента, а чисто, даже чуть театрально — так говорят еще не вымершие московские интеллигенты и старые актеры Малого Театра.

— Куру слопали, а виноват крокодил Гена? — не поверил Михалыч.

— Дело, в том, что каждое из этих животных получило при рождении не свою душу, вот они и ведут себя неблагоприятно, — попытался объяснить Хокусай.

— Неблаговидно?.. И что делать? — Все еще недоверчиво спросил Михалыч. — Как их души местами поменять?

— Я вам помогу, — ответил Хокусай и вытащил из-за спины знакомый каждому, кто смотрел фильмы о самураях, длинный японский меч. Деревенские охнули и сделали пять шагов назад. Только бесстрашный Михалыч остался стоять на месте.

Хокусай ударил раз — с пленников упали путы. Ударил два — у Лайки отвалилась ровно отрезанная голова. Ударил три — голова скатилась с плечиков Майки.

Стало тихо — как на похоронах, когда все речи уже сказаны, могила засыпана, и делать больше нечего.

Михалыч посмотрел на свои белые валенки — на них алели капли крови. Он уже открыл было рот, чтобы покрыть япошку трехэтажным матом, но не успел. Хокусай вытер меч о снег и вложил его в ножны за спину. Схватил головы Лайки и Майки и быстро поменял их местами. Затем что-то тихо прошептал, крикнул, задрал к небу голову, «Банзай!» и сделал шаг назад.

По тельцам Лайки и Майки прошли судороги. Собака и кошка вскочили на лапы живые и с испугом стали осматриваться вокруг.

На теле Лайки сидела голова Майки, на теле Майки — голова Лайки.

— Голова профессора Доуэля, — сказала владелица единственной в Достоевском домашней библиотеки Марья Васильевна.

— Свят-свят-свят! — закрестилась какая-то старуха. Остальные молчали, остолбенело глядя на животин.

— Душа может очиститься настолько, что, наконец, вырвется из круговорота сансары, и, безгрешная, достигнет мокши, — сказал Хокусай.

— Чего-чего? — Михалычу хотелось закрыть глаза и больше никогда их не открывать.

— Душа может вырваться из круговорота перерождений и достичь освобождения от своего тела. Но для этого она каждый круг перерождений должна попадать в предназначенное ей тело... как сейчас. А не как было...

— Так они чего теперь, не будут кур воровать? — криво усмехаясь, спросил слегка побледневший Михалыч.

— Этого я не знаю, — ответил Хокусай. — Но вполне возможно, что у них проснется совесть, и они будут думать — прежде, чем делать. Правда? — Хокусай пристально посмотрел на Лайку и Майку.

Те покраснели. Наверное, от стыда. А потом, повесив долу новые головы, прижав хвосты и глядя в землю, Лайка с Майкой пошли прочь. Не суждено им сегодня было отправиться в Космос.

С тех пор Лайка и Майка как-то приутихли и перестали безобразить. Честно выполняли свои кошачье-собачьи обязанности, а чего лишнего — ни-ни!

О том, что случилось в деревне Достоевское, к всеобщему облегчению никто из посторонних не узнал. А то, глядишь, понаехало бы всякой пишущей и снимающей братии, славили бы на весь свет, черт знает чего понаписали и наснимали! Прощай тогда экологически чистый воздух, грибы и ягоды!

Молчали и японцы. Тонкой душевной организации народ!

## Мальчик-с-пальчик

**В** тот день, когда Моню Рабиновича впервые перекосило, он осознал красоту перпендикулярных прямых. Моне стукнуло 50, и профессия у него была редкая — форточник.

Телосложение у Мони для столь необычной профессии было подходящим — 1 метр 30 см росту, гибкий и крепкий. Мускулы не перекачивались под кожей у Мони, как у атлетов или гимнастов, а гладко и красиво облегли скелет. Моня знал, что со своими серыми глазами, курносый носом, русыми густыми волосами и гладким маленьким телом он очень красив, да и сравнение с греческим мальчиком, которое как-то обронила влюбленная до беспамятства студентка универа, ему льстило. Старость почему-то обошла Моню стороной, разговоры о радикулите, высоком давлении и необходимости регулярно посещать проктолога казались ему глупыми. Его все это не касалось.

Моня никогда не хотел иметь нормальный рост, быть таким, как все остальные мужики. «Метр с кепкой» делал Моню редким человеческим экземпляром, вызывающим вздохи восхищения и пристальные взгляды. К тому же, сочетание внешних данных было идеальной маскировкой для человека, которому приходилось зарабатывать на жизнь, проникая в квартиры граждан через беззаботно открытые форточки. Ну кто подумает, что этот отрок — форточник?

— Болит, спасу нет, — пожаловался Моня Профессору, с которым на пару чистил квартиры. У них было разделение труда: Профессор находил квартиры, разрабатывал планы

проникновения внутрь, обеспечивал безопасность и отход. Моня влезал в форточку, выживал из шкафов дорогое барахло, выносил его из квартиры.

— Стареешь, — безжалостно констатировал Профессор, крайне недовольный тем, что Моня выбыл из строя. — Пора осваивать другую специальность.

— Вот еще! — возмутился Моня, но тут же охнул и стал дышать сквозь зубы. Неловкое движение — и дикая боль принялась вгрызаться в поясницу, тянула левую ногу, пекла стопу.

— Иди к врачу, — слегка презрительно посоветовал Профессор. — И побыстрее. А то у меня одна квартирка стоит, греется. Как бы кто не перехватил.

— Спондилез поясничного отдела, — устало сказала врачиха-ортопед, больно помяв монину спину холодными сильными пальцами. Она была удивительно маленькая — ровно с Моню. Но Моне малышки не нравились.

— Помочь я вам вряд ли смогу, — безразлично глядя на скрюченного Моню, сказала врачиха и стала что-то быстро строчить в компьютере.

— Как это не сможете?! — возмутился Моня. — Прикажете до конца жизни ходить вот так — крючком?

Врачиха вздохнула. Пациенты ее достали. Современная медицина еще не научилась превращать старые позвонки в новые, а врачихе приходилось за это расплачиваться.

— Можно сделать операцию, можно обезболивающий гормональный укол, — равнодушно ответила врачиха. — Но 100% -ной уверенности, что это поможет, нет.

— А если как для себя? — настырно не унимался Моня. — Мадам, мне нужна здоровая спина. Это связано с работой... Я отблагодарю!

— А вы кто по профессии? — врачиха, наконец, оторвалась от компьютера и с интересом взглянула на пациента.

— Да я в цирке работаю, — улыбнулся Моня. — С фокусником. Залажу в волшебные сундуки, пролезаю через игольное ушко...

— Не залажу, а залезаю, — поправила врачиха.

— Как хотите назовите, только срочно помогите! — Моня сделал жалостливую рожу.

Сердце врачихи растаяло. И она дала Моне телефон массажистки, которая обслуживала горком, обком и УВД.

Массажистка Лена ставила китайские банки, втыкала иголки, массировала спину. Моне полегчало. Потом стало совсем хорошо. Впереди замаячила возможность оказаться в «горячей» квартирке.

Моня жил один — такова была участь вора-форточника. Доверять нельзя было никому. Мелкие интрижки с дамами — вот и все, что он позволял себе. Но массажистка Лена — большая, с аппетитным бюстом, белой кожей и рыжими волосами безумно понравилась ему. Моне даже показалось, что он влюбился.

— Ну, растаял, — подумал он сам про себя и посмотрел на Лену особым взглядом. От этого взгляда сходили с ума не только врачихи, но и парикмахерши, и научные работницы. И даже одна доктор наук.

Моня соблазнил Лену прямо в массажном кабинете. Лена хохотала, потом стала стонать. Одеваясь, она странно поглядывала на Моню. Погладила его нежно по мальчишеской спине.

— Мальчик-с-Пальчик, — сказала Лена и поцеловала Моню в щеку.

Моня не любил бабьих нежностей, поэтому решил больше с Леной не видаться. Выйдя из кабинета, осторожно потянулся — ничего не болело. Вытащил из кармана бумажку с телефоном Лены, порвал ее в клочки и бросил на землю. Ветер подхватил кусочки бумаги, похожие на куриные перышки, которые периодически вылезали из мониной подушки, когда — то подаренной ему бабкой Лизой. Бабка давно на кладбище, а подушка все еще цела... Ветер мгновенно унес «перышки» прочь.

Лена посоветовала временно не нагружать позвоночник. Но Моня чувствовал себя молодым и не прислушался. «Горячая» квартирка могла уплыть налево — к конкурентам.

В ближайшую субботу, когда ее хозяйева уехали — скорее всего, на дачу, копать грядки, собирать мелких гусениц-вредительниц, удобрять землю навозом, в общем, заниматься тем плебейским делом, которое Моня презирал до глубины души, — было решено идти на дело.

Профессор пошел первым. Проверил — не осталось ли в квартире случайно заснувших домочадцев: он пять раз смотрел знаменитый фильм «Один дома» и точно знал, какие мерзости могут свалиться на голову порядочному вору, не принявшему всех мер предосторожности. В квартире было пусто. Никто не реагировал на длинные звонки, не открывал двери соседних квартир с намерением обругать идиота, разбудившего весь дом; из них не стали высовываться опухшие с перепою рожи, поливающие все вокруг матом и швыряющие в незнакомца грязным ботинком... Ни одна собака не взлаяла на раздавшийся шум. То ли шавки тоже уехали на дачу — в целях отпугивания наглых бездомных котов, то ли, наловившись импортной безвкусной еды, крепко спали.

Профессор еще минутку постоял, прислушиваясь чутким ухом к звукам, рождавшимся в глубинах спящих квартир. Все было спокойно. Профессор быстро спустился во двор, подмигнул Моне и ушел на детскую площадку. Залез в игрушечный домик и стал наблюдать.

Быстро перебирая ногами и руками, Моня как обезьяна поднялся по пожарной лестнице до нужного третьего этажа. Ему было весело и жарко. Прежняя жизнь вернулась — и это было здорово! «Старость!» — хихикнул Моня. На носочках, мелко переступая по узкому бортику, опоясывающему дом, как шрам, а пальцами держась за подоконники и мелкие выступы штукатурки, он добрался до нужного окна. Вытащил из кармана узкий тонкий ножик, всунул его между рамой форточки и основной рамой. Пошевелил, нажал, и форточка открылась. Моня оглянулся, прошелся взглядом по окнам стоящего напротив дома — в светлеющем сумраке они чернели как выбитые зубы... Моня положил ножик в карман, выдохнул воздух и попытался, как обычно, «рыбкой» влететь в форточку. Что-то скрипнуло... Взрыв боли в позвоночнике снова перекошил Моню. И он застрял прямо в форточке...

Достали его приехавшие по вызову Профессора спасатели. Моню положили на носилки, засунули в «скорую» и повезли в больницу. Моне светил небольшой срок — лет пять, не больше. Но уже после того, как он встанет на ноги. Лежать в больнице — впервые в жизни Моня узнал, что это такое — было скучно и неприятно. Моню никто не навещал, не приносил ему краснобоких яблок, толстокожих апельсинов и аппетитных куриных ножек. Даже Профессор не появился — видимо, боялся, что заметут. Пришел только следователь. Снял показания и осуждающе покачал головой.

— Ну и дурак же ты, Рабинович! А говорят, евреи умные!

— Да я не еврей, — обиделся Моня. — Я — татарин!

— С такой фамилией? — усмехнулся следователь.

— А это псевдоним. Артистический, — не сдавался Моня.

— Ар... — следователь засмеялся так, что у него потекли слезы. — Надо будет этот анекдот мужикам рассказать! Но еврей или татарин, а все-таки дурак! Грабить такую квартиру может только дурак!

И вышел из палаты.

— Что этот следак про квартиру намекал? — подумал Моня. — Чем она такая уж особенная?

На этот вопрос Моня никак не мог найти ответа. Спросить у Профессора было невозможно — тот закрыл свой мобильник и, видимо, спрятал его где-то в лесной чаще... Узнать про квартиру у следователя тоже не получилось: смешливый мент-полицейский будто забыл о монином существовании. Ждал, подлюга, пока Моня встанет на ноги. Но этот день никак не наступал.

Лечение шло долго. При виде мониной спины врачи удивленно свистели, качали головами, морщили лбы, чесали за ухом.

— Придется менять профессию, — сожалеющее говорили они.

Однажды ночью, лежа лицом к стенке. Моня вдруг вспомнил рыжую Лену. Запах ее кожи, сильные пальцы, нежный смех — будто голубь курлыкает на подоконнике... Моня представил, как Лена входит в палату, и все на секунду замолкают, сраженные ее красотой. Жаль, у Мони не сохранился ее телефон.

Оказалось — сон был в руку. После завтрака дверь в палату открылась, и внутрь вошла Лена. В одной руке у нее была сетка с яблоками и апельсинами, в другой коробка с тортом. Поставив подарки на стол, стоящий у окна, Лена села на краешек мониной кровати.

— Как дела, Мальчик-с-Пальчик? — улыбнувшись, спросила Лена.

— Какие дела? — кисло ответил Моня. — Дела у воров, а я...

Тут он запнулся, так как не знал — что про него известно Лене. Впервые в жизни Моня не был уверен в себе. В своем обаянии и особой улыбке.

— Да ты не переживай, Мальчик-с-Пальчик, — прямо глядя в монины глаза, сказала Лена. — Я все знаю...

— Откуда? Из телевизора? Или в газете прочитала?

— Моня, Моня! Какой телевизор? Какие газеты? Ты не такая уж большая фигура, чтобы тебя показывали в криминальной хронике. И потом, я попросила там — она кивнула головой на потолок -, чтобы об этом происшествии ничего не сообщали... Зря что ли я столько милицейских и обкомовских спин массирую?

— А с какого боку ты в этом деле? — еще больше удивился Моня.

— С того, что ты залез в мою квартиру, — улыбнулась Лена. — Ну, почти залез...

Моня закрыл глаза и отвернулся к стенке. Так и пролежал, пока Лена не ушла. Ему было стыдно. Жалко себя. И особенно свой позвоночник. Параллельные прямые сверкали перед его внутренним взором, рвались вперед, словно заколдованные железные рельсы в прекрасное будущее.

Моня долго ворочался на скрипучей кровати. Съеденные на завтрак пирог с рисом, две котлеты и тарелка каши обменивались в животе впечатлениями, булькали и чмокали. Печень побаливала, поджелудка ныла. Наконец Моня провалился в сон.

Во сне он был Мальчик-с-Пальчик, находился в лесу, заросшем могучими дубами, и шел домой, ориентируясь по оставленным для него хлебным крошкам. Крошки привели Моню на опушку. Она была освещена мягким солнцем, которое не мешало видеть — куда ведет дорожка из маленьких кусочков белого хлеба. А заканчивалась она у симпатичного домика — такие Моня видел в рекламе шоколада Милки. Окно в домике было открыто, у него сидела хозяйка — рыжеволосая белокожая Лена. Она увидела Моню и помахала ему рукой.

— Дети! — закричала Лена, обернувшись вглубь дома. — Идите сюда, папа вернулся!

Моня вздрогнул и проснулся. В палате было тихо и полутемно — все ушли на ужин. Вот как долго проспал Моня! Щекам было горячо и мокро.

— Жаль только, в жизни этой прекрасной жить не придется ни мне, ни тебе, — вспомнил Моня подслушанную когда-то от Профессора фразу. Ему невыносимо захотелось на волю — прочь от врачей, холодных блестящих инструментов, клизм и грязного туалета. Глотнуть пахнущего арбузом морозного воздуха, поймать на язык снежинку и идти, куда глаза глядят!

Моня глянул на окно — оно было забито наглухо, видимо, еще с прошлого века, ржавыми крепкими гвоздями. А форточка была такой крохотной, что даже Моня с его ростом и телосложением не смог бы в нее пролезть.

## Человек с тысячью лиц

**П**онедельник — день тяжелый.

Паше Факельмутеру пришлось убедиться, что это и в самом деле так, на собственном опыте. В понедельник, войдя со сна в ванную и не разлепив еще толком глаз, он собрался приступить к обычной процедуре уничтожения выросшей за ночь щетины. Даже взял в правую руку тюбик с кремом для бритья, а левую собрал ковшиком, чтобы подхватить кучку пены, но тут что-то его остановило.

Паша ощутил на лице неприятное дуновение. Жена, видимо, как обычно забыла прикрыть жалюзи на хозяйственном балконе, и вот теперь холодный ветер коварно проник внутрь. Что-то быстро мазнуло Пашу по лицу, напряглось, щелкнуло, и ветер тут же стих. Паша закрыл дверь, ведущую на хозяйственный балкон, мысленно отвесив жене «башка дырявая!», выдавил из тюбика в «ковшик» крем, и только собрался обмазать им щеки, как тут и потерял дар речи.

Из глубины зеркальной поверхности, внизу уже испачканной брызгами зубной пасты (Паша автоматически и бесстрастно назвал дочь, которая и оставила эти брызги, «ленивой коровой»), на него пялилась пустая и гладкая, как деревянная болванка для париков, физия. Нос, губы, глаза, брови — все исчезло. Было унесено ветром.

Паша увидел свое «лицо» внутренним взором — глаз-то у него не было. Увидел и сразу поверил в происшедшее.

— На работу в таком виде идти невозможно. Кто-нибудь обязательно скажет: «Потерял лицо!» Вот ужас! — подумал Паша. — Надо быстро выйти на улицу и поискать его...

Но мысль о соседях остановила Пашу. Соседка слева — пожилая марокканка — выводи-

ла по утрам пса неизвестной породы, оставляющего в лифте лужицы мочи, а на асфальте правильной формы приятного желтого цвета колбаски, свидетельствующие о том, что у пса с желудочно-кишечным трактом все обстоит наилучшим образом. В отличие от его хозяйки, которая страдала запорами и рассказывала каждому встречному — какие муки она испытывает, сидя на толчке. Соседи справа — парочка «русских» программистов с молодыми гладкими лицами, стройными фигурами и мускулистыми ляжками — каждое утро занималась джогингом. «Делали спорт», как выражалась, завистливо глядя им вслед, соседка-марокканка. Чтобы не напороться на первую или вторых, стоило предпринять меры безопасности.

Лицо свое Паша теперь ощущал как босую ступню — ему было неловко и холодно.

Он вдруг сообразил, что может сделать себе временное лицо — у жены было полно косметики, и даже лежала коробка актерского грима, оставшаяся с тех времен, когда жена пыталась играть неверных жен и злых любовниц в муниципальном театре. Но ходить с нарисованным лицом всю оставшуюся жизнь было невозможно — кто знает, сколько эта косметика держится на коже, да и нельзя скидывать со счетов вероятность того, что накрашенного Факельмутера примут за гомика, а этого Паша позволить себе не мог. Не потому, что плохо относился к геям — он к ним никак не относился, предпочитая старый нравственный принцип «у каждого свои заморочки, главное, чтобы это не мешало мне!» Паше геи не мешали, зато их терпеть не мог начальник отдела ссуд в банке, где уже десять лет, позевывая от скуки, трудился наш герой. Но пока другого выхода, кроме использования косметики жены, Паша не придумал.

Он открыл шкафчик, где стояло, лежало и просто валялось все то, чем жена пыталась задержать уходящую молодость. Выбрал тюбик тонального крема, карандаш для подводки глаз, губную помаду и пудру. Быстро нарисовал лицо, приговаривая, чтобы не забыть чего-нибудь, детскую считалочку «точка, точка, запятая, вот и рожица кривая!» Посмотрев на результаты своих трудов, изобразил красные губы, а затем попудрил все, что получилось, дорогой пудрой «Шанель». Зрелище получилось фантастическое.

— Ничего страшного, — подумал Паша. — Если надеть очки, прикрыть все это козырьком бейсболки — никто и не заметит.

Завершив маскировку дорожными очками жены в оправе со стразами, закрывающими пол-лица, и черной бейсболкой с длинным козырьком, Паша вышел вон. Пошел искать лицо — вдруг зацепилось за куст и ждет хозяина? Как ни странно, но соседи словно провалились сквозь землю, и Паша слегка расслабился. Сорок минут он шарил в кустах, копался в мусорных урнах, разглядывал ветки деревьев, но все без толку. Лицо исчезло — словно его кто-то большой и страшный языком слизнул. Пришлось пойти на работу в том, что было.

На работе никто не обратил на Пашу внимания — все пялились в компьютеры. Паша поставил монитор так, чтобы тот закрывал его от коллег, и облегченно вздохнул.

В обеденный перерыв пришлось пойти со всеми в соседний Старбакс выпить кофе, иначе все бы решили, что Паша подлизывается к начальству, стучит в их отсутствие за отделом или — что совсем плохо — стал работоголиком. Низко склонившись над пластиковым стаканом с латте, Паша нетерпеливо сучил коленками — ждал, когда коллеги насосутся кофе, накурятся и отправятся обратно — по рабочим местам. Но коллеги не торопились. Косо поглядывая на окружающих из-под козырька бейсболки, Паша обратил



внимание, что некоторые девушки слишком часто глядятся в зеркальца пудрениц и поправляют косметику. Мужчины смотрелись — тоже подозрительно часто — в зеркальные поверхности своих мобильных. Когда все вышли из Старбакса и отправились обратно в банк, внезапно хлынул дождь. Коллеги дико завизжали и бросились к входной двери, давя друг друга. Паша тоже хотел рвануть вместе со всеми, но потом вспомнил, что у него на голове бейсболка с длинным козырьком и двинулся ко входу легкой походкой.

Зашел последним, прошел в свой закуток и вдруг увидел, что в соседней ячейке пухленькая блондинка Милена взволнованно копается в косметичке. Милена почувствовала, что на нее смотрят, и повернула голову. Вот тут Паша и разглядел ее лицо... Вернее, то, что от него осталось после того, как дождь поработал над ним. Это была такая же «болванка», как у Паши, но только со слегка расплывшимися глазами, носом и ртом. Секунду Паша и Милена смотрели друг на друга, а потом девушка резко вскочила со стула и бросилась вон.

— Господи, да я не один такой! — подумал Паша.

Ошеломленный сделанным открытием, он привстал с вертящегося стула и вытянул шею. Посмотрел налево... Затем направо... В каждой застекленной ячейке сидели служащие с потерянными лицами. Вместо натуральных природных физий каждый соорудил то, что смог: кто идеально нарисованное лицо, а кто небрежные каляки — точки, запятые, намеки на губы... Среди клиентов, пришедших в банк, чтобы выяснить состояния банковского счета, попросить увеличить «минус» или подписать соглашение о банковской ссуде, тоже мелькало порядочно утерявших лицо...

— Ах ты, Боже мой, — тоскливо подумал Паша, — и как же это с нами приключилось? Неужто теперь вот так, на всю оставшуюся жизнь — с босыми лицами?..

После работы Паша снова занялся поисками лица, но безрезультатно. В окрестностях дома ему попало немало всякой всячины, но все ненужное. Мусор. С некоторым содроганием Паша зашел в квартиру и приготовился услышать от домашних бурные крики и восклицания по поводу собственной внешности. Но все обошлось. Жена и дочь не заметили произошедших в Паше изменений. Они не привыкли смотреть друг на друга: за завтраком и ужином каждый пялился в газету, айпод или мобильник, по вечерам смотрели телевизор, а потом, ничего вокруг не замечая, расходились по своим комнатам. Иначе говоря, всем было наплевать — с каким лицом придется жить отцу семейства. Подумаешь, лицо потерял? Теряют же другие кошелек, мобильник, а иногда семью — и что?

Но все-таки жить без лица было как-то... неудобно. Словно ходить по улице голым. Паша убеждал себя, что не нужно стесняться, переживать и вздрагивать. Надо привыкнуть и подчиниться новому порядку вещей. Но получалось не на все 100%. Теперь каждое утро, напялив спортивный костюм и кроссовки и прихватив на всякий случай зонтик, Паша выходил на поиски потерянного лица.

Дни шли за днями, недели за неделями, но лицо не находилось. Однажды Паша решил бросить поиски — хватит зря тратить время и силы, потеть, пробегая километры по близлежащим дворам, паркам и пустырям! В понедельник Паша вышел из дому и трусцой двинулся куда глаза глядят. На сердце у него было легко, хотелось подпрыгнуть вверх, сорвать маленький плод китайского мандарина, кинуть его в рот, зажмуриться от легкого кисло-сладкого вкуса и забыть о том, что случилось. Жизнь продолжалась — что еще надо человеку?

Паша перепрыгнул через невысокий заборчик, отделяющий дорожку для бега от истоптанной многими лапами собачьей площадки. И тут оно его ждало. Две собачонки играли им, словно сдувшимся мячиком. Паша сразу понял: вот оно, потерянное лицо! Не думая о том, что собаки могут покусать, Паша влез между ними, схватил лицо и прижал его к груди. Бешено забилося сердце. Лицо можно было узнать с трудом: собаки погрызли его, оторвали кусок щеки.

— Вот беда! Все-таки придется жить без лица, — подумал Паша и тихо заплакал.

Но слезы длились недолго. Паше вдруг пришла в голову удивительная мысль.

— А ведь в моем положении масса плюсов, — подумал Паша. — Теперь я могу рисовать себе такое лицо, какое мне хочется. Или такое, какое больше подходит для встречи с любовницей, совещания на работе или посещения семейного врача! Мало того, я могу сделать себя похожим на Бреда Питта, Антонио Бандераса или принца Гарри! Хватит оплакивать старое лицо! Моя жизнь только начинается! У меня теперь будет тысяча лиц!

Паша бросил последний взгляд на истрепанное собаками старое лицо — такое привычное, родное, но уже ненужное. Размахнулся и кинул лицо обратно — собакам. Они сразу набросились на подачку и принялись играть ею.

— Надо купить водостойкую тушь для ресниц и телесного цвета помаду, — с облегчением подумал Паша и зашагал по беговой дорожке в сторону большого торгового центра. На душе у него было тепло и легко. И какой дурак решил, что понедельник — день тяжелый?!

На следующий день в банке начали трудиться: Бред Питт — 15 особей, Анджелина Джоли — 10...

---

---



**РОМАН**  
**«Кладбище коммунаров»**  
Владимира  
**ГОРБУНОВА**  
о двух последних  
поколениях  
**советских**  
**людей,**  
выбравших разные  
**ПУТИ** служения Родине.

ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG

## Евгений КОЛЬЧУЖКИН



*Поэт, издатель. Родился в 1963 году в городе Томске. После окончания факультета автоматике и вычислительной техники Томского политехнического института проработал двенадцать лет в Томской областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина.*

*В 1991 году основал при библиотеке издательство «Водолей», в 2002 году перевел его в Москву. На сегодняшний день «Водолей» является одним из старейших частных издательств интеллектуальной литературы и входит в число наиболее престижных поэтических издательств России. Главный редактор издательства — всемирно известный писатель, поэт, переводчик и историк поэтического перевода Евгений Владимирович Витковский.*

*Евгений Анатольевич Кольчужкин — автор четырех поэтических сборников: «Тропос» (1989), «Нити Арахны» (1992), «Прошедшее продолженное» (2002) и «Речи дней» (2011). Его стихи публиковались в журналах «Арахна», «Новый Берег», «Литературное Обозрение», «Новый Журнал». Он член Союза российских писателей, лауреат Восьмого Международного литературного Волошинского конкурса (2010) и, как издатель — лауреат Премии Андрея Белого (2010) в номинации «Литературные проекты».*

*Стихи Евгения Кольчужкина безупречны по форме, глубоки по содержанию и полны чарующей музыки, без которой поэзия превращается в зарифмованный фельетон. Он видит этот мир чуть-чуть со стороны, из вневременья, из-за края земли...*

\* \* \*

Ответно сердце не забьется ли,  
Чей взор не будет взят в полон,  
Когда взовьется кистью Гоццоли  
Просторных красок Аквилон?

О том умалчивают хроники,  
И память умеряет пыл:  
В успенья час блаженной Моники  
Корабль неведомый приплыл,

Ведомый вышними законами, —  
Увlechь ее за край Земли...  
Он виден там, между колоннами,  
И горы в облаке вдали.

Когда подавлены рыдания  
И брeнное погребено,  
Нам остается упование,  
Что тело — вечности зерно.

И льется легких зимних слез вода,  
Провидя воскресенья час.  
Ничто не далеко от Господа,  
И Он не далеко от нас.

\* \* \*

Я верю: закончилось время утрат,  
И пусть ни воды и ни хлеба,  
Растратил свой дымный запас Герострат  
В беспамятстве вешнего неба.

Покуда зима выгорала дотла,  
Метель завивая для вида,  
Назревшая туча взмахнуть не могла  
Крылами, как дева Обида.

Но вдруг разломилась она пополам,  
И вспыхнули в солнечной гамме  
И галочий гам, и сорочий бедлам,  
И тлеющий снег под ногами.

И чтобы надежд не оставить следа  
Редеющим зимним седидам,  
Органом сосулeк запела вода,  
А значит — не хлебом единым!

\* \* \*

— Что вас в путь неведомый повлекло,  
Мельхиор, Бальтазар, Гаспар?  
— Светит свет во тьме, и в ночи светло,  
И в груди купины пожар.

— Как оставить вы царства свои могли,  
Бальтазар, Гаспар, Мельхиор?  
— Знаем, новое царство всея Земли  
Начинается с этих пор.

— Что таит каждый дивный резной ларец,  
Мельхиор, Гаспар, Бальтазар?  
— Ладан, золото, смирену своих сердец  
Мы Младенцу приносим в дар.

— Что сулит Звезды небывалой свет,  
Бальтазар, Гаспар, Мельхиор?  
— Ад во прах повержен и смерти нет, —  
Возглашает небесный хор.

Ныне сладкую влагу точат ключи,  
Над горами молочный пар,  
И стоят у входа, как три свечи,  
Мельхиор, Бальтазар, Гаспар.

\* \* \*

Под ранним мартовским дождем,  
Воздавшим городу сторицей,  
Молвой досужей осужден,  
Снег угасает, как патриций.

Размяк, размок, не знает, как  
В тени укрыться от глумленья.  
Гудит весны ареопаг —  
Лучей, капли, брызг, движенья.

Весь в частых оспинах, изгой,  
В бреду, в жару, ни на минуту  
Не прерываясь, день-деньской  
Он пьет навзрыд свою цикуту

И смотрит с завистью на то, —  
Подошв нашествием изранен, —  
Как сквозь прохожих решето  
Спешит навстречу Эрато  
В сквозном простуженном пальто  
Преображенный горожанин.

\* \* \*

Когда откроется воочью:  
Очаг оставленный угас, —  
Эдипа видящую ночью  
Окинешь дом в последний раз.

Он удаляется, он — память,  
Он вырастает во весь рост,  
Его не бросить, — что лукавить, —  
Как хваткой ящерице хвост.

Есть в грезах падчериц корона  
И в чечевичной сказке — быль.  
На пепле плачет Сандрильона,  
Как древле горлинка-Рахиль.

Иным — отрада платьев бальных,  
Ее удел — посконный труд,  
А царство тувфелек хрустальных  
Сегодня силою берут.

\* \* \*

От Немезиды или Леды,  
Иль здешней нежити щедрот  
Твои эпические беды,  
Виной гордящийся народ?

От Леды или Немезиды,  
Иль от кормила корабля  
Твои бездонные обиды,  
Гиперборейская земля?

Да будет так. Гадать вотще я  
Не стану в стане воронья.  
В яйце судьбы — игла Кощея,  
Его кончина и твоя.

Твой скучный жребий не Елена —  
Ристанье, мужество и путь.  
Блуждай от гибели до плена,  
Чтоб снова к гибели свернуть.

\* \* \*

Рыхлых туч размашистым ковром  
Мир укрыт. Забудешь ночь не скоро ту.  
Горы громоздит угрюмый гром,  
Гроздь града катятся по городу.

Словно входит в обморочный дом  
Ураганом горняя прародина.  
Сыплет небо нелюдимым льдом  
Из угодий Тора или Одина.

Мне валькирий облачный полет  
Непостижен, слышишь, Полигимния.  
Пчел железных выстраданный мед  
С южною росой мешаю в гимне я.

Чтобы, словно спящий древний знак,  
Речь воскресла для нежданной встречи и  
Первозданных слов архипелаг  
Укрепился в варварском наречии.

\* \* \*

Спроси у ветра и воды,  
Спроси у времени и праха,  
Как в пренье с вечностью без страха  
Ложатся памяти следы.

Спроси у облака и льда,  
Спроси у пламени и пепла,  
Как в том ристании окрепла  
Их повторений череда.

Спроси у солнца и зимы,  
Спроси у жизни и... Напрасно  
Гадать, сумеем ли бесстрастно  
В исконный спор вмешаться мы.

Всему — единственный закон,  
Но если даже нет закона,  
Нас присно ждет Господне лоно,  
Где принят каждый испокон.

\* \* \*

Зацвел безвременник лиловый —  
Предвестник первых холодов.  
Земля на осени покровы  
Иной набросила покров.

Примерила — и примирила  
Дух с телом, берега с рекой.  
Есть неземная в зимах сила —  
Закона тождества покой.

В округе призрачно и голо;  
Снежинки кружатся порой,  
Как за Франческой и Паоло  
Любовников загробный рой.

И я, безвременный прохожий,  
В их вихрь попавший неспроста,  
Смотрю, как пишет день погожий  
Природа с чистого листа.

\* \* \*

Стогранный солнечный кристалл  
Распался в дивном беспорядке,  
Дорогу дождь перебежал,  
И скрылся в пасмурном распадке.

Всего лишь несколько минут  
Он был заплаканной вселенной, —  
И новый счет векам ведут  
Седмицы радуги блаженной.

Неисцелимо коротка  
Скрижаль судьбы, а жребий зыбок.  
Мне нужно знать наверняка,  
Что жизнь — не торжище ошибок,

Что вновь ее перекрою,  
Перепишу, как волны — берег,  
Как в прометеевом краю  
Подожвы гор грызущий Терек.

И звуков капли побегут  
За рифмой россыпью горошин.  
Постылый быт, убогий труд  
За скобки вынесен и брошен.

Расправит плечи небосвод, —  
Исконный путь из рода в роды, —  
И стих, как ливень, в мир войдет  
Явленьем духа и природы.



## Георгий ТУРЬЯНСКИЙ



Детство и юность — брежневские годы в Москве. Квартирка панельной многоэтажки на бульваре Яна Райниса. Незнакомое имя. Нескончаемая улица. Первое, прочное впечатление об окружающем мире — серая бетонная стена, оскалившийся забор детского сада. В заборе дырка! Непреодолимое желание выскочить и убежать. В возрасте двенадцати лет — смерть Брежнева, понимание, что и бетон иногда даёт трещину. Самые счастливые годы — горбачёвская Перестройка.

Студент, коридоры ФИЗТЕХа — запах аптеки. Работа пекарем в кооперативе. Зарплата в три раза превышает оклад отца.

Через три года — стройотряд, несчастная любовь, психушка в Яхrome и отвращение к учёбе. Выступление отца Александра Меня. Отец Александр: «Церковь эмиграцию не запрещает. Я не буду давать советы. Мои слова имеют слишком большой вес. Я сам никуда отсюда не уеду. Я знаю, что умру здесь». Поездка в составе студенческой группы в Швейцарию. Просыпаюсь от резкого толчка поезда. «Что это за небоскрёб? Где мы стоим?» Отвечают: «Франкфурт-на-Майне». Возвращение в Москву 16-го августа 1991 года. 19-е августа — ночь перед Белым домом. Сейчас или никогда! Стрельба, страх. Разговариваю с Глебом Якуниным. Победа!! В голове вопросительный знак: «По(л)беда»? Что же дальше? Ах, как я раньше не догадался. Ян Райнис, знакомая улица. Значит, подать документы. Да. В Германию, разумеется. Церковь не запрещает. Вот она дырка в заборе!

Февраль 1992-го года. Франкфурт-на-Майне. ПМЖ. Первая прогулка по городу. Кожаная куртка — 300 марок. В кармане — 70. Похоже, жить можно.

Первые пелёнки, первые радости, первое увольнение с работы, первая машина, первая седина на висках. Чего-то всё же не хватает. Чего? Первая книжка. А всё-таки чего-то не хватает.

У каждого своя дорога и своя цель. Дай Бог детям не маршировать по бетонной полосе. Иногда сворачивать с прямой дороги в непролазную грязь и заросли, куда и Яну Райнису не снилось. Находить свои дыры в заборах.

# ГЕРОЙ НЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

*...в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.*

М. Ю. Лермонтов.  
«Герой нашего времени»

## Максим Максимыч

**М**ое столь длительное и бессмысленное существование в мире грёз и мечтаний должно было рано или поздно прекратиться. Ведь чтобы описать великую вещь, мало одной прозорливости. Талант сочинителя — вещь необходимая, но настолько неосязаемая, что, кажется, вот же, есть он, а минуту спустя, будто на заказ, так и лезет на бумагу всякая чепуха.

Дабы навсегда избавиться от репутации непечатного сочинителя и приобрести известную твёрдость изложения, решил я послушать совета дражайшей супруги своей и отправился в небольшое путешествие. В дороге я питал надежду встретить интересных людей, многое повидавших. А главное, увидеть собственными глазами и предать бумаге предмет театр военных действий. Подобно незабываемому г-ну Дарвину, я отправлялся в дальнее странствие, надеясь своими очами объять действительность такую глубокою, каковую она предстаёт истинным её первооткрывателям.

Своё пребывание в южнороссийских губерниях я описывать не стану. Там всё по-старому. Тем более что предмет моих разысканий находился за Кавказским хребтом. Именно там сейчас беспокойно, именно туда стремится всякий человек, жаждущий испытать на себе радости и тяготы армейской жизни.

Лошадёнка моя, запряжённая арбой, саквояжем с книгами и парой тюков белья, тащилась всё медленнее, пока не достигла к вечеру Барсук-горы. Единственным моим утешением в походе служили книги, если не брать в расчёт моего слугу Тришку, существо богобоязненное, малообразованное и нечистоплотное.

Большой Барсук и Малый Барсук — две сопки этой примечательной местности. Внизу течёт Кура. Местные жители научили меня во избежание недоразумений не делать в этом слове ударения на первом слоге. Я держал путь на Малого Барсука, поскольку он меньше, и топтать до вершины, стало быть, короче.

Я полагал достичь вершины до темноты, и заночевать у дружелюбных адыгов. Холод стоял уже приличный. Местных жителей не встречалось, а Тришка проявлял, по своему обыкновению, безучастие к окружающему. Как вдруг слышу, он в темноте молитвы запел — испугался, видать, чего-то. Наконец услышал я голоса вдалеке, увидел огонь костра, и приказал идти на свет. К немалой своей радости был я вскоре принят в тесный круг гревшихся у костра мужчин.

Однако вскоре почти все они поднялись и ушли, не простившись, и у костра остался только один, порядочного возраста, румяный и с усами. Он предложил мне кипятка. У него было два чайника: один повместительнее и погрязнее, с оторванным носиком, другой несколько даже изящный, белый. В его крышку вставлена была винная пробка. Я не охотник до всякого рода незнакомых попутчиков с чайниками. Но Тришка ещё с получас громко молился, прежде чем завалиться спать, делать было нечего, я подсел, и мы разговорились.

— Каким ветром занесло вас, милостивый государь, в наши края? — первым задал вопрос мой визави.

— Я, видите ли, учительствовал. Но подходило время подумывать о покое, я не стал ждать отставки. Пенсионного жалования мне хватает.

— Стало быть, по болезни?

— Нет, зачем же? Дело в том, что предмет моей истинной страсти лежит не в учительстве.

— Где же? — спросил меня собеседник, набивая трубку и подмигивая с видом знатока.

— В литературном сочинительстве.

— Ах, вот оно что! — мой собеседник прищурился и приблизил своё закопченное лицо совсем близко, так что несколько кусков табаку упали и прожгли мой сюртук. — Давайте уж познакомимся. Меня зовут Максимом Максимычем. Штабс-капитан. А вы кто по должности, часом не камер-юнкер?

Я как-то отмечал, что плохо схожусь с людьми, пребывая подолгу в обдумывании своих сочинений, но что тут поделаешь? Не пойдёшь же супротив правил обхождения.

— Иван Петрович Лановой, учитель классической гимназии, ныне сочинитель, — ответил я из чистой вежливости.

— Очень приятно. И что вы соизволяете описывать?

— Военные кампании, — пояснил я. — За этим сюда и приехал. Поговорить с опытными военными, поднабраться опыту.

— Дело доброе, — кивнул Максим Максимыч. — Не всякие там бабские пересуды. Вот вам первый военный образец.

Я посмотрел, куда показывает палец Максима Максимыча. Палец указывал на чайник с оторванным носиком.

— Черкесы налетели позапрошлой ночью. Такая заваруха поднялась. Чайник мой улетел с костра вместе с заваркой. Меня всего кипятком забрызгало.

— Вы, разумеется, отстреливались?

— Какое там? Темнотища, — безнадежно махнул рукой штабс-капитан. — Азия. Пальнут и бежать. Насилу его под утро отыскал. В кусты зашвырнуло.

Я поближе рассмотрел покорёженный чайник.

— Да, любопытное происшествие. И часто у вас такое?

- Чтоб в чайник попасть? Первый раз.
- Я хотел узнать, стреляют часто?
- А-а-а. Стреляют и днём, и ночью. Басурманский народ. Татары.

Так в дружеской беседе коротали мы ночь. Спать отчего-то расхотелось. Я прислушивался к шорохам за спиной, но всё было тихо.

— Так вас, значит, супруга-то ваша сюда ко мне подслала, — довольно бесцеремонно заметил мой собеседник.

- Я сам. Принял решение в согласии с супругой.
- Так я ж и говорю.
- Нет, позвольте, меня не посылали!
- Как не посылали?
- Не возьму в толк, что вы имеете в виду, многоуважаемый Максим Максимыч?

Вместо ответа на мой вопрос Максим Максимыч явственно скис и замолк. Он отодвинулся и загрохотал ложкой. И чаю более мне не предлагал, а пил один из большой мятой кружки, носившей многочисленные следы дорожных приключений. Поссориться с единственным попутчиком в такую ночь было бы величайшим безумием.

— Не возьму в толк, вы разобиделись? — начал было я.

— С вашим братом приедем всего натерпишься, — после долгой передышки продолжал Максим Максимыч. — Да, чего уж.

Под утро я не выдержал и слегка задремал, прислонившись к колесу. И проснулся на рассвете от грубых толчков. Штабс-капитан тряс за плечо.

- Собирайтесь быстрее, Иван Петрович.
- Черкесы? — в ужасе спросил я, вспоминая ночные разговоры.
- Туда смотри, — старый воин взял меня под локоть.

Я посмотрел вдаль и ничего не увидел. В словах моего нового попутчика нередко сквозила загадочность.

— Во-он, облачко над горой. Азиаты говорят: «Дождь моросил, Барсук лужу налил». Ихняя народная мудрость.

- Какой Барсук лужу налил? — я ещё не успел прийти в себя.
- Гроза идёт, уходить надо.
- Быть может, поставим палатку?

Но мои слова вызвали лишь раздражение Максим Максимыча. Я решил не спорить со старым солдатом. Тем более, дело это бесполезное.

— Трифон! — закричал я. — Подымайся! Хватит отлёживаться, когда барин говорит. Тот продрал глаза.

- А утреннее правило?
- В дороге почитаем.
- Ладно, я за вас скажу.
- Что за болван! Собирайся!

В большой спешке мы укладывали поклажу на лошадей. И заторопились вниз. Мы успели покинуть заставу до наступления бури. Нам посчастливилось достичь безопасного места в низине, где мы и разбили новый лагерь. Я с любопытством наблюдал, как потоки воды несли вниз по дороге огромные валуны. Они в щепы разбили бы мою повозку, промедли я в то утро.

Благодаря опытности моего провожатого, мы избежали внезапного нападения стихии и сидели в безопасности, распивая знаменитый чай Максима Максимыча. Чайники моего попутчика сделались теперь мне совсем родными, словно верные приятели.

— Буря кончится, и куда ж вы подадитесь?

— Известно куда, — махнул неопределённо штабс-капитан. — Назад. Наше дело заста-  
ву охранять. Ежели, к примеру, сухо, то я наверху, чуть закапало — бегом вниз.

— А нельзя было крепость там наверху устроить? — поинтересовался я.

— Сразу видно, вы первый раз в наших местах и невоенный человек притом, — вздох-  
нул мой новый приятель. — Сколько ж раз пытались строить, смывает и всё тут. И при Ер-  
молове так было и опосля.

В подтверждение слов Максим Максимыч добавил парочку непечатных выражений на-  
родного творчества, живописующих бурный нрав Барсуков и реки Куры. Вдруг мой спут-  
ник подсел совсем близко:

— А вы такой молчун. Так и не сказали правды.

— Правды?

— Ну, вы ж про Григория Александровича расспросить хотели? «Герой нашего време-  
ни» — это ж моя книженция.

— Простите. Указанная книга — сочинение г-на Лермонтова, — возразил я. — Говорю  
вам как преподаватель гимназии.

— С чего вы это взяли?

Вопрос, признаться, поставил меня в тупик. Но сдаваться так вот сразу негоже. Тем паче,  
обстановка кругом — грозовая и военная.

— Так ведь, ежели предположить, что вы сочинитель, то кто тогда Печорин? Фикция?

— Зачем сразу фикция? — снова обиделся Максим Максимыч. — Ничего себе фикция.  
Всё там взаправду было. Вот этими ж руками и писано.

В подтверждение слов Максим Максимыч затряс сразу обоими чайниками.

— А дневники? — пошёл я в наступление.

— Ну, ладно, — Максим Максимыч засопел и полез куда-то во внутренний кар-ман. —  
Вот вам мой новый черновик. Я его написал, пока вы там у костра кемарили. Никому по-  
казывать не хотел, думал внести пояснения. Ладно, смотрите.

И раскрыл передо мной небольшую тетрадочку, всю испещрённую мелкими записями,  
прожженную в нескольких местах табаком и с пятнами чая.

— Так, значит, Лермонтов и Печорин выдумка, а сочинитель вы?

— Какое, — замахал руками старик. — Не выдумка. А только Григорий Александрович  
сидят, рассказывают, а я пишу. Писать ему самому недосуг было. Выходит, сочинитель —  
это и взаправду я.

Моему волнению не было предела.

— Разрешите подержать в руках тетрадочку.

— Э, нет, — снова отодвинулся Максим Максимыч. — Как Григория Александровича не  
стало, я без него пишу. И свои тетрадочки никому в руки не даю. Могу продать за трид-  
цать целковых.

— Тридцать целковых!

— А вы как думали? Я её ночь напролёт писал, глаз не смыкая.

— Что же вы мне предлагаете купить сочинение, которое мне, быть может, ни к чему?  
Я и сам сочинитель.

— Сочинитель вы известно какой. Сделайте так. Купите, полистайте, пока ваш слуга лоша-  
дей станет запрягать. Не понравится, я её у вас назад заберу. Ко мне много народу ездит.

Так мы и сделали. Я расплатился и уселся под раскидистой чинарой, предвкушая лите-  
ратурное удовольствие.

## Тетрадь

**П**о разбитой дороге вслед повозке, запряжённой гнедой лошадкой, топал немолодой уже человек. Повозкой правил горец в надвинутой до самых бровей меховой шапке, которые встретишь и по сей день в тех краях.

Лет путешественнику было около пятидесяти или чуть поболее, росту он был невысокого и обладал, что называется, приятной наружностью. То есть, такой, которая нравится молодым барышням и их мамашам, потому для мамаш важны в женихе не прыть и длинный язык, а хозяйственность и сурьёзное отношение.

Наружностью был он не обделён, как мы заметили. Но не для мамаш и вздохов девки замуж ходят, а сполнять супружеский долг. Так и военные: шагают по дорогам, не для променаду, а по служебной надобности. И вот для служебных надобностей был он, хоть в летах, но ещё хоть куда.

Потому как молодёжь бывает вовсе не приспособлена к службе. Молодые наши юнкера, которых присылают к нам в больших количествах, все как один, слишком хлипко склеены для плохих российских дорог и превратностей неустроенной кочевой солдатской жизни. Иной раз встретишь такого верхогляда и подумаешь, чему тебя только обучали в твоей школе гвардейских подпрапорщиков?

Время жидких молодых людей высокого роста, имеющих открытые любому ветру лица, быстроту да мелкость в движениях, ещё не пришло.

То было время старое, зимними месяцами тянувшееся долго и скрипуче, как плохо смазанная телега, а если изредка и устремлявшееся вперёд, то не быстрее рессорной коляски, передвигавшейся по матушке России несколько тяжеловато.

Высокий рост в описываемые времена являлся не преимуществом, а недостатком. В высшем обществе Москвы или Петербурга любой дылда сразу обратит на себя взоры хорошеньких дамочек и их мамаш. А только на Кавказе, по которому топал наш герой, дылдам да выскочкам беда.

За придорожными камнями прятались ещё тут и там неусмирённые черкесы и кабардинцы, или адыги, как они сами себя с незапамятных времён называют. Тогдашние горцы шутковать не любили и готовы были завсегда поймать на мушку эдакого столичного щелкопёра, над камнями торчавшего, и нажать на спусковой крюк ружья.

Из-за кустов на вершине скалы в прорезь прицела отлично просматривалась фигурка в шинели штабс-капитана. Штабс-капитан не носил сюртуков петербургского покроя с серебряными пуговицами, галунов, да эполетов. Потому как знал толк в жизни. Эполетами хорошо пол в избе мести, да девичьи лица щекотать.

Камни раскалились, и в лёгком полуденном мареве всё плыло, мешая засевшему в засаде негодяю целиться.

Вот фигурка в прорези прицела чуть двинулась вбок, встала вплотную к сидящему в повозке. «И за какого-то штабс-капитана их благородие решили отвалить полтора рубли? — удивились за камнем. — Если б какой петербургский дылда в эполетах, было б понятно».

Возница, выбрав себе в попутчики нашего штабс-капитана, сильно рисковал. Но не догадывался об этом. Цену за свои услуги он назначил малую и поступил совершенно правильно. Поскольку со штабс-капитана лишнего не возьмёшь и не поторгуешься. А начнёшь перечить, можешь и по морде кулаком получить. Выбирая себе попутчика в горах, не жадностью и не душевным расположением следует руководствоваться. А исключи

тельно степенью собственного риска. А риск получить пулю в затылок от басурман и кулаком в лицо от штабс-капитана был одинаковый. И возница уразумел всё, стало быть, правильно.

Лошадёнка горца выбивалась, казалось, из последних сил и иногда вовсе останавливалась. Возница пел свою песню и изредка стегал лошадь, когда она спотыкалась.

Штабс-капитан был человек неглупый и любил поразмышлять на всякий философский вопрос. Знал и себе цену, и всякой вещи, что лежит вокруг. Вот взять, к примеру, дорогу. Ведь и она меняет свою наружность от года к году. И ежели подумать далее и заглянуть лет так на пятьсот вперёд, то изменится у проезжего тракта лицо несказанно.

Размышления штабс-капитана унеслись в Европы, где не доводилось ему бывать. Но про которые Григорий Александрович сказывали. В Европах начали с недавней поры крыть дороги ровным и гладким камнем. И достигли, судя по тем рассказам, в этом своём предприятии таких невиданных успехов, что тракты ихние из скучных и непроездных в распутицу превратились у иноземцев в прешпекты и ровные, будто стол, бульвары.

— Пойми, — говорил, бывало, Григорий Александрович, — и до нас такое улучшение рано или поздно дойдёт.

— Вы бы лучше чайку отведали.

— Да погоди. Ты, представь, Максим Максимыч, — отставит в сторону чашку Григорий Александрович. — Пустят, быть может, по дорогам эдакую невиданную машину. А в ней люди сидят и едут.

— Какую машину, Григорий Александрович?

— Самодвижущуюся коляску.

— Что у вас за блажь на уме?

— А ты представь. Тогда лошадей начнут потихоньку забывать, а расстояния будут преодолеваться гораздо быстрее, нежели сейчас. И дойдут эти новомодные веяния и до Кавказа. И по Кавказу люди тогда на машинах поедут.

— Вы это наверняка знаете? Про самодвижущиеся коляски?

— Наверняка я, конечно, не знаю.

— А я, Григорий Александрович, другого на сей счёт мнения.

— Ну, сказывай, — Григорий Александрович ухмыльнутся, бывало, ждут, вот глупость сейчас сморозит старый.

— Вам бы оставить ваши фантазии, и сказать самому себе, что по России-матушке колесо неспешно катит. Значится, исходить надо из того, что дороги, которые вы тут в ваших эмпиреях рисуете, в отличие от европейских, ещё сотню лет будут оставаться таковыми, разбитыми да неухоженными. А потом, быть может, в следующую сотню лет, придут кое-где в полную негодность и зарастут травой.

Улыбка тогда с лица Григория Александровича слетит. Станет он грустен и печален.

— Эта картина более вероятная. Я люблю мечтать, а ты видишь жизнь такую, как она есть. Прав скорее не я, а ты. Твоя взяла, штабс-капитан.

— То-то, Григорий Александрович.

Правый сапог на носке штабс-капитана совсем порвался, сильно начал натирать ногу и мучить хозяина. Тот стал прихрамывать и решил, куда каблук вовсе не отвалился, сесть в повозку, невзирая на всё своё сострадание к выдохшейся кобыле и к тому факту, что лишь через пятьсот лет здесь поедут самодвижущиеся колесницы.

— Скажи, любезный, успеем мы до темноты? — поднял лицо штабс-капитан к вознице

и устроился рядом поближе, надеясь расслышать ответ из-под шапки. С первого вопроса понять, что ему ответит проводник, он не надеялся и собирался задать ещё пару наводящих вопросов.

Азиаты, такие разбойники. То ли с умыслом плохо по-нашему говорят, то ли без. А не могут нашему брату свиньи не подложить.

Возница кивнул и быстро показал рукой с зажатым в ней хлыстом в сторону небольшой отвесной скалы впереди, нависавшей над головами всех проезжавших по этой дороге. Из рта возницы раздалось глухое: «Полверсты, хозяин...»

Сразу после этого возница вздрогнул и начал, хрипя, заваливаться набок. Лишь когда поводья выпали из рук, а тело полностью распласталось на дне брички, рядом с моим желтым чемоданом, эхо донесло звук ухнувшего вдали выстрела.

Штабс-капитан враз понял, в чём дело. Он по-кошачьи изогнулся, выхватил ружьё, лежавшее позади возницы, согнулся в три погибели и, стараясь казаться незаметным, подбежал и схватил за уздцы лошадь. Последние слова провожатого черкеса означали, что примерно полверсты придётся идти, опасаясь малейшего шороха и звука. Все преимущества были на стороне нападавших. Однако штабс-капитан прошагал эти полверсты по всем правилам военного искусства и два раза пальнул в сторону кустов, когда услышал там шорох.

Уже в лучах заходящего солнца повозка с лежащим в ней навзничь черкесом въехала в аул.

При входе в аул штабс-капитан увидел двоих сидящих на земле горцев в длинных халатах и с седыми бородами. Он хотел было расспросить их, есть ли доктор в ауле.

Но старцы не сдвинулись с места, не выказали интереса к прибывшим, а глядели на повозку с равнодушием и презрением. Раненой собаке в наших деревнях уделяют больше заботы, хотя, кто знает, каким вниманием было бы удостоено раненое животное, попади оно сюда.

Штабс-капитан понял, что помощи тут ждать неоткуда, поэтому напрямик направился к самой большой сакле и забарабанил по стене со всей силы, так, что лачуга задрожала.

Откуда-то сбоку вынырнул казачок на нетвёрдых ногах.

— Лекаря нет у вас? Коли есть, зови, — приказал штабс-капитан.

— Есть. Их благородие вчерась приехали, — произнёс казачок. — Они дохтур и есть.

— К Вашему благородию самолично просюся, — пьяно проорал казачок, стукнув пару раз в дверь сакли.

По всей видимости за дверями и был тот, кого казачок называл «дохтуром». Дверь отворилась и штабс-капитан столкнулся нос к носу с маленьким тщедушным человечком в чёрной жилетке и домашних туфлях... череп его весь в буграх, большой, словно бы у мыслителя давней эпохи.

— Чем могу?

— Здравствуйте, — штабс-капитан представился, как полагается. — Тут со мною вышла такая оказия... Какая-то шельма моего провожатого из ружья ссадила. Он у меня на повозке. Не изволите ли помочь?

— Да-да. Конечно, — промолвил доктор, и прихрамывая засеменил к повозке.

Осмотр пострадавшего не занял и минуты. Доктор пожал плечами и закрыл глаза кавказцу. Всё было кончено.

— Пуля прошла сквозь мозг. *Vona mors...* Моя фамилия Вернер, — улыбнулся человечек и протянул штабс-капитану руку.

«Мефистофель, так и есть. Выглядит точно, как в описании Григория Александровича», — подумалось Максиму Максимычу, который, как уже догадались читатели, и был штабс-капитаном. И доктор был тоже известным читателю лицом.



— А вы часом не знакомый Печорина? Тот тоже был штабс-капитан, — хитро взглянул доктор. — Я, признаться, давно не перечитывал его писаний. Но тогда мы с вами заочно знакомы...

— Да, я с Григорием Александровичем служил. И все его дневники отдал Лермонтову. А вы, стало быть, доктор Вернер? — стараясь не сболтнуть лишнего, ответил Максим Максимыч. — Тогда я тоже премного о вас наслышан.

— Сдаётся мне, вы лукавите, Максим Максимыч, что отдали всё до конца Лермонтову. Ну, да ладно. Про Печорина я, конечно, слышал. Так... немного, — физиономия доктора свидетельствовала, что имя некоего Григория Александровича ровным счётом ничего для него не значит.

— Может быть, вы слышали, что Печорин погиб при довольно странных обстоятельствах. Он оставил записки, к которым я имею отношение. И я подумал, надо бы поехать по Кавказу, посмотреть, всё ли правда, что Печорин рассказывал. Если вы и есть тот самый доктор Вернер...

— ...значит, вы наткнулись на первого свидетеля, — бесцеремонно прервал Максима Максимовича лекарь.

— Выходит так. Григорий Александрович довольно точно вас описывает.

— Да-с, мастер он был на подобные штуки. Описывал точно.

— Знаете, я как раз предполагаю опубликовать его дневник.

— Ах, вот как! Тогда пойдёмте в дом. Я скажу казачку внести ваши вещи, останетесь у меня на ночь. Насчёт убитого я распоряджусь.

...Час спустя штабс-капитан сидел за самоваром в сакле Вернера, а тот ковылял взад-вперед, отчаянно жестикулируя.

— Не стану таиться перед вами. Я работаю на департамент полиции. И эти тетради вы обязаны отдать или отослать... куда следует. Что с толстой тетрадью Печорина? — вдруг остановился доктор и холодно посмотрел в упор на Максима Максимыча, а затем перевёл взгляд на небольшой жёлтый дорожный чемодан.

— Тетрадь в надёжном месте, и я собираюсь в ближайшее время отдать её издателю...

— Знаете вы, кто такая была эта Бэла?

— Мне ли не знать. Она у меня на руках умерла. Дочь местного князька она, — начал, было, Максим Максимыч.

— Для вас, господин штабс-капитан, она, конечно, не велика птица. Но на Кавказе... Местный князёк может объявить очередную войну всей округе и начать смертоубийство. Знаете ли вы, за то, что вы там натворили с Печориным, должно вас отдать под суд.

— Так ведь у горцев это часто, невест воровать, и отец её убит.

— Как вы не возьмёте в толк! Вы здесь не первый год и должны знать закон гор. Старый князь, узнав, что дочь его обещана, поклялся мстить. А его смерть лишь окончательно испортила дело. И весь Кавказ поднялся!

— Но отчего же?

— Да оттого! Как вы в толк не возьмёте. Князь же был мирной! А родственники-то — нет! Кабарда поднялась. После отъезда этого Печорина у нас потери на Линии утроились. Утроились! — затряс кулачками пришедший в исступление доктор.

— Э-ге, то-то я заприметил, — отвечал смущённый штабс-капитан, — частенько пошаливать стали. Мне и невдомек. Я со своих Барсуков никуда не езжу.

— И вы называете это словом «частенько»? А если начнут «постреливать» в Петербурге? Вам не приходило в голову, господин штабс-капитан? Затронуты интересы страны. Вы это хоть понимаете?

— Да, но тут дневник. Литература.

Доктор два или три раза отмерил шагами комнату. Сел. Налил гостю и себе чаю и заговорил спокойнее.

— Наша страна, дорогой Максим Максимыч, страна чиновничья, служилая. Но есть в ней людишки — вечно недовольные, всё им не так. Любая карта не в масть. Ловят рыбку в мутной воде. Словом, Печорины. Вот такого рода люди и есть самые опасные для государства.

Максим Максимыч подкрутил ус и посмотрел прямо в глаза говорящему:

— Вы шпионили за Григорием Александровичем?

— Выбирайте выражения, милостивый государь! А что прикажете делать! — вскричал Вернер. — Он самый опасный. Вроде бы и у нас служил, а дел наворочал... Наворочал и съехал. Персию осматривать.

— Не возьму никак в толк, зачем вы мне это говорите?

Вернер, помолчав, ответил.

— Я, видите ли, немец. Хоть Печорин и утверждал, будто я русский. Но мне приятнее, чтобы всё по полочкам, — доктор сделал движение рукой, как бы расставляя невидимые предметы.

Максим Максимыч слегка заколебался. Слова немецкого доктора звучали вполне резонно. Умолкнувший было, врач продолжал:

— Как он там писал: «Мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим». Это вашего дружка Печорина слова. Талантлив был, подлец. Но мы, тайная полиция, очень даже хотим. Потому как надо знать, где он ещё понашкодил.

— Печорин же мёртв. Дело, стало быть, закрыто.

— Вы всё понимаете не хуже меня. Записки его у вас. Теперь и ваша жизнь на волоске. Отдайте нам тетради по-хорошему.

Физиономия Вернера с маленькими глазками была так близко, что штабс-капитан учуял съеденную им на обед курицу. Ему стало противно.

«Чёрта-с два я отдам тетрадь, — подумал штабс-капитан, — тебе отдашь, и тогда точно крышка. И не для того я ввязался в это дело, чтобы теперь по-глупому её отдать. Это не просто тетрабочки. Бомбы».

А вслух сказал:

— Имею честь откланяться, милостивый государь, — и встал из-за стола. — Я не боюсь угроз. Спасибо за чай.

— Куда же вы, любезный капитан, на ночь глядя? — вдруг сменил тон доктор. — Впрочем, идите, устраивайтесь на ночлег сами. Я вас не держу и советов больше давать не стану.

Затем доктор подошёл к двери, приоткрыл её и крикнул в темноту: «Фёдор!»

В комнатёнку вошёл давешний казачок с шашкой наголо. Казалось, он сделался еще пьянее.

— Проводи гостя! — и Вернер показал казачку какой-то знак рукой. Тот крякнул, и шашка его, описав полукруг в воздухе, опустилась на голову несчастного обладателя дневников.

Наутро доктор в сопровождении казачка вышел на улицу. Рядом с повозкой мирно щипала траву худая кобыла. В самой же повозке рядышком лежали два хладных трупа, с головы до ног покрытые белыми холстинами. Единственно, из-под материи виднелись две пары обуви.

— А еще уверял, что сам справится, — тихо упрекнул убитого Вернер, откидывая саван. Перед ним лежал горец с морщинистым немолодым лицом.

— Кто таков? — спросил казачок.

— Неудачник, — коротко пояснил Вернер, будто ставил амбулаторному больному не

нетрудный диагноз. — Дослужился до чина капитана. Из драгун. Всегда носил чужую форму, даже когда перешёл на службу к нам, в Третье, в первую экспедицию. Переодевался, как артистка. И имя тоже взял себе театральное, Капитон Драгунский. И с Печориным вышла промашка, и с этим... А теперь вот штабс-капитан к нам решили наведаться...

— А у него-то, гляньте, совсем сапоги изорвались, — показал казачок на торчащие подошвы Максим Максимыча, — что же, пару обуви было не на что купить?

— Какова служба, такова и оплата, — ответил Вернер, похлопывая казачка по спине, и легким движением откинул материю со второго трупа..

То, что они там увидели, в, вернее сказать, чего они там не увидели, заставило доктора хищно осклабиться, а казачка сесть прямо в пыль, закрыв руками голову, словно опасаясь удара.

На повозке лежали рваные сапоги штабс-капитана и мешки с травой.

— Dieser Mensch macht mich wahnsinnig, — заверещал не своим голосом Вернер, испепеля казачка взглядом. — Laufen hier die Leichen rum? Он что, босой ушёл?

— Никак, нет, Ваше благородие, — бормотал помощник Вернера.

Вчерашние винные пары всё никак не хотели выветриваться из его башки.

— Так где он? — раздался рык.

— Кукла-с, — только и сумел выговорить казак, пожимая плечами. — Что за публика! Даром штабс-капитан, а, видать, ночью к басурманам уполз.

— На что вы пригодны, если ни пристрелить, ни даже шашкой сзади убить не умеете.

Занятые препирательствами, они ничего не замечали вокруг. А напрасно. Проходящая мимо женщина в парандже что-то крикнула мужским голосом на чистом русском языке. Кусты чуть шелохнулись, и молодой чеченец тонкою тенью прошмыгнул в дом. Через пару мгновений он уже выскользнул оттуда, сгибаясь под тяжестью жёлтого чемодана и двух тюков.

— Экие увальни, — пробормотала басом женщина, глядя на ругающегося с казачком доктора. — И это наша тайная полиция?

Доктор продолжал насмехаться над своим помощником, но уже без прежней злобы. И тот тоже вёл себя смирно. Пропажи вещей они пока не обнаружили. Тем временем, молодой чеченец с тяжёлой поклажей, обогнув дом, подбежал к женщине и сел рядом в кустах.

— Все вещи отнесу на край аула. И там зарю в землю.

Женщина в парандже замотала головой и сказала голосом Максима Максимыча:

— Ты что, ишак, Азамат? Все вещи выброси, возьми только тетради.

— А-а, — стукнул себя по лбу недалёкий Азамат. — Как сам не догадался! Только прошу, штабс-капитан, больше не называйте меня таким обидным словом.

— Ладно, не буду, Азамат, — произнесла женщина-штабс-капитан. Но ты сам видишь, как из-за твоей и Григория Александровича дурости новая кавказская война началась.

— А что?

— Рази ж можно менять сестру на лошадь!

— На лошади ездить можно. У лошади ноги красивые, а тут?

— Хватит скоморошить!

— Я и вправду так думаю. У лошади...

Женщина грубым голосом прервала его душевные излияния.

— Хватит! Как русский офицер я свидетельствую: ты отомстил за сестру и отца.

— Как? Уже отомстил? Я же хотел убить вот этих двоих, — Азамат показал на идущих к лачуге казачка и Вернера.

— Ты и, правда, не поймёшь, или притворяешься? Хочешь, чтобы сюда приехала каза-

чья сотня и сожгла ваш аул? Григорий Александрович съел свою отравленную грушу, бумаги у нас. Большого и не надо. Ступай к своим, скажи, Максим Максимыч вернул мир Кавказу.

— А-а-а, — снова стукнул себя по голове недогадливый чеченец. — А коли они решат искать бумаги?

— Здесь в горах мы, русские, не хозяева. Любая дворняга бросается на нас с лаем. Нам большая война сейчас невыгодна. Не будут искать.

— И что станем с бумагами Печорина делать? — спросил Азамат.

— За тетради нам с тобой дадут большой выкуп. Станем их продавать по тридцать рублей тетрадка.

— Тридцать рублей, это много?

— Купишь всех лошадей Кавказа.

— Значит, базар делать станем?

Максим Максимыч скинул паранджу и, стиснув от боли зубы, потрогал окровавленную повязку. Прошипел:

— Кабы потрезвее был, уложил бы меня навсегда, стервец.

## Конец

Я дочитал записки Максим Максимыча и впал в некоторое даже недоумение. Старик подошёл и встал неподалёку, делая вид, что поправляет шлею. На самом деле ему хотелось услышать слова одобрения.

— Дорогой Максим Максимыч, у меня просто нет слов...

— То-то, — широкий рот его разъехался в улыбке от моей нехитрой похвалы.

Недаром говорят, доброе слово и кошке приятно. А тут штабс-капитан.

— Но я не могу взять в толк.

— Да? — лицо воина стало вновь суровым.

— Начать с того, что вы уже продали мне первую тетрадь.

— Так я для вас старался. Думал, всё одно, вы роман пишете. Будет вам попроще, выдумывать меньше. Завязка имеется.

— Ну, хорошо. А тон записей? Раньше-то вы писали о Печорине лучше.

— Есть такое дело, — Максим Максимыч выпустил шлею из рук. — Надеялся сильно, что Лермонтов отразит. А он, шельмец, так прям и тиснул, как я ему дал. Григорий Александрович мне, бывало, вечерами рассказывают, я записываю. Хорошо они рассказывать умели. Потом в Персии его отравили, или климат там оказался плохой. Вот и приходится мне теперь самому литературой заниматься.

— Отчего ж он уехал?

— Боялся сильно, что пристрелят его тут.

— Да?

— А то! Любить-то его не любили. Потому горцы шуток не понимают, да и наши тоже. Особенно, говорил, суровость здешнюю по казакам видать. По улице идёшь, у каждого второго глаза огнём жёлтым блестят. Фаталюга на фаталюге. Боюсь, гово-

рил, какая-нибудь сволочь из-за угла шарахнет. И поминай, как звали. Уеду подобру-поздорову в Персию.

— А что ж Лермонтов?

— Да как Печорин уехал, Лермонтова прислали. Я ему бумаги и отдал. Чтоб книгу издать. Уговор у нас такой с ним был: Михайло Юрьевич проверить был должен, да пояснения от себя дать. Только гусары, они, такой, знаете, ненадёжный народец.

— Какие Лермонтов должен был дать пояснения? — удивился я.

— Ну, вот, к примеру, глава «Бэла». Я ж там ясно пишу, дескать, незадолго до смерти она задумчивая стала, в последний день прям на речку за крепость ушла. А Григорий Александрович тоже переживают, на охоту, будто полоумные, ездят.

— И что?

— Так ведь сам посуди, Иван Петрович. Кто ж на речку в жару купаться ходит на виду у неприятеля? А потому она пошла охолонуться, что была тяжелая на третьем месяце. И Григорий Александрович по жаре скакали, чтоб от мыслей про скорое отцовство развеяться. Я того не упоминал, думал, Михайло Юрьевич перепроверит, а любая баба и так догадается.

— Но вы Лермонтову говорили перепроверить?

— Михайле Юрьичу? Да я ему все уши прожужжал.

— А он что?

— Куды там. Говорит, мне с тобой экспертизу проводить прикажешь? Несерьёзный был человек. Доскональности не имел, одно слово, прапорщик. Видите, что получилось. Чуть война новая не началась. Хорошо, я с Азаматом вовремя договорился, а он со своими братьями-разбойниками. Теперь мне роман надо новый писать и по тетрадке продавать. Иначе не расплачусь я с азаматовой роднёй.

— Сам не сделаешь, никто не сделает, — кивнул я.

Моё замечание пришлось штабс-капитану по нраву. Он тронул мой рукав.

— Вижу в вас сродственную душу, Иван Петрович. Вы пока литературного опыта набирайтесь, я ещё тетради подготавливаю.

— Скажите, Максим Максимыч, откуда в вашем новом сочинении доктор Вернер? Он же, вроде, из другой главы, — почесал я подбородок.

— Пятигорск недалече. Я отписал Михайле Юрьичу, дескать, по всему видно, этого доктора прислали, чтоб следил за Печориным от департамента полиции. Голову даю на отсечение, был он никакой не доктор, и не лечил он никого, а только исподтишка насмеялся над больными и здоровыми. Так Лермонтов и это упустил. Вот и приходится действовать, так сказать, прямыми указаниями. И проверять-перепроверять.

— Азамат, право, немного странен.

— Не то слово. На голову совсем хворый мальчонка... Отец его, покойник, так убивался бывало. За что, говорит, наказание мне?

— Любопытно вы рассказываете, — вздохнул я. — А в новой тетради про меня не будет сказано?

— Так мы с вами «Героя» теперь живо переделаем. И вас вставим, куда пожелаете. С Лермонтовым у меня, признаюсь, промашка вышла. Но вы человек серьёзный, положительный, из гимназии. Вы уж там, в столицах, похлопочите за меня, старика, у издателей. А, главное дело, поездите, улики пособирайте. И по тетрадке — в издательство.

— Заманчивое предложение. Откуда вы так сочиняете хорошо? Видите то, чего другие не углядели.

— Ну, я же не прапорщик какой. Творческое предвидение, оно у меня с детства, — согласился Максим Максимыч. — Что есть, то есть.

Вскоре мы распрощались. Максим Максимыч настойчиво мне советовал посетить печоринские места. Пятигорск и Тамань.

— И совет вам я дам такой, Иван Петрович. Опубликуйте сперва мою первую тетрадочку, тридцать целковых разом отобьёте. А дальше не тяните. Родня Азаматова ждёт. Главный герой в новом повествовании любой может быть. Хоть бы и вы. Описывайте, как следы умершего Печорина повсюду ищете.

На прощание Максим Максимыч надавал мне кучу полезных советов, особенно, как батальные сцены расписывать.

— Съезжу в Тамань, — обещал я, — привезу вам свои наблюдения.

— Ежели вопрос какой, знаете, где меня искать. Скажут, на Малом Барсуке нету Максимыча — ступайте на Большой.

— Да уж найду.

— Ну, бывай, Иван Петрович. Езди по всем местам. Наблюдай. Печорин приврать любил, и Лермонтов невнимательно работал. Глядишь, тебе что-то новое откроется. Потом вместе покумекаем. И не бойся делать пояснения.

На том мы простились. Он уходил дальше и дальше от меня, продолжая по пути давать мне поучения. А чтобы я слышал его, ему приходилось кричать. Последнее, что я расслышал, дескать, писатель не должен сомневаться в правдивости им написанного. Как написано, так оно и правдиво.

## Та Мань

Вот так встреча с Максим Максимычем поменяла мои планы. Что поделаться, такова судьба литератора. Ждешь продолжения одного романа, а выходит другой. Но я несколько не жалел, что не остался в горах. До сих пор, как вспомню о простреленном чайнике, бросает в дрожь. Зачем лезть на рожон?

Тришка затянул свою обычную заунывную песню. Я их, признаться, не выношу, но думается под них приятно. Дорогою я размышлял о словах штабс-капитана. По всему выходило, прав он. Взять того же Вернера. Ходит во всем чёрном, ни пациентов, ни практики. Максим Максимыч полагает, что вычислил Вернера, вроде он к департаменту полиции приписан. А если он и не полицейский никакой? Уж не шпион ли германский? Тут же и театр военных действий недалеко. Бьюсь об заклад, не удосужились у него паспорт проверить. Лермонтова откроешь, прочтёшь, ничего про Вернера в толк взять нельзя. Потому как, во всем описании так и сквозит лермонтовская расхлябанность.

Вскоре показался указатель «Тамань», место нашей первой остановки. В Тамань мы заехали, поскольку откуда-то следовало начинать.

Городишко, который заслужил у Печорина прозвище самого скверного из приморских, не вызвал во мне ни малейшего неприятия.

Во-первых, даже и по правилу юридическому не пристало дважды быть судимым за одно

и то же деяние. Тоже и с городом. А взрослое население Тамани уже раз записывалось в очередь стреляться с обидчиком. Во-вторых, приняли меня в Тамани несравненно лучше, чем Печорина.

Правда, ветер пробирал до костей. Когда с моря такой сильный ветер, низины может подтапливать. Но зато после отступления моря весь берег меняет очертания.

Оставив на улице поклажу, кутаясь в дорожный плащ, я пошёл устраиваться. Отчего-то в такую скверную погоду мне расхотелось сразу идти по следам Григория Александровича, как наущал Максим Максимыч. Я подумал, успеется. И решил спросить дом местного начальства.

Мне указали. Передо мной предстал осанистый бородатый мужик с открытым простым лицом, урядник Митрич.

Я незамедлительно ознакомил местного городского голову с целью своей экспедиции. Митрич посоветовал мне начать путешествие с посещения городского архива.

— А остановиться на ночлег у вас есть где? — спросил я нетерпеливо.

— Вы сперва в архив идите, там поговорим.

«Неужто придётся в архиве ночевать?» — закралась мне в душу нехорошая мысль. Но делать нечего. Просто не сразу я понял характер здешнего народу, неспешный и основательный.

В архиве я натолкнулся на весьма загадочные письма кубанских казаков, сообщавших родным, что есть близ Екатеринодара, на морском берегу, земля, обильная хлебом и травами. «И манит, она и зовёт. Земля Та — Мань». Заманенные плодородными чернозёмами, казаки быстро разбогатели и стали зваться атаманами. Вот откуда происходит название местности и откуда вышло слово «атаман».

В многочисленных посланиях английских купцов своему королю имелось другое свидетельство: проходя мимо Тамани их матросы, потрясённые увиденным на берегу, восклицали: «Тоо тапу» или «Том, money!» В любом случае, верить ли казацким или купеческим письмам, название города указывало скорее на изобилие плодов и богатство местных жителей, нежели на скудость и нужду.

Сделанные открытия я не стал утаивать перед урядником, чем несказанно его обрадовал.

— Ну, так я и думал, — хлопнул себя по коленям Митрич. — Хорошо ли ты, Иван Петрович, поглядел архив?

— Хорошо.

— И английских моряков все письма прочёл?

— Все, — соврал я.

— Ну, теперь и для нас, и для тебя многое стало на свои места.

— А что насчёт ночлега?

— Ну, теперь, когда ты про Тамань немало понял, станем тебя обустраивать.

Митрич, как человек хозяйственный и сноровистый, проявил ко мне живое участие.

— Жить, Иван Петрович, будешь у меня. Ты уважение к таманцам имеешь, а таманцы, стало быть, к тебе. А те, кто страху не имут, в архивы не ходят, пущай ночуют в сараях.

У меня мелькнуло лёгкое подозрение, не Печорина ли имел в виду урядник, но спрашивать я не решился. Митрич продолжал:

— Моя старуха соберёт на стол, располагайся.

Лошади задали корму, а Тришка занялся разгрузкою вещей. Я зашёл в просторную свет-

люю горницу. Там мне была уже приготовлена постель. Два казака внесли мои вещи. А когда я хотел дать им на водку, отказались:

— С гостей не берём, — и с поклоном вышли.

— Трифон, разложи одежду, — приказал я, — да гляди, не кидай всё горою, а стопочками.

— Образ повесить бы надо, — отвечает.

— Слуга хозяину, чтоб его вещами занимался, а не своими, — сделал я внушение.

Наконец, принялся Тришка раскладывать бельё по шкафам, я же, повеселев после дороги, вышел к столу. Митрич с супругою уже сидели. Мне отвели место подле хозяина, во главе стола. Пригласили садиться. Налили водки.

— Завтра после обеда, — хрустя огурцом, сообщил Митрич, — пойдём к Слепому. Тебя же он интересует? Как учителя?

— Я служил в классической гимназии, — согласно кивнул я.

— Ну, вот. Поглядишь, какое слепые получают в Тамани образование.

Митрич весьма старался мне угодить, и так меня потчевал и обихаживал, что лишь на третий вечер, держась одной рукой за живот, а другой за штaketник, я смог оторваться от застолья и направиться к дому Слепого.

Там я обнаружил весьма радостную картину. Во дворе свежесвыбеленного сарая меня встречала празднично разодетая толпа и бабы, что-то распеваящие. Митрич первым зашёл в помещение и сделал знак рукой. Пение прекратилось.

Слепой в чистой сорочке терпеливо, читая по слогам, изучал азы грамматики при помощи азбуки Брайля. Подле стола ученика замер часовой с ружьём.

— Охраняет покой учащегося, — пояснил мне урядник. — Чтобы некоторые приезжие господа не плели потом всякие небылицы, якобы сирота, а не под присмотром.

Митрич наклонился и поцеловал ученика в макушку, подошёл к часовому, внимательно осмотрел, заряжено ли оружие и в каком состоянии патронташ..

Затем он обошёл комнату и заглянул в углы, принохиваясь.

— Чуешь?

— Что такое? — я тоже невольно принялся втягивать воздух.

— Сыростью не пахнет. А то понапишут там у вас глупостей.

— А где старуха? — спросил я, припоминая, что Печорин упоминал глухую старуху.

Оказалось, старуха ушла из дому. Недавно сделалось нововведение, вечерами, пока Слепой читает, таманские старухи упражняются в хоровом пении. И сегодня как раз идёт засолка овощей на зиму с одновременными занятиями вокалом.

— И пацанёнку не мешают, и хозяйству польза.

Я был несказанно рад увиденному. Невольная улыбка гуляла у меня по лицу. И все, кто находился рядом со слепым мальчиком, испытывали подобные чувства. Теперь было что доложить Максиму Максимычу. Как и предполагал штабс-капитан, Печорин многое понапутал, а Михайло Юрьевич не уделил, как обычно, должного внимания деталям. Обстановка вовсе не соответствовала той, к коей привыкли читатели «Героя нашего времени».

Но и ознакомив с жизнью Слепого, гостеприимные станичники не оставляли меня своей заботой и лаской. Тамань — это, в самом деле, не город, а станица, село по-нашему.

Меня постоянно звали то в один дом, то в другой, водили печоринскими тропами. Поначалу мне было удивительно, что в городе, который Печорин так невзлюбил, имеются в честь него тропы. Но вскоре свыкся с этой мыслью. Гуляя, я насчитал их штук пять, потом сбился.

Для полноты отчёта Максиму Максимычу мне не хватало только лишь встречи с контрабандистами.



Об этом я не раз заводил разговор с урядником. Митрич ничего толком не отвечал, а только ухмылялся в усы.

— Время подойдёт, встретишься.

Так прошла неделя, я уже стал сомневаться, имеются ли в Тамани свои контрабандисты. Или это очередная печоринская выдумка, записанная с его слов Максим Максимычем и не проверенная Лермонтовым. Как вдруг за обедом Митрич и говорит вполголоса:

— Поступила тайная депеша. К нам из Порты едут контрабандисты.

— В самом деле?

— Я ж не Лермонтов. Брехать не стану.

Даже кислая капуста от неожиданности просыпалась у меня за край тарелки.

— Ты, Иван Петрович, к встрече готов?

— Ясное дело.

А сам немного струхнул, потому как неясно ж было ничего.

— Оружие при себе имеешь?

— Нет, — отвечаю.

— А снасти рыболовные заготовил?

— Тоже нет. У меня только слуга. Трифоном кличут.

— Трифона туда брать не следует. Ну, ладно. Дам тебе верных людей. Выйдем в море с закатом. Об остальном — никому ни слова.

До вечера я промучился, ходил по печоринским тропам. Пошёл через писки. Так у местных пустыри называются. И пришёл к Турецкому фонтану. Вдруг подходит одна знакомая крестьянка:

— А-а, Иван Петрович, водички пришли испить?

— Просто гуляю.

— Вы сегодня на контрабандистов-то поедете?

— Откуда вы узнали? — опешил я.

— Все про то знают.

И правда, ближе к закату к Тамани приблизился парусник. Я подумал, парусник турецкий. Ведь контрабандисты приплыли из Порты. Но название корабля и флаг были русскими. Быть может, Митрич хотел сообщить про контрабандистов из порта, а не из Порты. Не берусь судить. Я до того разволновался, что хотел оставить завещание.

— Триша, сия бумага есть последняя воля твоего хозяина. Коли не вернусь, отвезёшь письмо моей супруге, — втолковывал я слуге.

— А ежели вы вернётесь?

Трифон — сущее наказание. Ей-Богу, иногда хочется всё делать самому. И узлы таскать, и собственное завещание отвезти адресату. Но я отвлёкся. Полстаницы поехали в лодках к кораблю. Митрич был нарядно одет и со всем семейством. Взяли и меня. Взбираясь на корабль, я подумал, уж не вся ли Тамань собиралась заняться запрещённой торговлей?

Мы погрузились и отплыли в полное неожиданностей море. Сперва корабль шёл какое-то время под ветром. Потом встал и бросил якорь. Кругом на палубе зажгли свечи, выкатили бочки с вином, и пошла обычная деревенская гулянка с танцами, только на море. Пустые бутылки швыряют не в кусты, а в воду. Я, ничего не понимая, всё всматривался в темноту. И слышу, кто-то меня сзади берёт за плечо:

— Вы к контрабандистам хотите?

— Да, — говорю.

— Пойдёмте, только тихо.

В полной темноте мы пробрались на корму корабля к канатам. Там лежала парочка пьяных, а больше ничего не было. По верёвочной лестнице надобно было спуститься вниз. Уж как я там не убился, не знаю. В конце концов, я оказался на дне небольшой лодки-ялика. Ялик тихо отчалил и поплыл к берегу. Вскоре я увидел, что правит лодкой девушка.

— Вы и есть контрабандистка? — спросил я.

— Так ясно, — отвечала она с мягким южнорусским выговором.

Вот лодка ткнулась в берег. Сзади нас светила полная луна. На воде — штиль. Я не мог не залюбоваться моей милой спутницей в такой романтический час.

— Что за товар? Почём будем брать? — спросил я.

— Товар, шо надо! — контрабандистка вдруг ловко скинула с себя одежду. — Бери, купец! Я, откровенно признаюсь, опешил. И от растерянности не знал, что и сказать.

— Мне так долго сидеть? — спросила, наконец, голая девица.

— Давайте позовём Янко, — предложил я.

— Зачем тебе Янко? Да он и не придёт, — моя спутница стала проявлять признаки беспокойства.

— По книге был Янко, — объяснил я. — Печорин дрался. А потом грёб веслом.

— Ты шо, веслом драться хочешь? — испугалась девушка.

— Не собираюсь я драться. Вы же пока не нападаете.

— А чего со мной делать станешь?

— Вы странного мнения о моих наклонностях, сударыня. Мы культурные люди, — принялся я её успокаивать. — Я сюда приехал с проверкой. Весло для меня очень даже важная вещь. В «Герое нашего времени» оно было сломанным.

— Проверять с другими будешь, — заорала контрабандистка. — На вёсла мы с Митричем не договаривались. Тоже мне, Лермонтов нашёлся.

Она вскочила на ноги и бросилась вон из лодки, забыв про гардероб. А меня оставила в совершеннейшем одиночестве, ничего толком не объяснив. Я ещё подождал контрабандистов и тоже пошёл домой, к Митричу. Там никого не оказалось. Хорошо, что в Тамани двери не запирают. Под утро слышались пьяные крики, это вернулся урядник и с ним несколько человек компании. Гости принялись орать, что есть мочи частушки под гармонию. Я вышел в исподнем и попенял собравшимся на нарушение тишины. Но увидев глядящие на меня перекосенные усатые рожи целого казачьего эскадрона, живо поправился:

— Сам с удовольствием слушаю раздольные таманские частушки. Однако в доме, может случиться, есть дети.

Гогот и пение продолжились до рассвета, пришлось закрыть уши подушкой. Наутро с разбитой головой я вышел на двор. С моря поднялся сильный ветер, город стало подтапливать, и я приказал Тришке, покуда проезжие дороги не залило, поскорее убираться отсюда.

## Клиника Иванова

**П**оездка в Пятигорск у меня с самого первого часу не заладилась. Начать с того, что у коляски моей через три версты, как переехали Терек, отвалилось колесо.

— Трифон, почему стоим? — крикнул я.

— Колесо, барин, отвалилось, — забормотал слуга.

— Ты не увиливай от ответа. А ищи исправить положение.

Но этого прохвоста заставить службу исполнить не так-то легко. Его иной раз с облучка разве что плетью сгонишь. Сидит, плечами пожимает.

— Чем же его исправишь, барин, коли на две части колесо разлетелось?

— Так найди себе помощника.

— Где ж его искать, тут на сто вёрст никого.

Достал он свои иконы, и давай поклоны класть. Мне иной раз кажется, я без него лучше б управлялся лошадыю. Говорю ему:

— Ты когда правишь, так и норовишь в рытвину заехать. Никакой в тебе не заметно внутренней силы. Всё бы мечтать.

Так бы он и молился, а мы бы и поныне стояли на дороге, кабы не заметил я мужиков, что шли мимо. Один перед собой катит что-то большое и круглое.

— Вам колеса для коляски не надобно? — спрашивают. — А то у нас имеется лишнее.

Мужики за скромное вознаграждение с помощью моего Тришки исправили поломку и мы, наконец, двинулись далее.

— Видишь, Трифон, пока ты бездельничал, я мужиков тебе нашёл.

— Благодарствую, барин.

Только благодарности от слуги моего ждать не приходится. Расскажу подробнее. Въехали мы ранним утром в Пятигорск. Я велел Трифону править к центру и отыскивать гостиницу. Тришка на первой же улице нашёл какое-то заведение с колоннами, называемое гостиницей Найтаки. Я вылез и осмотрел гостиницу. И остался найденным недоволен. Устроено всё вычурно, на петербургский манер.

— Пойди, поищи дешевле, здесь берут дорого, — сказал я.

Прошёл я в ресторацию к Найтаки и уселся чай с кренделем пить. Через полчаса весь в поту прибегает Тришка.

— Нашёл, барин.

Поехали. Привёз меня мой Трифон к какой-то развалившейся лачуге без окон.

— Здесь, — говорит, — дешёво. Дешевле только даром.

— Ты куда меня привёз? — стал я ругать его. — Получше ничего не заприметил?

— Заприметил.

— Так вези.

Приехали ко двору генерал-губернатора.

— Куда ж ты меня привёз, разбойник?

— Хорошее место. Как раз для вас.

— Ты на кованую решётку погляди, Трифон. Сюда ни зайти, ни выйти.

— Вы, барин, то получше просите, то подешевле.

— Отвези, — говорю, — чтоб не дорого, не лачуга, и чтоб опрятность. Словом, хорошо.

— Вы бы приказали.

— Так я и приказываю.

И привозит меня мой Трифон опять к тому первому постоялому двору, где мы сегодня утром уже были. Полдня провозил по городу и опять притащил к Найтаки. «Экий болван ты, братец», — подумал я. Но вслух бранить не стал. Всё равно его не переделаешь.

В отличие от Тамани, где население всё — люди добросердечные, жители Пятигорска мне показались холодными и чванливыми. Будто слегка отмороженными холодом трехголового Бештау. Или многочисленные просьбы и вопросы приезжей публи-

ки охладили их. В путешествии всегда так: наперёд никогда не знаешь, где очутишься и с кем.

Я своё пребывание в городе представлял таким образом: найти «водяное общество» и с ним побеседовать. Ежели окажется, что «водяные» Печорина знают и описанное Михайлой Юрьичем подтвердят, вернуться к Максим Максимычу. А коли найдутся расхождения, как с «Таманью», то собрать показания. И, по возвращении, приступить со штабс-капитаном к совместной работе.

Но сколько я ни выспрашивал про Григория Александровича, сколько ни ездил дышать серными испарениями, везде один ответ: «Печорин, Грушницкий, княжна Мери? Таких не знаем». Принялся я обыскивать город. У Екатерининского источника появлялся по три раза на дню, ходил к Николаевским ваннам и на Горячую гору в уединённый приют Дианы. Ломал голову над странными надписями на чугунной доске. Элову Арфу изучил не хуже самого Эола. И даже смотрел из беседки в подзорную трубу на Эльбрус. Но так ничего и не высмотрел. Одно было ясно, Лермонтов напутал даже очевидное и бросающееся в глаз. Гора Бештау напоминает огромную, лежащую на земле шляпу, а вовсе не тёмно-синюю грозовую тучу, как описал её Михайло Юрьевич.

Я, было, совсем отчаялся. Не ожидал, что поездка моя в Пятигорск окажется одним большим Провалом.

Вдруг вижу вывеску на одном замечательном по изяществу постройке здании. Я это здание в первый мой день принял за дом генерал-губернатора из-за красивой решётки. Вывеска такая: «Немецкая клиника Никанора Иванова».

Терять, думаю, нечего. Дай зайду. Внутри мне очень понравилось. Красота, не хуже, чем снаружи, чистота, опрятность. Лепные потолки, кружки с целебной водой. Лечебница, словом. Я как туда вошёл, сразу представился. И ко мне подбежал служащий.

— Мне бы повидать «водяное общество», — говорю.

Меня внимательно слушают, не гонят. Один привратник, похожий на фельдфебеля, отвечает:

— Вам надо бумагу оформить, а иначе вы отсюда не выберетесь.

— Тут что, тюрьма?

— Не тюрьма, но близко. Закрытое лечебное заведение. Мы вам советуем поговорить с главным практикующим врачом нашей больницы доктором Ивановым.

— Отчего же не поговорить? Я готов.

Оформили мне бумагу, позвали доктора.

— Эту бумагу берегите и не теряйте, на выходе покажете. А пока доктора нету, гуляйте. У нас тут внутренний дворик с беседками и тень для прохлады.

Вот гуляю я по внутреннему дворику. Осматриваюсь. Мимо люди ходят, вид у одних безмятежно-радостный, а у других, напротив, беспокойный и даже, я бы сказал, нервный. Я не придавал тогда этому значения. Устроены во дворике небольшие углубления для отдохновения, называемые гротами. Там сидят и разговаривают на лавочках дамы и господа. А иногда служители больницы делают какое-нибудь замечание. От безделья принялся я во все уголки этого дворика заглядывать. Служитель один ко мне подошёл и спрашивает:

— Вы новенький?

А фельдфебель за меня первому отвечает:

— Их ещё не принимали.

И оставили меня в покое. Посмотрел я весь двор, где у них мётлы стоят, где сёдла в кучу свалены. Ну, думаю, теперь надо с кем-то познакомиться. Вижу, направляется в мою сторону молодой человек с усиками, черноволосый и с Георгием в петлице. Только он хотел мне что-то сказать и поклонился, как его тотчас увели. Видно, он какой-то артикул нарушил. А меня завели в комнату главного врача. Комната светлая и скелет во весь рост. Над столом заприметил я лицо знаменитого Пинеля, благодаря которому душевнобольных в Европе более не приколачивают крюками к стенам и не держат в сырых подвалах. Вот входит с поклоном доктор и протягивает руку.

— Никанор Степаныч Иванов.

Внешне Никанора Степаныча описать просто. Великан. То есть, росту громадного и с военной выправкой. Великан стоит по струнке, и взгляд не плавает, а в одну точку. Косая сажень в плечах. Носит Святого Станислава. Орден невоенный, хотя по виду генерал. А ежели внутреннее описывать, то сразу видно, человек в высшем свете и при дворе не чужой. Бывалый солдат другого бывалого в три счёта от новобранца отличит. Так и по Иванову видно — большого полёта птица. Я оробел немного и говорю:

— Очень приятно. Иван Петрович Лановой, Григория Александровича Печорина старый приятель.

— Ах, так, — оживился Иванов. — Этот пациент мне знаком. Проходил у нас курс лечения вплоть до выписки. Только ведь умер Печорин. Грушницкий у нас один остался.

— У вас в больнице Грушницкий? — не поверил я своим ушам.

— У нас. Да вы и сами его только что видели.

— Позвольте, где?

— А во дворике военный с Георгием.

— Который ко мне подходил?

— Да. Он самый. Господина Грушницкого мы скоро выписываем. Он уже пошёл на поправку и выполняет посильные канцелярские поручения. Разнести почту, заполнить ведомости. Поведение, смею заметить, примерное. Общественной опасности более не представляет.

— Он разве не погиб на дуэли? С такой высоты упасть, — от удивления у меня округлились глаза.

— Это вы про книгу Лермонтова говорите? У нас, Иван Петрович, в клинике опытные лекари. Даже тот больной, что в горячке и падает, не расшибается. Погибнуть у нас не дадут. А вы собственно, почему спрашиваете?

— Ну, известно. Михаил Юрьевич многое описал неверно. Вот мы с Максимом Максимычем и засели эту злосчастную книгу переписывать.

— Ах, вот оно что, я сразу и не догадался. Я вас только хочу предупредить, Печорин историю про княжну Мери от начала до конца выдумал.

От сообщенного Ивановым пот выступил у меня на лбу, и вес вид мой указывал на крайнюю степень потрясения. Поэтому доктор попросил вытянуть руки вперёд и с закрытыми глазами пройти комнату из угла в угол. Я это не без труда проделал и снова сел.

— Голова не кружится? — вежливо осведомился доктор.

— Есть немного, — не стал я притворяться.

— Тогда закройте глаза, высуньте язык и пальцами правой руки коснитесь мочки левого уха, а левой рукой — правого.

Я коснулся.

— Откройте глаза. Головокружение?

— Да.

— Книгу с Максим Максимычем давно пишете?

Я задумался.

— Погодите. Всего и не упомнишь. Когда мы в Тамани к контрабандистам поплыли? Не дели уж две тому.

— У-гу. И когда больше хочется писать? Ночью или днём?

— Максим Максимыч пишет ночью, в основном. А я днём написанное перепроверяю.

— И мучает вас это сильно?

— Как вам сказать. Когда и мучает, а больше развлекает.

— Но вас эта мысль не оставляет ни днём, ни ночью. Правильно я понял?

— Да.

— Ясненько.

Никанор Степаныч что-то пробормотал неразборчивое. Вроде «Idee fixe».

— Что вы говорите?

— Я говорю, далеко вы с Максим Максимычем продвинулись?

— Первая тетрадка написана, — гордо сказал я. — Тридцать целковых мне стоила. Могу вам её показать.

— Пока не надо.

Строгий Никанор Степаныч прошёлся по кабинету.

— Видите ли, дорогой Иван Петрович, — сказал мне доктор после некоторой паузы, — ваше заболевание пока неопасное. А клиника, несмотря на все наши усилия, всё равно очень дорогая. Разумеется, если ваши родственники или Максим Максимыч возьмут на себя определённые расходы, я готов обсудить детали.

— Что вы, что вы, — замахал я руками на Никанора Степаныча. — Не надо ничего. Вы мне про Печорина расскажите и всё. Я сразу уеду.

Доктор Иванов посмотрел на меня с улыбкой.

— Хорошо. Помочь вам медицински не можем, а своими сочинениями вы окружающим, пожалуй, не навредите. Врачебной тайны я не нарушу. Печорин ведь мёртв. Как говорится, *les absents ont toujours fort, les morts ont toujours tort*. Спрашивайте, я отвечу.

— Что он был за человек, Григорий Александрович Печорин?

— Он был похож на скверного избалованного мальчишку, обидчив. Болезнь его проявлялась в трёх состояниях. В первом он был активен, вспыльчив, часто галлюцинировал. Не отдавал отчёта в собственных поступках. Во втором состоянии активность сменялась пассивностью. Больной неделями лежал на кровати, отказывался принимать пищу. Не воспринимал окружающие раздражители, как-то: дневной свет, смена тепла и холода...

— И третье?

— И третье. В этом состоянии он выдумывал себе иной мир. Жил в нём, будто в своём имении. Творил суд, расправу, дрался на дуэли, врывался в неприятельский окоп, стреляя из всех пистолетов. Короче говоря, сочинительствова. И, в конце концов, очутился у нас.

— Он был по этому делу? — показал я указательным пальцем себе на воротник.

— Нет, что вы.

— За что же тогда его к вам? — не понял я. — За лежание на диване и сочинительство?

— За клевету, милостивый государь. Печорин хотел город наш ославить, да княжну Мери опорочить. И несколько уважаемых семейств нашего Пятигорска просили меня за-

брать его к себе в клинику. И заплатили, прошу заметить, на год вперёд. Он и меня вон как отделал. Вы немца Иванова из книжки помните? Так это я! Ходит господин Печорин по городу и распространяет слухи, что, дескать, он хорошо знаком с одним Ивановым, который хоть и Иванов, а чистокровный немец. Лермонтов эту галиматью потом печатает, не утруждая себя проверками...

— Ну что в том плохого, что он вас немцем выставил? — пожал я плечами.

— Как что? Народ у нас, сами знаете. «Никанор Степанович! Мы всегда подозревали, что вы не русский. Не стесняйтесь, чего уж, иноверец он тоже человек!» Пришлось вывеску на воротах менять. Теперь мы немецкая клиника! А у меня, между прочим, огромная больница. Пациенты даже из Американских Соединённых Штатов. Им тоже небезразлично.

— Простите, любезный Никанор Степанович, однако ж отправлять человека в больницу только за то, что он выдумывает и шутит, жестоко.

— Иван Петрович, — приблизил ко мне своё лицо доктор и сделался из доброго холодным и расчётливым, — надобно знать разницу между выдумкой и невыдумкой. Получить пулю во сне и наяву, согласитесь, не одно и то же. Всем Печорин приносил несчастья и страдания, а во всех его бедах виноваты бывали другие. Вот и результат, хотели испытать власть свою над людьми, а оказались сами шутники за решёткою.

— Кто же эти шутники?

— Печорин с приятелем своим, Грушницким. Вы же понимаете, что ни князь, да и никто другой подобного позора терпеть не станут.

От сказанного голова моя ещё больше пошла кругом. Наконец я осмелился задать вопрос:

— И Григорий Александрович выздоровел, когда вы его отсюда выпустили? Ведь Грушницкий поправляется.

Доктор странно ухмыльнулся и обернулся на портрет Пинеля в парике.

— Клиника Иванова не лечит больных, она избавляет от них здоровых.

## Груша

**К**огда я покинул кабинет Иванова, то первым моим желанием было поскорее броситься сломя голову к дверям, предъявить бумагу и выскочить из этого страшного заведения, как пробка из бутылки.

Так бы на моём месте поступил любой нормальный человек. Но я подумал: «Если я сейчас до конца во всём не разберусь, удеру отсюда, то грош цена моему расследованию. Быть в двух шагах от Грушницкого и не поговорить с ним! А что скажет Максим Максимыч? Чем, скажет, вы лучше Лермонтова? Такой же прапорщик».

И я решил, что постараюсь. С тяжёлыми мыслями зашёл я в одну беседку и стал размышлять, как бы лучше вызвать на разговор Грушницкого. Ведь за ним тут следят, и ни с кем разговаривать не позволяют. И через некоторое время у меня появилась спасительная идея. Я подошёл к дверям и попросил сидящего там фельдфебеля дать мне перо и бумагу.

— Писчие принадлежности не полагаются, — ответил тот строго.

Тогда я достал своё разрешение на выход и предъявил его.

— Я здесь лицо постороннее и сейчас уйду. А мне надобно написать доктору Иванову несколько строк.

Мне поверили и с неохотой выдали то, о чём я просил. И я быстренько начеркал две писульки. Одну для Грушницкого:

«Дорогой друг, мне нужно поговорить с Вами о Печорине. Зайдите незаметно в комнату, где свалены сёдла. И.Л.»

Вторую бумагу я писал для отвода глаз. Там в пышных выражениях я благодарил Ивана за оказанную мне честь познакомиться с его лечебницей.

Потом я пыльное послание убрал в карман сюртука, а маленькую писульку сложил вчетверо. Приблизился к Грушницкому и, пока его соглядатаи наводили порядок в другом конце залы, просунул сложенную записку тому в ладонь.

Сам я потихоньку отошёл и, отворив дверцу каморки, пролез в полутёмное помещенье. Устроился в самом углу на седле и принялся ждать.

Слышу, дверь скрипнула, входит кто-то.

— Это вы И.Л.? — спрашивает Грушницкий шёпотом.

— Я здесь.

— Ловко вы придумали.

— Заходите. Кажется тут мы в безопасности.

Грушницкий приблизился, и мы с ним познакомились.

— Меня зовут Иваном Петровичем Лановым. Можете мне доверять. Расскажите мне всё как есть, а я постараюсь вызволить вас отсюда.

— Можно ли вам доверять? — прошептал Грушницкий.

Видно было по всему, его тут здорово запугали.

— Можете мне и не доверять. Хуже вам не сделают. Хуже, похоже, и некуда.

Слово за слово мы разговорились. Вот печальная история, которую мне пришлось выслушать.

— Мы с Печориным в полку были друзья не разлей вода. Всё вместе. «Гриша и Груша». Нас так называли. Григорий Александрович мастак был всякие шутки да розыгрыши устраивать. То тревогу объявит. Неприятель идёт! Перехвачено письмо английского министра! Все бегут, готовятся выступить. А потом оказывается тревога ложная. Это письмо Григорий Александрович сам сочинил. Ну, в армии особенно не пошутить. За такую тревогу под арест посадят на хлеб и воду, через месяц охота шутить пройдёт. А в Пятигорск мы в отпуск поехали, тут жизнь совсем другая, чем на Линии. Вот выдумал он новую проказу.

«Давай, Груша, княжну местную разыграем. Мери её зовут». — «Это как?» — спрашиваю. «А так. Будем герои-любовники. Вроде ты по ней сохнешь и я. И даже из-за неё стреляться станем». — «Так не поверит никто. Эта Мери, что наш полковой жеребец из оружейной запряжки, в дверь не пролазит». — «Потому я и выбрал её» «А стреляться станем, так из-за этой кобылы убьёмся же?». — «Нет. Пистолеты без пуль, незаряженные будут, или, того лучше, в воздух палить станем».

Стали мы любовь разыгрывать. Вечером обговариваем, что да как, а днём страсти играем. Да к тому ещё ночами Печорин к Максиму Максимычу ходит. Старый олух всю эту комедию для достоверности в тетрадь записывает. Он и взаправду думает, будто дневник ведёт. Умора.

Только вот княжна эта шуток не понимала, поверила. Стали мы стреляться. Дыму напустили, я со скалы натурально свалился. Чуть руку не поломал. А когда Гриша к ней поехал объясняться, что мол, играли пьесу для поддержания жизненного тонуса, с ней припадок сделался. Заболела она сильно и через месяц умерла. Пылкая была сильно. Родители её



траур по всему городу объявили. А нас с Григорием Александровичем сперва под арест, а потом сюда, под замок.

— Как же вы могли так с несчастной княжной обойтись? — невольно воскликнул я.

— А сейчас время такое. Весёлое, — пожал плечами Грушницкий.

— Но Григорий Александрович уже вышел из клиники? — снова перешёл я на шёпот.

— Он бежал. Уж не знаю. Может, бумагу выходную где раздобыл, переоделся в дамский наряд. Или ещё как. Ловок очень. Упорхнул.

Мне предстояло сообщить Грушницкому печальное известие.

— Мужайтесь. Ваш бедный товарищ Печорин умер в Персии.

— Как умер? — не поверил Грушницкий.

— Отравился грушами. Царствие Небесное.

Мы встали. Минуту Грушницкий молчал. Потом сказал странную фразу:

— Вот негодяй.

— Я понимаю, ваше горе трудно выразить словами.

— Да я не про Печорина, а про Иванова. Ведь это он его отравил.

Тут пришёл мой черёд удивляться.

— Отравил? Доктор?

— Форменно. Когда Гришка сбежал, заходит ко мне в комнату Иванов и объявляет: «Не желаете на прощанье вашему другу подарок сделать? Прислать Грише от Груши ящик груш».

Я, ничего не подозревая, написал Гришке письмо. Мол, кушай на здоровье. Авось, и меня когда выпустят, ежели не уйду отсюда по-иному. И каламбур засадил в конец:

Когда б наш Груша

Не слушал Гришу.

Сейчас бы с Гришей

Тех груш откушал.

— Замечательно, — громко закричал я, вовсе забыв об осторожности.

— Н-да, замечательно. Выходит, Иванов в мою посылку яду всыпал. Вот змей!

Разговор с Грушницким вдруг оборвался сам собою. Снаружи послышались шаги и чей-то голос произнёс:

— Есть тут кто? Ну, вылезай!

Грушницкий двинулся из темноты на свет, его схватили и принялись отчитывать. А меня так и не заметили. Спустя некоторое время я тоже выбрался из каморки, отряхнулся и пошёл к дверям клиники. На выходе отдал благодарственное письмо и раскланялся.

Пропустили меня на улицу без лишних расспросов. Выйдя от Иванова, я что есть мочи поспешил на постоялый двор, где оставил Тришку. Стоял уж вечер.

— Запрягай быстрее, — крикнул я слуге.

Тот, как водится, завёл на меня свою сонную физиономию. И никак не мог попасть в рукав своего кафтана.

— Беда приключилась, барин?

— Закладывай, и едем немедля. Что ты там путаешься?

Я так спешил назад к Максиму Максимычу, чтобы рассказать о встрече с доктором, что чуть не забыл расплатиться за ночлег. Если б не Тришка и не его искусство быстрой езды по городским улицам, нас растерзали бы хозяин гостиницы и его подручные. А так мы пронеслись по Пятигорску что есть мочи и не оставили этим чопорным и холодным

людям, не любящим приезжих, ни малейшей надежды получить назад свои денежки. Поделом.

Едва отъехали от Пятигорска, Тришка пустил лошадь шагом и затынул дурным голосом одну из своих нескончаемых песен. Я ему попенял на то.

— Мог бы ты не петь, братец. И так еле вырвались из проклятого места.

— Извиняйте, барин, не буду.

Возница мой замолк и насупился.

— Право, не хотел тебя обижать, — сказал я примирительно.

Я считаю, как доброму мужу надобно быть образцом верной и послушной жене, так и в отношении слуг, господин должен являть челяди пример воспитанности и добронравия.

И для поднятия духа спросил:

— Что ж это за песня, Тришка? Услыхал ты её где, али с детства знаешь?

— Сам сочинил, барин.

— Как же ты песни выдумываешь?

— Душа просит, я и пою.

— Так мы с тобою, выходит, оба сочинители.

— Выходит так.

— Отчего же сочиняет человек, есть у тебя на этот счёт разумение? Ведь вот живут люди, и за всю жизнь ни единой строки не произвели. А другие не могут без того, чтоб не сочинить.

— Значит, чего-то не хватает, — отвечает мой Тришка.

— Чего ж тебе, к примеру, не хватает? — засмеялся я. — Жалованья?

— Нет, не жалованья, барин.

— А чего.

— И сам не пойму.

— А ты поразмысли, чего тебе недостает, когда шибко петь охота.

Чесал мой Тришка затылок и так, и эдак. Потом поворачивается с облучка.

— Догадался, чего не хватает!

— Ну!

— Ласковости, барин!

Хоть и слуга, и логика у него мужицкая, а живой человек.

## Фаталист

**Н**а обратной дороге я намеревался заехать в Тамань. Но дорога туда — лишняя крюк. Мы понеслись напрямик к нашему штабс-капитану. Измученные быстрой скачкой подъехали мы к скрытому за деревьями брошенному селению. Вдруг Тришка мой, непонятно как, заметил, что и здесь люди живут. Въехали в полуразвалившиеся кирпичные ворота.

Навстречу к нам вышел человек, скрывавший лицо своё за тёмным покрывалом. Чёрную рясу он имел монаха. А голова и лицо замотаны, будто чадрую. Я удивился виду его, приняв сперва за беглого разбойника, но человек пояснил:

— Нас тут в монастыре двое монахов. Мне положено на лице повязку носить, так что не пугайтесь. Решили мы монастырь заброшенный восстановить. Я отец Анастасий. Помощник мой сейчас уехал. Сегодня один я остался.

— Выходит вы наместник?

— Выходит.

Таинственный наместник указал Тришке, куда лучше поставить лошадь, не отрывая платка от лица своего.

— Хорошо, что заехали. Давненько никого Господь не посылал.

— Мы издали, из Пятигорска.

И я рассказал игумену, куда мы едем, и что времени у нас очень мало.

— А, ну ежели на ночлег и сил набраться, то ко мне, — обрадовался священник. — Гостям я всегда рад.

Отец Анастасий принялся устраивать нас на ночлег и готовить нам скудную свою пищу. Потом говорит:

— Мне пора на молитву в храм. Вечером поговорим.

И ушёл.

Тришка всему дивился, будто дитя малое, и следом за Анастасием побежал, я же принялся осматривать монастырь. Вид у построек был довольно запущенный. И там и сям валялись садовые инструменты, грядки стояли покрытые сорняком, дорожки неухоженные и кривые, ограды покосившиеся. Но в сумерках многого не рассмотришь. Вскоре я вернулся назад. Осмотрел келью. Нашёл в ней множество неожиданных предметов и стебли незнакомой травы, похожей на хвощи. На полке аккуратно рядом лежали ордена, сабля и странная фуражка с дыркой прямёхонько посередке. Я не обратил никакого внимания на дырявую фуражку, лёг на тюк и уснул. Проснулся от того, что кто-то рядом возился. Я открыл глаза и увидел человека со свечой, сидящего за столом в комнате, и перебирающим какие-то скляночки. Не успел я продрать глаза, а человек уже вскочил на ноги.

— Ох, я вас разбудил, простите ради Бога, — услышал я шёпот.

Отец Анастасий отпрыгнул от стола в сторону, набросил платок себе на лицо и зашептал что-то одними губами.

— Нет-нет, — ответил я, — не беспокойтесь, я уже хорошо выспался. И спать более не хочу.

— Ну, слава Богу.

— Как же вы тут живёте? — спросил я, размышляя, уж не болен ли монах какой нехорошей болезнью, раз ему положили всегда рот под покрывалом держать или, может, епитимья на него наложена, ежели он болтлив не в меру.

— По-разному живём.

— Скучно и тяжело приходится? — заметил я.

— Монахи идут к другой цели, нежели миряне, — ответил отец Анастасий. — Цель жизни у монаха не земная. У обычных людей, как вот у вас, цель жизни на земле и до смерти. А у верующих цель — после смерти. В этом есть отличие верующих от неверующих.

— Как у вас всё чётко определено, отец Анастасий, хорошо вам. Большинство людей цель жизни не могут точно определить.

— Да, — кивнул отец игумен. — Земной человек на земле всегда в недоумении. Такое у него определено пребывание. Удивление и недоумение.

Я встал и посмотрел, чем занят отец Анастасий. Оказалось, на столе среди склянок и

всяких кусочков разноцветной глины лежали разложенные аккуратно кисти. При тусклом свете свечи монах писал икону.

— Красиво, — указал я на образок.

— Тут вот небо бесконечное, — пояснил Анастасий.

— Что такое небо бесконечное? Я вижу синий фон и звёзды на нём.

— Люди меня тоже иногда спрашивают о бесконечном. О бесконечных звёздах и солнце. Только мало кто спрашивал о жизни бесконечной. А небо — символ жизни бесконечной. Если цель бесконечная, выходит, и символ цели — бесконечность.

Примерно так мы разговаривали с Анастасием половину ночи до самого утра. Отец Игумен пояснял, что за слои краски идут на иконе, что левкас лучше шлифовать хвощом, и почему не всякая икона у иконописца выходит.

Под утро, когда настало мне время уезжать, сказал я без задней мысли:

— Спасибо вам, отец Анастасий, за тепло, уют и ласковую беседу. Ждёт нас Максим Максимыч с отчётом про Печорина.

Монах вдруг разволновался и спрашивает.

— Как вы сказали, отчёт про Печорина?

— Ну, да, — отвечаю. — Есть у меня знакомый штабс-капитан. Мы с ним вместе одну книжку исправляем. «Героя нашего времени».

Тут отец игумен впал в ещё большее волнение. Платок у него из рук упорхнул. И лицо Анастасия на меня уставилось. Только лицо это было нечеловечье. Оно было рассечено пополам и склеено заново, да так страшно, что я потерял от неожиданности дар речи, а через минуту лишился чувств.

Когда я пришёл в себя, отец Анастасий хлопотал вокруг. На лицо его безобразное и отвратительное снова был накинута чёрный платок.

— Извините вы меня ради Христа, — запричитал монах. — Я знаю, люди меня пугаются. Поэтому и ушёл в глухомань и ношу всегда на лице покрывало сие.

Я простонал что-то в ответ. Игумен же продолжал говорить.

— Так разволновался, потому что Печорин мне не чужой был. Ведь игумен Анастасий и есть тот самый Вулич из книги. Григорий Александрович пишет, будто убил его пьяный насмерть. А на самом деле, ранил только. Я когда от раны вылечиваться стал и «Фаталиста» печоринского прочёл, так неделю плакал над судьбой своей. Никто так души моей не понял, как Григорий Александрович.

Тут бы упасть мне во второй раз без чувств на холодный пол от слов монаха, но, к счастью, я уже лежал на полу.

Игумен побежал куда-то и вернулся с затёртой книгой. Открыл её и принялся зачитывать мне вслух:

Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные пронзительные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его, — все это будто согласовалось для того, чтоб придать ему вид существа особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи. Он был храбр, говорил мало, но резко; никому не поверял своих душевных и семейных тайн; вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, — которых прелесть трудно достигнуть, не выдав их, он никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была равнодушна к его выразительным

глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали. Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре...

— Вы Вулич? — только и мог промычать я.

— Он самый, — Анастасий резко оторвал глаза от книги. — Правда, хорошо написано? С хорошею вещью приятно иметь дело с любого места. Впрочем, это относится в равной степени и к людям.

— Не могу не согласиться с вашим замечанием, — подтвердил я.

— Видите ли, Печорин имел способность проникнуть в суть человека. Вся загвоздка в слове «страсть». Страсть увлекает человека, не способного силою собственного характера натуру взять под уздцы. Бесстрастный и бесстрашный я только снаружи был. И упования на Бога не имел. А в самом деле — пропащая душа. Таких жизнь швыряет направо и налево. Ежели разобраться, кто такой фаталист? Фаталист — человек страстей, плывущий по ним. Фаталистом Печорин не себя, а меня называет. Ну, и себя тоже. Даром, что Григорий Александрович в церковь не ходил, а книгой глаза мне открыл. Слава Богу, вразумление я получил. После ранения сюда ушёл и с тех пор Вулич сделался Анастасием, что означает «воскресший».

Так и последняя глава записок Печорина стала для меня на своё место. Вот что случается, если начать публиковать книги, не проверив содержания заранее.

С восходом солнца мы с Тришкой выехали от воскресшего Вулича, ставшего монахом. Игумен с повязкой, закрывавшей его обезображенное лицо, проводил нас к воротам. Он благословил меня и Трифона на дорогу, и мы тронулись дальше.

На четвёртый день приблизились мы, наконец, к тому месту, с которого начиналось наше удивительное путешествие.

Я уже смаковал подробности рассказа и то, какие глаза станет делать Максим Максимыч, слушая мою повесть.

Каково же было моё разочарование, когда следов штабс-капитана мы с Тришкой не смогли сыскать ни на Большом Барсуке, ни на Малом.

— Куда он мог подеваться, Трифон? — спрашивал я. — Правильно ли ты выбирал дорогу? Сверялся ли с картою?

Тришка по обыкновению своему делал глупое лицо и молчал.

Я уже собрался воротить оглобли, как вдруг нам повстречался казак, едущий шагом на гнедой кобыле.

— Не видал ты Максим Максимыча? — закричал я, привстав с коляски.

— Так его уж три дня как нету, — крикнул в ответ казак, приподымая папаху.

— Где ж он, братец? — соскочил я вниз и бросился к казаку.

— А вы не знаете?

— Раз спрашиваю, стало быть, не знаю.

— Он в Петербург поехал. Книгу издавать.

— Один, без меня?

— Зачем один? Ведь Григорий Александрович Печорин из Персии вернулись. Они, знамо, вдвоём поехали.

— Что ты городишь? — вскричал я. — Печорин мёртв! Он отравился грушами!

— Ну, не знаю, — пожал плечами казак. — Вы барин, вам виднее. А только я с Григорием Александровичем перед его отбытием в Петербург, будто вот с вами сейчас, разговаривал.

— Как же так? — вскричал я.

— Грушами взаправду, говорит, отравился, чего они туда подложили, черти? Несло, говорит, хлеще, чем у нас с Барсуков в грозу. А потом ничего. Даже пондравилось. Ентими грушами и завтракал, и обедал, и вечером с собой для желудка брал.

И, словно желая насмеяться надо мною, казак достал одну из кармана и протянул мне.

— Угощайтесь, ваше благородие. Я уж поел. Григорий Александрович из Персии целый ящик с собой привёз. Последняя осталась.

— Спасибо. Я сыт уже. А не сказывали тебе, братец, чего это он вдруг надумал вернуться?

— Сказывал. Говорит, страна Персия ихняя богатая, а народец никудашный, и прохвостов там не менее, чем у нас. Но таких, как у нас, говорит, нигде нету.

Повернулся я к Тришке:

— Придётся и нам возвращаться, Трифон, делать нечего.

А тот уже грушу в рот себе запихал и стоит, улыбается ехидно, глупая башка, будто что смыслит.

— Выплюнь, — ему говорю, — коли она отравленная, кто меня повезёт?

Франкфурт 2012

---

---



**ПОВЕСТЬ**  
**«Полночь во льдах»**  
**Александра КИРОВА**

Действие повести происходит  
во время **ВОВ**  
в санатории  
для детей, страдающих  
**КОСТНЫМ** туберкулезом.  
Главный **герой...**

ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG

## Алена БАБАНСКАЯ



*Один из самых близких мне современных поэтов.*

*Человек исключительной душевной тонкости — явление нечастое, но если такой человек наделен даром выразить свои чувства в безупречных по форме стихах, он — уникален.*

*Родилась под Москвой, в Кашире, стихи писала с третьего класса, избрала профессию филолога, но после окончания университета отошла от поэзии на двенадцать лет.*

*Вновь начала писать стихи в 2003 году. Издала две книги. Живет в Москве с сыном и кошкой Пушоней, работает в банковском журнале.*

*Никогда не была в Америке, но, наделенная, как и каждый большой поэт, способностью видеть нефизическим зрением, поняла суть нашего города лучше многих, проживших в Чикаго всю жизнь. Вот дарственная надпись на моем экземпляре книги Алены:*

*меняй, чикаго, плюс на минус,  
торгуй, чикаго, блюз навывнос,  
стони, визжи, как баба в родах,  
как демон в мичиганских водах,  
хрипи в метро луженой глоткой,  
искри оборванной проводкой,  
чади, крути лассо тайфуна,  
по крышам ударяй, по струнам,  
огни в ночи рассыпь попкорном,  
и захлебнись вокалом черным.*

### Ночь

Какая ночь над нами вздыблена,  
Что ни одной по небу звездочки.  
Лишь только тьмы немая рыба  
Перемывает свету косточки.  
И все ее движенья выпрени,  
Ты для нее кусочек лакомый,  
И никого она не выплюнет:  
Ни червячка, ни крошки маковой.

## Блюдечко (молитва)

Слепи меня из теплой глины,  
Оттенка меда и кармина.  
Вдохни в меня простор долины.  
Несытый взор вложи совиный,  
Как острый меч влагают в ножны.  
Ты знаешь, мы с тобой похожи...  
Раскинь мне небосвод под кожей,  
Свяжи с водою пуповиной.

Растут кристаллы, тают льдины,  
Ползет в пустыне царь змеиный,  
Пылает куст неопалимый,  
Но нет ни света, ни покоя.  
Когда же я вернусь с повинной,  
Пройдя сквозь зеркало сухое,  
Дай смерть мне легкою рукою,  
Как в детстве блюдечко с малиной.

## Иероним

Ну, здравствуй, Босх Иероним,  
Кого сегодня полоним?  
Поймаем осень за грудки,  
За паровозные гудки.  
Ее избыточный колор  
И стадо красное коров,  
Солому желтую в валках,  
Синицу мертвую в руках,  
Лесную царственную лень  
В короне солнца набекрень.

Ну, здравствуй, Босх Иероним,  
Кого сегодня поманим?  
Кухарку в фартуке до пят,  
Торговок, грузчиков, солдат,  
Мальцов, играющих в лапту?  
Я, завтра, может, к ним уйду,  
В пейзаж, исполненный холмов,  
Блестящих шпилей и домов,  
Где слышится за десять верст  
Как дождь слепой идет на холст.  
Где сводят медленно с ума  
И светотень. И полутьма.



## Ретроград многоцветный

Сер небосклон,  
мокрую вздыбил холку.  
А Симеон,  
ну щебетать и щелкать,  
грудь раздувать,  
лить золотые трели.  
Что синева,  
если ее не спели?  
Скрипнет перо,  
Вздогнет рука над ятем.  
пишешь хитро,  
коли умен и знатен.  
Счастье ль, беда  
или разверзлись хляби —  
поступь тверда  
трудных твоих силлабик.  
Что Вертоград —  
мир неказист и скучен.  
Царственных чад  
русским глаголом мучим.  
Взялся — не плачь,  
но ничего о личном.  
Тертый калач,  
свитый ключом скрипичным.

## Вдогонку за...

Ушел Симеон, как уж.  
Глаголили, неуклюж,  
А он, погляди, проворен,  
Сбежал невредим на волю.  
Ни аза, ни буки-вед,  
А только дымящий след,  
Минута — и тот (пр)остынет,  
Как тусклая медь латыни.  
Ушел Симеон, как уж,  
А был благолепный муж,  
Служил исправленью нравов,  
И пастве своей лукавой.  
Был вирши писать горазд,  
Не спился, не впал в маразм,  
А стал, как песок текучий,  
Ты, Боже, его не мучай...

## Правильные пчелы

Есть звук во флейте полой,  
Есть ядра — изумруд.  
Есть правильные пчелы,  
От их укусов мрут.  
Опилки есть под плюшем.  
И нежная душа,  
Но нечего покушать  
И денег ни шиша.  
Есть друг — свинья и нытик,  
Есть шарик. То есть, был.  
Эй, пчелы, уходите!  
Я слышу шорох крыл.  
Сейчас такая мода —  
Медведи не в чести.  
А мне б немного меда,  
Да ноги унести.  
Пускай господь оставил,  
Одно я понял днесь:  
Есть только мед без правил,  
Сладчайший мед без правил,  
Пока не вышел весь.

## Нелетальные ангелы

Ангелы поднебесные,  
Мокрые, точно курицы,  
Будет и вам, болезные,  
Праздник на нашей улице.  
Будет вам поп с гармоникой  
Раны души залечивать.  
И на комоде слоники,  
И танцевать до вечера.  
Что ж вы забились в панике,  
Перья взъерошив белые?  
Сладких достанет пряников —  
Столько замесов делали!  
Дров пять кубов наломано,  
Сотни бойцов положены...  
Будет салют в Коломенском,  
Бабы и цирк с мороженым.  
Будем мы, дурни, истово,  
Кто как горазд, отплясывать,  
Горний мотив насвистывать,  
Ангелов вверх подбрасывать.

## Октябрь

Серым волком по лесу рыскай,  
На забрале кукуй зегзицей.  
Что ни сделаешь — небо низко,  
День бесцветный, холодный длится.  
Растекайся по древу мысью,  
Расплескайся в собачьем лае.  
Осень прячет ухмылку лисью,  
Почерневшей листвой сгорает.  
Что ни сделаешь — выйдет боком,  
Как иконы мрачны дубравы.  
Истекает последним соком  
Виноград на стене кровавый.

## Никодим

Темнеет, и ты никуда не ходи.  
Там нож на тебя наточил Никодим.  
Он спрятан в овине меж сваленных кож —  
Ни в чем не повинный заточенный нож.  
Заблеяли овцы, от страха дрожа.  
Уйдешь со двора — не уйдешь от ножа.  
Ведь даже у тучи над нашим селом  
Стальная заточка под левым ребром.

\* \* \*

От каменной бабы степной начинается зной.  
Глаза ее — ястреб, лодыжки ее — перегной.  
Скудны ее груди, а в косах полова и сныть.  
Обет ее труден: рожать, подымать, хоронить.  
Ах, сколько вас бродит, и каждый могуч и горазд,  
У каменных бедер, вселяя вселенский оргазм,  
Ах, сколько вас сгинет, батыров, народов, племен,  
На плоской равнине. Ведь сердце ее — скорпион.  
Не ведай, что будет, кровавых даров не жалеи,  
Скудны ее груди, дыханье ее суховей.

## Кохе

*«Синдром навязчивых состояний:  
вы не можете пройти мимо кошки, не погладив ее».*

*«Острый галлюцинаторный психоз:  
вы говорите с несуществующей кошкой».*

Не могу не гладить коху,  
Коль она проходит мимо.  
Может, этой кохе плохо,  
Даже, если коха — мнима?  
Как не гладить кошки пестрой,  
Не давать белковой пищи?  
Мы ведь с нею точно — сестры,  
Обе глупы, обе нищи,  
От ничтожной ласки млея,  
Верим слову, верим в сказку.  
Привяжу ей бант на шею,  
А себе прилажу каску.



## Леонид ЗОРИН



Леонид Генрихович Зорин — известный русский писатель, драматург и сценарист. Родился в 1924 году в Баку, начал писать стихи еще ребенком. Впервые напечатался в десятилетнем возрасте. Окончил Азербайджанский университет имени Кирова и московский Литературный институт имени Горького. С 1948 года живет в Москве. В 17 с половиной лет был принят в Союз писателей СССР.

Первая пьеса Зорина была поставлена в Малом театре в 1949 году. Он автор пятидесяти пьес, пятнадцати киносценариев (в том числе «Покровские ворота», «Мир входящему», «Закон», «Царская невеста», «Гроссмейстер») и десяти томов прозы.

Работал со многими знаменитыми режиссерами (Э. Рязановым, А.Аловым и В. Наумовым, В. Мельниковым, С. Микалэяном, М. Козаковым).

В этом номере мы публикуем главу из мемуарного романа Леонида Зорина «Авансцена. Записки драматурга».

# АВАНСЦЕНА

## глава из мемуарного романа

### Глава 1

#### Начало в Баку

Однажды под вечер, с полгода назад, жена сказала мне между делом:

— Я нынче нашла твой старый портретик. В матроске... кудрявенький... Тебе там пять лет. Или чуть больше... Припоминаешь?

— Помню, конечно. Да, близко к пяти. Не то чуть больше, не то чуть меньше.

Я помнил не только тот давний снимок, помнил отчетливо и тот день, когда меня повели сниматься. С утра готовились к этой акции — мать тщательно расчесала кудряшки, надела новенькую матроску, отец подтянул мои длинные брючки, выглядевшие на малыше забавно, — все трое отправились в фотографию.

С пыльной Бондарной, где мы жили, где стоял двухэтажный дом с подворотней, заставленной мусорными ящиками, с узким двориком, в который смотрели галереи и окна соседних домов, мы вышли на Армянскую улицу. Она вела к центру и почему-то казалась невероятно широкой, возможно потому, что Татарская, которая вилась параллельно, была приблизительно вдвое уже.

Рядом с нами, не обгоняя нас, но ни на метр не отставая, шагал высокий азербайджанец с худым, заросшим щетиной лицом. Прошел сначала один квартал, потом еще и второй, и третий и только тогда остановился и выпалил, цокая языком: «Хороший мальчик! Пусть долго живет!»

Солнце ужу набрало силу, когда мы шли через круглый садик со странным именем «Парапет», скамьи сияли и пламенели, даже в тени, под густой листвой, нас доставал полуденный жар. Дошли до Ольгинской — в самом начале, на пересечении с Кривой, располагалось ателье, которое слыло лучшим в городе. И мы вошли в него, точно в грот — было темно, прохладно и тихо.

Фотограф, сердитый маленький грек, лысый, усатый, с крупным носом, мрачно усадил меня в кресло и приказал не шевелиться. Не самое легкое испытание.

Потом, когда экзекуция кончилась и все трое мы вновь вышли на улицу, где буйствовало желтое солнце, я спросил, почему фотограф так злится.

Отец ответил:

— Он знает дело.

Потом добавил:

— И дорожит своим именем.

Фотография в самом деле занятная. Сколько минуло лет? Не стоит подсчитывать.

«...И снится: Еще не скрипит поясница. И мнится: я молод И гибок, как хлыст. И дух мой не смолот, И боль не теснится, И мой — этот город, А я — футболист. Все это — невидимого экрана волшебная оптика. Давний апрель. Как терпко и пряно! Так дышит моряна. Провинция. Каспий. Моя колыбель. И так еще рано. Начало пролога. И так уже поздно. Уже не кино. Но небо так звездно. И я — у порога. И все несерьезно. Но все решено».

Вряд ли я снова увижу Баку. Но в этих стихах — чистая правда: «И мой — этот город». Мой — этот город. Почти столетия мы в разлуке, но чувство родства неистребимо. Стоит увидеть на телеэкране ежевечернюю метеосводку и в ней среди череды городов восточку о бакинской погоде, сердце непроизвольно сжимается — как в жаркую кисельную массу входишь в каленый кавказский воздух, снова, изнемогая от зноя, грузно ползут горбатые улицы — с нагорья, мимо горластых дворов — к прогретому до донышка морю, коричневой мазутной волне.

Как упоительна эта музыка пестрой разноязычной речи! Слова непохожи, но интонация, но этот апшеронский акцент с его протяженными низкими нотами словно творит единый язык — для русских, азербайджанцев, армян, для европейских и горских евреев, для греков, лезгин, персов и турок. Кто только не живет в этом улье!

Помню и одного итальянца. Звали его Габриэль Корнелли. Он, впрочем, давно уже обрусел. Но во внешности его сохранилась романо-тосканская истома. Пожалуй, он был хорош собою, мешало лишь ощущение женственности, не слишком естественной в мужчине, в особенности в этом пылком городе, где мужественность была главным достоинством. Жил он неизменно один.

Он был образованным человеком с библиотекой из раритетов. Был у него свой круг общения — большею частью увядшие дамы с претензией на интеллигентность. Раз в неделю у него собирались, и он читал им свои новеллы, по их словам — чрезвычайно изысканные.

Меланхолическая ностальгия — чувство, по сути, оптимистическое, она окрашивает минувшее в самые розовые тона. Мне вспоминать о Корнелли приятно, хотя при встречах он вызывал какую-то безотчетную жалость, малопонятную в подростке, — может быть,

своей рафинированностью, неуместной в этом плебейском кругу. Скорее всего — своим одиночеством и ясно читавшейся беззащитностью.

И что-то я угадал, к несчастью. Однажды я встретил его — без ноги. Потом началась война — он исчез. Должно быть, его происхождение сыграло с ним жестокую шутку. Только и оставалось подумать о странной прихоти обстоятельств, занесших когда-то его родителей в чужую жизнь, в которой Корнелли был обречен с первого дня.

Понятно, что тридцатые годы прошли по бесшабашному югу (хотя он, казалось, был так далек от жизнеопасной кремлевской стужи) тем же кровавым скребком, что по Северу, но я был не умнее ровесников — имя сибирского пионера, выдавшего отца властям, было почти сакральным именем, вчерашние вожди и святые легко превращались в предателей родины. Может быть, лишь крутой поворот в судьбе одноклассников и товарищей, их неожиданное сиротство невольно заставляли задумываться, вдруг возникал холодок сомнения. Но отрезвление было недолгим — ошибки возможны, но ясно как день — весенняя доблестная страна, отчизна героев и рекордсменов, энтузиастов и победителей, живет, окольцованная врагами и наводненная диверсантами.

Однажды, когда я зашел за матерью в консерваторию, я попал на лекцию московского гостя. Столичный профессор Яков Палферов рассказывал беспечным бакинцам о том, как орудуют в нашей музыке наймиты иностранных разведок. Впрочем, иной раз он вспоминал о близлежащих сферах искусства — критик Леопольд Авербах таил, например, преступный замысел взорвать ко всем чертям Уралмаш.

Палферов был коренаст, дороден, с овальным благообразным лицом, в сером костюме, вишневом галстуке. Не требовалось большой проницательности, чтоб разглядеть в этом упитанном, холеном, широкобедром прохвосте дамского баловня и гурмана. Рассказывая о происках АПМа (зловещая эта аббревиатура обозначала Ассоциацию пролетарских музыкантов — и только), он прерывал свою гневную речь, склонялся над раскрытым роялем, пухлыми короткими пальцами извлекал из него какие-то звуки и торжествуя взглядывал в зал — эти синкопы со всей очевидностью несли в себе диверсионный заряд! Не позабыл он и Шостаковича. С чувством невыразимой гадливости, делавшим честь его целомудрию, сказал он о «Катерине Измайловой» — этой опере «в четырех половых актах и пяти прелюбодеяниях».

То было весомым знакомством подростка не только с партийной непримиримостью, но, кроме того, и с партийной лексикой — с этим невероятным гибридом цитаты, доноса, протокола и приговора без права кассации.

Бесспорно, не лучшее из впечатлений. Однако все эти грозные страсти задерживались во мне ненадолго, солнце по-прежнему щедро поджаривало улицы, устремленные к морю, в детстве события самые страшные кажутся лишь частью игры, какую представляется жизнь. А я к тому же писал стихи.

Опасную погоню за рифмами я начал в четырехлетнем возрасте и был достаточно безудержен. Мой бедный отец не успевал своим каллиграфическим почерком переписывать мои каракули набело. К восьми годам я был поэтом со стажем.

Это последнее обстоятельство определило мою судьбу. Само по себе стихоплетство в детстве — явление не такое уж редкое, но дело происходило в Баку. Мои земляки были люди с амбициями, да еще и с богатым воображением — я стал городской достопримечательностью.

И вот бакинское наше издательство — во главе его стоял Ахмед Тринич, высокий белоzubый албанец — решило осчастливить читателей. Тринич выпустил книжку моих сти-

хов. Этому славному человеку жить оставалось всего три года (Большой Террор был уже в пути), но он об этом не подозревал.

Народный комиссариат просвещения отправил меня с этой книжкой к Горькому, и Горький меня неожиданно принял. Это было тем более фантастично, что всего лишь три недели назад он потерял любимого сына. Решение Горького стало сюрпризом и для его личного секретаря Петра Петровича Крючкова (и он уже начал свой путь к Голгофе).

Пока решалась моя судьба, я познавал столицу державы — она подавляла своим многолюдием, своим неуправляемым ритмом. Баку был медлительным пешеходом, привыкшим к вечернему променаду, Москва без малейшего перехода предложила кавалерийский галоп. Но главное было еще впереди. Народный комиссар Андрей Бубнов, к которому меня также водили, дал мне возможность увидеть спектакли, имевшие наибольший успех в сезоне 34-года, — в Малом театре «Стакан воды», в котором гремели, сверкали, пенились Николай Мариусович Радин и Елена Николаевна Гоголева. Он — в блеске своей многолетней славы и нестареющего таланта, изящного, праздничного, кружевного, она — звездноглазая, молодая, на тридцать лет моложе партнера, в сиянии своей красоты.

Как странно было мне сознавать, что я допущен к такому пиршеству, и как я был благодарен жизни! Так же, как в тот чудодейственный день, когда я вошел в невысокое здание в Камергерском — шло толстовское «Воскресение». И в храмовой тишине я увидел бездонные черные очи Еланской, Качалов в синей застегнутой блузе, услышал виолончельный голос: «Как не старались люди... изуродовать эту землю». Мог ли я тогда вообразить, что пронесется пятнадцать лет и в Малом театре я встречу с Гоголевой, сведу с ней знакомство, буду приятельствовать? Что минет еще пятнадцать лет, и Еланская будет играть в моей пьесе? Даже и в детских ночных полетах не залетал я так безоглядно. Но в том ошеломительном мае были мистические сигналы. После Художественного и Малого последовал и Большой театр — в кресле рядом со мной оказалась маленькая полная дама, снежноволосяя, с круглым лицом. Юный зритель привлек ее внимание. Она оказалась гостьей из Дании, знаменитой писательницей Карин Михаэлис.

А после мая настал июнь. Седьмого числа в машине с Бабелем я отправился к Алексею Максимовичу в его подмосковную резиденцию — там и обрушил на сутулившегося голубоглазого старика свои неряшливые созвучия.

Но Горький, как видно, что-то услышал в этих виршах, написанных под сильным влиянием Маяковского (кого он не любил). Через семьдесят дней в центральных газетах появилась его статья «Мальчик». Бакинцы бурно торжествовали. С таким грузом на неокрепших плечах мне надлежало начать свою жизнь.

Тогда мне не было и десяти. Не слишком легкая ноша для детства. Спасали шахматы и футбол — они не оставляли мне времени не только для безмерных фантазий, но и для нормальной учебы (каким-то чудом я кончил школу). К тому же я был душевно здоров. Мне снились честолюбивые сны, но и они, в конце концов, были лишь продолженьем игры, я не был отягощен сознанием собственного миссионерства.

Но все-таки как от рифмованных строф, от поисков неожиданных рифм меня потянуло в драматургию? Да, в нашем доме бывали артисты, моя мать была певицей, солисткой, часто выступала с концертами (лет через пять, может быть шесть, представила меня Вере Давыдовой, приехавшей в Баку на гастроли, и я смотрел на эту богиню, ничуть не тая своего восхищения, и с жаром целовал ее руки, конечно же вовсе не подозревая, что сходные чувства испытывал Сталин), к нам захаживали и коллеги матери, и драматические актеры, но их присутствие во мне не рождало, сколько я помню, подобного трепета,



и мысль о том, что за нашим столом сидят Паратов и Радамес, не обжигала меня восторгом. Все было и привычно и буднично.

Зато в двенадцатилетнем возрасте случилось приятное событие. И для меня, для моей судьбы оно имело последствия важные. Жил в нашем городе режиссер, мужчина исполинского роста, шумный, по-детски непосредственный (он и работал в детском театре), переполненный разнообразными замыслами. Решил он поставить «Проделки Скапена», а мне предложил сочинить текст песенки для главного героя спектакля. С неподобающей быстротой я настроил четыре куплета (именно столько он просил). Они не вызвали возражений, но вскоре режиссер сообщил, что с композитором он не поладил, что делать с песенкой — не решил, возможно, Скапен ее продекламирует.

Минул еще какой-то срок, и наступил бакинский май. Однажды, встретив меня на улице, мой работодатель сказал, что спектакль уже идет на сцене, и пригласил его посмотреть. В тот же вечер я оказался в скромном зале на Молоканской, сидел среди возбужденных ребят, смотрел, как маленький человек с лицом с кулачок, остроносенький, юркий, с худыми голенастыми ножками весело порхает по сцене, мороча доверчивых толстяков.

За пьесой я следил невнимательно, боясь пропустить свои куплеты. Однако закончилось первое действие, прошло второе, уже к финалу стремительно несется и третье, маленький плут своего добился, соединил влюбленные пары — я понял, что так же, как композитор, ненужным оказался поэт. Скапен говорил последнюю реплику.

И вдруг — не послышалось ли мне? — маленький человек произнес четыре стихотворных строки, то были слова, мною написанные! Не важно, что из четырех куплетов остался один — это был куплет, н а п и с а н н ы й м н о й, и сейчас он громко звучал на весь зал, и юные зрители хлопали во всю свою мочь, а артисты благодарно раскланивались.

В чаду покинул я детский театр, в чаду шагал я по темной улице, и ноги юного футболиста слегка подгибались от всех волнений. Меня ждала длинная пестрая жизнь — чего в ней не было? — и впереди ждали бесчисленные спектакли, поставленные по моим пьесам, но никогда, уже никогда, не довелось испытать еще раз такого сладкого потрясения. Я шел своим привычным маршрутом, и редкие желтые фонари бросали свой скуповатый свет на стены облупленных домов, из темных дворов, из тесных растворов не слишком отчетливо доносилась восточная гортанная речь, мелькали торопливые тени — какое торжественное сияние в тот час излучала моя душа! Впервые с неповторившейся силой познал я острое счастье услышать написанное тобою слово.

Нет никакой причинной связи у этого дурманного вечера с тем, что спустя половину столетия я с превеликой охотой взялся экранизировать «Скапена». И все же, все же... что-то тут было. Сразу же ожил перед глазами шустренький юркий человечек с тощими голенастыми ножками. В жизни, в которой есть свой сюжет, почти неизбежны такие скрещения.

Отныне мои досуги были отданы сочинению пьес. Мне было решительно все равно — писать комедии или драмы. Любое очередное действие — будь оно даже в пяти актах — не требовало больших усилий, нескольких дней хватало с избытком.

И вновь мой терпеливый отец, вернувшись с работы, их переписывал — мой почерк по-прежнему был неразборчив, что объяснялось немислимым темпом: реплики обгоняли перо.

Своих героев и видел я плохо и худо слышал, как они говорят. Создать характер? Такая мысль мне даже в голову не приходила. Да было ль хоть что-нибудь в этих горах безжалостно оскверненной бумаги? Пожалуй, ребяческий темперамент, известная живость во-

ображения. Кумиром моим в те давние дни был Шоу, и, подражая ему, ремарки писал я на две страницы.

Мне не исполнилось и семнадцати, а режиссер Георгий Георгиевский поставил в Бакинском (взрослом!) театре мою стихотворную композицию. Затем Алексей Львович Гриппич (имя известное и уважаемое, был он учеником Мейерхольда, потом возглавлял немало театров) уже приступал к одной моей пьесе, но тут в одной центральной газете последовал нелестный абзац, перечеркнувший мои надежды. Таким было первое знакомство автора с директивной критикой — оно, разумеется, было болезненным, но, в общем, я пережил его с легкостью. Да мне и некогда было терзаться — пьесы следовали одна за другой. Процесс их рождения мне приносил физиологическое наслаждение, трудился я вполне бескорыстно.

Счастлирое графоманское время! О ком я только тогда не писал! О моряках, политических деятелях, летчиках, дипломатах, разведчиках, о юношах с авантурными склонностями и, разумеется, о вдохновительницах героев — лирических, чувственных, любвеобильных. Мои персонажи, само собою, не очень-то соотносились с жизнью, но что из того? — мне было весело. Игра, как видите, продолжалась.

Однако настала уже пора и окунаться в реальный мир, в первые послевоенные годы, когда наряду с университетом кончал я заочное отделение Литературного института имени Горького в Москве. Надо было определяться. Бакинский театр принял Швейцера, он пригласил меня в завлиты, о лучшем нельзя было и мечтать.

Я подружился с Владимиром Захаровичем, хотя по возрасту нас разделяли не менее чем три поколения. Весьма примечательное обстоятельство — друзья всегда были старше меня. В детстве я этого не замечал, потом с удивлением и печалью думал об этой закономерности. Я тяготился обществом сверстников — в этом была своя ущербность. Был я из молодых, да ранний, так уж сложилась моя судьба. Долгое время (уже в Москве) я был самым молодым драматургом, членский билет Союза писателей я получил в семнадцать лет.

Швейцер был личностью прелюбопытной, уже внешность его обращала внимание — квадратный, с резкими чертами лица, с каменной выпирающей челюстью, веявы веки почти опущены, когда они медленно приподнимаются, видишь темные полусонные глазки с прячущейся на дне их усмешкой сильно пожившего человека. Страстность, кипевшая в этой натуре, была умело приручена. В каждом его неспешном движении — барственная ленца созерцателя. Но этот всегдашний покой обманчив — если присмотришься повнимательней, откроешь вечную неутоленность.

Он был и даровит и остер, но слишком опытен и умен, чтобы себя реализовать. Для этого не хватало детскости, наивной веры в свое назначение и — очень возможно — неосторожности. К тому же он был слишком привержен плотской стороне бытия. Но темперамента было вдоволь — фельетоны принесли ему имя, какое-то время оно гремело среди первейших имен журналистики (он выбрал псевдоним Пессимист, никак не совпадавший с натурой). И жизнь его была живописной, сводившей его — близко и тесно — то с Есениным, то с Алексеем Толстым, то с Константином Марджанишвили. Человек с такой неспокойной кровью не мог пройти мимо кулис, и Швейцер основал два театра еще в далеких двадцатых годах — сначала в Баку, потом в Тифлисе (древнее имя грузинской столицы тогда еще не было восстановлено).

Судьба свела его и с кино — он много сотрудничал с Протазановым. «Праздник святого Йоргена», «Марионетки» и «Бесприданница» — все эти знаменитые фильмы сняты по

сценариям Швейцера. И вот он возвратился в Баку, в театр, который сам же и создал четверть столетия назад.

К тому времени, когда мы с ним сблизились, я был поистине сам не свой — переживал смерть человека, который духовно меня опекал.

Виктор Романович Раппапорт был режиссером бакинской оперы. Он сильно отличался от Швейцера — кругленький, с миниатюрными ручками, с длинными волосами до плеч (редкая в ту пору прическа), с усами, с бородой-эспаньолкой, непоседливый, невзирая на возраст — казалось, что легкий колобок перемещается в пространстве. Да и манера его изъясняться — французистая, фонтанирующая, то и дело неожиданные отступления — была несхожа с медлительной речью Швейцера, отчеканенной, взвешенной, ироничной, но было меж ними и нечто общее.

Скорей всего, то был дух артистизма, дух искусства — быть может, не слишком значительного, но остроумного и изящного, на нем еще лежала печать досугов Серебряного века. Оба знали толк в пародии, в шутке, в экспромте, в театре миниатюр — и тот и другой ему послужили — искристая шипучая аура того фейерверочного мира, щедро наперченного репризами, в какой-то мере на них отразилась. И тот и другой с превеликим трудом выдерживали пуританский климат идеологического общества. Каждый искал свою точку опоры. Швейцер ее находил в усмешке, неразличимой поверхностным взглядом, Раппапорт — в несокрушимой беспечности, тем более трогательной и обаятельной, что он был приговоренным сердечником. Не зря он любил вспоминать стишки, которые ему посвятили в юности, когда он бурно жил в Петрограде и верховодил в Троицком театре: «Там орудует умело Раппапорт, Раппапорт, Изгоняет скуку смело a la porte, a la porte».

Вспоминал и о том, как между поэтами был проведен конкурс-экспромт на рифму к слову «остроумие». Приз получил Николай Агнивцев, безмерно популярный в то время. Он предложил такое двустишие: «Ищу я рифму слову «остроумие», Ну что ж, ее нашел я — Раппапорт».

Виктор Романович был и автором часто игравшихся оперетт, одна из них ег70 почти обессмертила — прогремевшее действие о гимназистке под названием «Иванов Павел». Год за годом чуть ли не в каждой семье насвистывали и напевали: «Укрощал бег конский, да, да, бег конский, да, да, бег конский, Сам Александр Македонский, коня назвал он Буцефал».

Одну из прославленных оперетт он проиграл однажды в карты. И позднее она принесла удачливому игроку состояние. В самом деле, она идет до сих пор. Однако когда я задумал сам сочинить музыкальную комедию, Виктор Романович нахмурился:

— Вы слишком жадно за все беретесь. У вас, мой друг, восприимчивый ум, бесспорно, подвижное перо. Возможно, вы сможете преуспеть, но жаль будет, если вы проиграете литературную судьбу.

Эти слова, почти патетические, в устах веселого человека меня поразили, да и встревожили. При всем моем юношеском недомыслии я подсознательно забеспокоился. Через несколько дней Раппапорт умер. Под звуки пленительной увертюры — репетировал «Севильский цирюльник».

Поистине он заслужил такой праздничный, беспечный, мелодичный финал. На панихиде несли ахинею, постылые пустопорожние речи. Жизнь заманчиво началась, потом накренилась и засбоила, вальсирующая легкая поступь сменилась усталым шагом с отдышкой, теперь она кончилась — что тут скажешь?

Смерть Раппапорта была, наверное, первой потерей, воспринятой мною не только раз-

умом, но и кожей. В юные годы мы безусловно убеждены в своем бессмертии и без особенных потрясений перешагиваем могилы. Автоматически включается некий защитный механизм. Он помогает сохранить нужное нам восприятие мира — подарка, врученного во владение. Смерть в этом мире — нелепость, случайность, с тобою такого не произойдет. Когда наши лица привычно мрачнеют, сердца прикрыты надежной броней. На сей раз, однако, броня дала трещину.

Но время и юность взяли свое — в городе появился Швейцер, и, несмотря на разницу лет, мы, видимо, потянулись друг к другу. Вот и позвал он меня в завлиты. Я перестал быть только зрителем и познакомился с закулисьем.

Актерское племя — странное племя. Попеременно оно вызывает то нежность, то гнев, то благодарность, но чаще — сочувствие и удивление. Тяжелый, изнурительный труд, сменяющийся нежеланным бездельем, — не лучший график существования. Эти опасные перепады не могут не повлиять на личность, порою даже ее деформируют. Законы игры парадоксальны — ценится больше всего непосредственность, сбережь же ее труднее всего, эта профессия гримирует не только черты, и души — тоже. Естественность стоит дороже золота, а между тем каким испытаниям ее подвергает лицедейство. А нервное взвинченное состояние, которое становится нормой? А эта зависимость — от дирекции, от режиссуры, и самая тяжелая — от зала с его равнодушием, кашлем, холодом, жидкими аплодисментами? А жизнь на виду, всегда на виду — куда укрыться от липких взглядов? Вы полагаете — невыносимо? Вы ошибаетесь. И жестоко. Невыносимо, когда ты в тени.

Трудней, чем актерам, только актрисам. Их жажда признания безгранична. Легенды о сдержанности Ермоловой или Улановой их только бесят: «Оставьте, им-то легко быть скромными...» Но с явной или тайной агрессией так тесно соседствует незащищенность. Я видел начала и концы иных биографий, и сердце сжималось. О, это юное нетерпение, желание иллюминировать жизнь, и что за горечь в закатный срок! Желтеют афиши, гаснут люстры, а сердцу не на что опереться.

Встречаясь спустя почтенный срок с теми, кого я знал молодыми — прелестными, честолюбивыми девушками, бесстрашно вступившими в круг надежд, я против воли в них отмечал необратимые перемены. Вдруг представлялись те города, в которых им привелось побывать, унылая череда гримуборных, непрочный, неустойчивый быт, лукавые, ненадежные дружбы, усталость от ожиданий ролей, от косметики, табака, посиделок — и с каждым сезоном все меньше надежд.

Однако лишите актеров подмостков — этого сладкого эшафота — они сочтут себя обездоленными, утратившими среду обитания. Видно, и впрямь в существовании театра таится непостижимая магия. Иначе — попробуй, поди объясни, с чего бы этот зрительный зал, достаточно отшлифованный жизнью, казалось бы, уже неспособный быть ни чувствительным, ни доверчивым, по-детски отождествляет актеров с героями полюбившихся пьес. Столько раз предрекали театру конец! Помилуйте, зритель так поумнел, что он уже не приемлет иллюзии (когда это ум от нее защищал?), помилуйте, кино отменило навеки какую-либо условность, помилуйте, кто же пойдет в театр, если искусство пришло домой, приветствует вас с телеэкранов и потребляет его так удобно? Все верно, но театр живет, так, устремленный со сцены в зал, возвращается, увеличив силу, и воспламеняет артиста.

В те дни я впервые столкнулся с проблемой, ставшей в моей жизни центральной. Выяснилось, что мои сослуживцы, относятся к литературе без трепета — даже к классическим образцам. Тексты ролей нещадно корежились, вымарывались слова и реплики, бывало,

что и целые сцены. Попытки вступить за братьев по цеху всегда кончались моей неудачей, я недоумевал и досадовал.

Тем не менее, с некоторыми актерами возникало приятельство, а с одним — Константином Гайковичем Адамовым — родилась и окрепла душевная связь. Это был одареннейший человек, с мягким ненавязчивым юмором, грустный, расположенный к людям. Его армянское происхождение оказалось для него роковым; спустя сорок лет, в жестокие дни безумной карабахской войны, любимый город его исторг, отрекся от своего артиста, он должен был поспешно бежать, спасаясь от разъярённой черни. К тому времени он был болен и слаб — не для него была участь беженца, спустя три месяца он скончался.

Однако самых близких товарищей нашел я себе среди журналистов, тем более что и сам к тому времени стал сотрудничать с «Советским искусством» (теперь газета зовется «Культурой»). С ними я проводил все свободное время.

Среди друзей моих был Борис Хессин, корреспондент «Комсомольской правды», прелестный быстроногий шармер, предмет вздыханий бакинских дамочек. Как видно, был он рожден для успеха — когда мы перебрались в Москву, он обнаружил немалую волю и одолел социальную лестницу, стал крупным деятелем на телевидении.

Главой и душой веселой компании был замечательный человек, ставший моим любимейшим другом. Яков Гик был корреспондентом «Известий», впоследствии, к моему удовольствию, он также переехал в столицу и продолжал меня согревать своей бескорыстной взыскательной дружбой. Уж тридцать лет его нет на земле, и все еще трудно мне с этим смириться. Какой это было громадной удачей — пройти под его доглядом нелегкий курс воспитания чувств. Учил он прежде всего независимости — стало быть, сохранять достоинство, без него человек себя теряет, причем с удивительной быстротой. Наука тем более необходимая, что в начале пути ты зависишь в особенности — завоевывая расположение тех, кто властен облегчить тебе путь, рискуешь соскользнуть в nepотребство. Но вместе с тем он учил и юмору, это понятие обозначало не только биологически данное веселое отношение к жизни, но и способность к самоиронии, наиважнейшее умение видеть себя со стороны, нет его — и даже достоинство превращается в самодовольство. Рядом с Гиком я отчетливо понял: чтобы быть собою, надо трудиться. Нет ничего сложнее естественности, и самая длинная дорога, наверное, путь к самому себе.

Раппапорту и Швейцеру в ту пору было под шестьдесят, Гику — сорок, да и другие мои приятели были порядком старше меня. Это общение с пожилыми, действительно зрелыми людьми имело забавное последствие — я долго себя ощущал молодым. И ныне мне не вполне удается почувствовать свой почтенный возраст, с юными мне проще и легче, опыт мешает лишь самую малость. Напротив, людям своей генерации невольно подыгрываю, изображаю их умудренного жизнью ровесника, мне все еще не окончательно верится, что я допущен в их круг на равных.

Как быстро пронеслась эйфория первого года после войны! Прививка против фашизма, казалось, будет действовать до конца дней. Да и могли ли мы думать иначе после Освенцима и Трешлинки? Человечество победило дракона. Врагов не осталось, одни союзники. В каждом театре громадной страны идет пьеса Леонида Малюгина «Дорога в Нью-Йорк» по сценарию Рискина «Это случилось однажды ночью» (фильм назывался «Ночной автобус»). Жизнь стала теплей и естественней.

Все завершилось в безоблачном августе, когда мы однажды раскрыли газеты, прочли знаменитое постановление о двух провинившихся журналах, прочли об Ахматовой и о Зощенко.

Конечно же, юный провинциал не делал еще глобальных выводов, в том историческом документе меня волновала прежде всего судьба уважаемых мною писателей, вдруг превратившихся в двух изгоев. Я был потрясен. Удар по Ахматовой меня возмутил своим редкостным хамством. То, что немолодую женщину печатно обозвали блудницей, было немыслимым неприличием. Обида же за поэта, за классика, была, признаюсь, недостаточно острой. Не в оправдание, а в объяснение: Ахматову я знал мало и плохо — одну только книжку ранних стихов.

Известно, что в старости, она их не жаловала. Но то, что позволено Анне Андреевне, само собой не позволено мне. Но я был молод и толстокож, не слишком умен, нелюбопытен, душа осталась непробужденной.

Но Зощенко я знал назубок, знал все, что было опубликовано, и — тут я вправе себя похвалить — он не был для меня юмористом. Я чувствовал, как он глубок, как грустен, как одинок на этой земле. Я сам не мог понять отчего, но ощущал с ним некую близость. Читая «Возвращенную молодость» или «Перед восходом солнца», я словно бы принимал сигнал из собственного скорого будущего.

Мне не исполнилось и одиннадцати, когда Зощенко посетил Баку. Здание Оперы было набито зрителями до самого темечка, люди теснились даже в оркестре, взалех хохотали и аплодировали, а за столом на пустынной сцене сидел неулыбчивый хрупкий брюнет, спокойно и внятно читал рассказы, серьезно отвечал на записки. Южные темные глаза были печальны и неподвижны. Я жадно вглядывался в него — откуда в нем эта грусть всеведения? Так годы спустя в застольный час вдруг обнаруживал тщательно спрятанную, тайную боль во взгляде Гика и ощущал между ними родство, которое не мог объяснить, все вспоминал тот далекий вечер, все видел зощенковские глаза.

Я снова читал «возвращенную молодость» и вновь останавливался на строчках, которые посвящены были Кашкину, не то альфонсу, не то фореитору. Старый профессор Волосатов испытывал странное тяготение к этой самодовольной скотине.

«Он хотел подружиться с этим бревном», — пишет Зощенко. Наконец-то я понял, что писал он не только о бедном ученом. Он писал о многих — таких, как он, обо всем этом обреченном сословии народолюбцев и правдоискателей. «Хотел подружиться с этим бревном». Конечно же, ничего не вышло.

Чем вызвал он эту верховную ярость? Не этим же трехстраничным рассказом о приключениях обезьянки. Я сознавал, что тут лишь предлог, что дело серьезнее и опасней, но вспыхивающие на миг зарницы не стягивались в световой пучок — смысл акции был достаточно смутен. Неужто гонения на писателей необходимы для счастья народа? Гик глухо пробормотал: «Все — ложь», отец лишь вздохнул: «Сталинский почерк».

Но стало ясно, что подан знак. И наиболее трезвые поняли, время расстаться — и навсегда — с иллюзиями второго фронта, союзников нет, есть снова враги, нам снова жить в «осажденной крепости». Снова вставай, страна огромная, идет священная война, пусть без огня и бомбардировок. Система могла существовать только в осаде, только сражаясь. О том, что мир осадили мы сами, что в старом городе Нюрнберге по прихоти истории судят, в сущности, родственную идеологию, советские люди еще не догадывались или не решались догадываться.

Постановление о писателях было дополнено пышным букетом сходным по духу постановлений — о театральном репертуаре, о положении в кинематографе. Я как завлит столкнулся с трудностями — решительно нечего было ставить, благословение получили три или четыре названия — кроме малюгинских «Старых друзей», самые бесталанные пьесы.

Швейцер рассказал мне, что в августе жил в Кисловодске, там был и Эрдман, снимал в гостинице на «Пятачке» маленький неуютный номер. «Когда же вы напишете пьесу — спросил его Швейцер. — Как раз пишу. — Комедию? — Н-да-с, милстисдарь, ко-ме-ди-ю». В то историческое утро Швейцер, гуляя, зашел к нему в номер. Эрдман примостился за столиком, на нем завлекательно возвышалась стопка исписанных листов. Швейцер протянул ему «Правду». Эрдман прочел постановление, молча вытащил из-под кровати свой чемодан и так же молча сунул на самое дно его рукопись. При этом ни хозяин, ни гость не обмолвились и полусловом. Немая сцена. Что ж за комедия была отправлена на покой? Скорее всего, «Гипнотизер».

Дохнуло севером, холодом, стужей. Но я был молод, жил в Баку и был наделен витальной силой — что удивительного, что по-прежнему остро чувствовал трепет жизни и продолжал ее воспринимать как некое театральное действо?

Здесь будет уместно сказать, что и позже само понятие театральности казалось мне бесконечно широким, не связанным с одной только сценой. И в повседневности театральное вычленяется без особых усилий, лишь стоит взглянуть на окружающее и происходящее со стороны. Всего важнее момент отстранения, вы останавливаете, как в стоп-кадре ряд звуковой и изобразительный, событие, реплики, лица людей. Потом, вызывая весь спектр в памяти, открываете, что в нем присутствует и некий художественный элемент. Оно и понятно — жизнь, «остановленная» и повторенная сознанием, становится «отражением жизни», иначе говоря, обнаруживает свое эстетическое начало. Чем это изображение ярче, чем зорче и точнее в подробностях, тем оно зрелищней и действенней.

Видим ли мы ушедшее время в совокупности событий и лиц, видим ли только детали целого, способные стать приметой былого. Опознавательными его знаками, — в обоих случаях можно сказать о магической эстетике времени. Выхваченные из потока брызги, пожалуй, особенно выразительны. Поток времени безусловно эпичен, мгновения тяготеют к жанру, а он по природе своей театрален.

Я знал за собой эту манеру — внезапно из действующего лица вдруг превращаться не то в свидетеля, не то в соглядатая, мне все казалось, то это мой серьезный порок, врожденный порок моего сердца, моей личности, он мешает мне жить естественно и непринужденно. Понадобилось немало лет, чтобы я понял, что этот изъян и объясняет мое призвание.

Стихов я более не писал. Однако прошло какое-то время, и я ощутил, что без них неуютно. В необходимости прибегать к прекрасному первородству ритма, бесспорно, есть нечто наркотическое. Потребность эта схожа с болезнью, на самом же деле она ее лечит. Стихи помогли мне заполнить и скрасить немало невеселых часов. Конечно же, горя нельзя избыть, поведав о нем в нескольких строфах. И все же назвать такую попытку несостоятельной несправедливо. Даже дневниковые строчки — самые сдержанные и лапидарные — о происшедшей с тобой беде словно снимают ее остроту. Быть может, эта странность относится к еще не раскрытой физиологии литературного человека. Возможно. И все-таки я свидетельствую — выплеск на белом листе бумаги оказывал целебное действие. Записанное переживание как будто разжимало тиски.

Однако отныне стихи стали тайной. Я больше их никому не показывал. Ежевечерне садился за стол, ежевечерне пиал диалоги. Круг тем по-прежнему был широкий — от Наполеона и Талейрана до молодых своих современников. Впрочем, круг тем — недостаточно точно. До темы — в ее глубоком значении — я, разумеется, не дорос. Говорить можно было лишь о круге сюжетов.

Мудрый Швейцер замыслил придать моему фонтанированию какой-то смысл. Театру требовалось произведение, связанное с жизнью республики, с тем, что ее выделяет, — с нефтью. Почему бы не написать мне то, в чем театр испытывает нужду? Эта работа не будет бросовой, не будет пылиться вместе с другими в ящиках письменного стола.

Я с жаром принял его предложение. Заманчиво стать «поставленным автором». Я был так молод и так мечтал увидеть свое дитя на сцене. Сделал несколько вариантов, выслушивал ценные указания, старательно претворял их в жизнь, подчеркивал, уточнял, выпячивал. Театр хотел получить с в о ю пьесу, но эта пьеса была не м о я , в ней не было гра на собственной боли. Так отчего ж не идти навстречу чужим советам и пожеланиям? Подобно тысячам драмоделов, я мог предложить лишь расхожую схему с весьма положительным героем и отрицательным антиподом.

Этот последний был предприимчив, энергичен, по складу характера не был склонен довольствоваться малым. По мысли автора, эти черты были порочны, и жизнь, естественно, должна была выскочку наказать. Носитель же нравственного начала и коллективистской идеи был пресен, надежен и основателен, не предъявлял ни претензий, ни требований — по счастью, с неба звезд не хватал. Единственной мечтой его было дожить до того счастливого дня, когда в какой-то пустынной местности под яростным апшеронским солнцем внезапно забьет нефтяной фонтан. За эти благодарные качества героиня предпочла его.

Покойный Раппапорт угадал: литературную судьбу я проигрывал. Мо нищая унылая пьеса, пышно названная «Две жизни», была не хуже других поделок — могла быть сыграна на подмостках не слишком взыскательного театра. Но тут, безусловно, мне повезло — она не добралась до премьеры. Спектакль был запрещен к исполнению (не по причине его бездарности, а в силу идейной недопроявленности).

В ту пору я был недостаточно трезв, чтоб оценить свою удачу. В городе висели афиши, возвещавшие о предстоящем зрелище, знакомые торопились поздравить, триумф в масштабе родного города, казалось, был близок, и вот — все рухнуло. Но в молодости такие встряски небесполезны. Нужны испытания, чтоб научиться держать удар. В драматургии иметь характер стол же важно, как иметь дарование.

Да, этот запрет был счастливым билетом. Фортуна и впрямь ко мне повернулась. Я был приглашен в Союз писателей — оказывается, я вызван Москву на семинар молодых драматургов. То было радостное известие — я обожал этот город болезненно, как три сестры и сорок тысяч братьев. Жить в нем казалось пределом счастья, доступного смертному человеку, но даже увидеть его — подарок. Да и потребность проветрить душу после нелегкой, нервной зимы, вдоволь и вдосталь меня потрепавшей, была действительно велика.

Москва показалась мне городом-праздником. Весьма поверхностное впечатление, хотя я в ней появился сразу же после того, как она отметила третью годовщину победы. Но май был пленителен и лучезарен, на каждой улице толпы людей, каждая выглядела центральной — я был безоглядно люблен в столицу.

С вокзальной площади я отправился в гостиницу «Москва» — по ошибке. Как видно, я был не первым растяпой — мне терпеливо объяснили, что приглашенные на семинар живут по соседству в «Гранд-отеле». Но я на себя не долго досадовал — навстречу мне шел Михаил Ботвинник, как раз накануне завоевавший звание чемпиона мира. Рядом степенно шагал упитанный румянощекий генерал, видимо гордый своей приобщенностью к новому шахматному королю.

Шахматы наряду с футболом были сильнейшим моим увлечением. С футболом однаж-



ды пришлось расстаться, но шахматы остались со мной и стали надежной опорой. Я прибегал к ним почти неизменно, так же как прибегал к стихам, — стоило только ощутить, что в душу неслышно вползает хандра. Странно, но даже в юные годы я видел в них не просто игру, не просто захватывающее единоборство. Нет, эта концентрация духа, которая позволяет увидеть ваше вероятное будущее — пусть только на клетчатой доске — и просчитать его варианты, — уже не игра, уже не спорт. Чтоб заглянуть за опущенный полог, нужно воспарить над реальностью на новом — визионерском — уровне, войти в особое состояние, в особый эзотерический мир. Фигуры и пешки и в малой мере не были скромными деревяшками, послушными воле моей руки. Они дышали своим теплом и излучали свою энергию, в них билась неведомая жизнь, она подсказывала маршрут, оазис, идеальное место — поле вбирает в себя фигуру, и здесь они достигают слитности. Ферзи и ладьи, слоны и кони мечтают реализоваться и выразиться ничуть не меньше своих полководцев, их надо чувствовать, надо слышать, надо принимать их сигналы. Этот забавный антропоморфизм не был наивным и сочиненным, шахматы — особая сфера, возможно даже непознаваемая, у каждой табуи в конечном счете оказывался свой предел и свой срок.

Случайная встреча меня окрылила — как необычно и как волнующе началось мое гостеванье в Москве!

Назавтра открылся наш семинар. Съехалось множество литераторов — и молодых и немолодых, вдруг потянувшихся к драматургии. У каждого было по пьесе — пошедшей, репетировавшейся, почему-то не вышедшей, однако привлекавшей к себе внимание. Руководителем семинара был Александр Александрович Крон. То были его счастливые годы — был он тогда драматургом МХАТа, в иерархическую эпоху это означало признание не только зрителей — МХАТ и Малый считались официальными флагманами, и маршальский их авторитет был безусловен и непререкаем.

Крон очаровал — своей мягкостью, своей безукоризненной сдержанностью — она ни сколько не подавляла, не укорачивала собеседника и вместе с тем сохраняла дистанцию. О нем я подробнее вспомню в дальнейшем, пока же скажу, что его разбор наших несовершенных творений выглядели всегда доказательными. На встречи с нами Крон приглашал самых знаменитых и ярких критиков — Гурвича, Мацкина, Бояджијева, драматурга Леонида Малюгина.

О Гурвиче я слышал немало еще в Баку — он был земляком, бакинцы любили это подчеркивать. Обаятельный, крупнолицый, красивый, он быстро завоевал столицу. Сильный аналитический ум и острое жгучее перо сделали его имя известным. Кроме того, он уже был известным шахматным композитором — его удивительные этюды, в которых слабейшая сторона с необыкновенным изяществом демонстрировала свое превосходство над грубой и неуклюжей силой, успели войти во все хрестоматии, в них ненавязчиво раскрывался природный аристократизм шахмат. Впоследствии мы с ним подружались.

Мацкин пленил своей непосредственностью. Казалось, что этому художавому и невысокому человеку жизненно важно уговорить. Убедить и обратить в свою веру съехавшихся в Москву людей, которых он видит не только в первый, но, видимо, и последний раз. Когда, спустя многие годы, мы сблизились, я почти не нашел изменений в этом прекрасном и мудром ребенке — те же горячность и одержимость. В пору, когда театроведение являло собой унылую смесь казенных формул, наукообразия, патетической декламации и шаманства на почве неполноценности, Мацкин оставался живым в каждой мысли и в каждой строке. Опыт ему не прибавил опытности. Возраст не подтолкнул к умеренности, знания ничуть не уменьшили интуиции, не притушили страстей.

Бояджиев, артистичный, подвижный, отмечен был даром непринужденности. Умом, быть может, не слишком глубоким, зато способным к воспламенению. Рассказывали, что с давних пор он любимый ученик Дживелегова — достопочтенного патриарха (мне посчастливилось с ним познакомиться), в прошлом соратника Милюкова.

Бояджиев был относительно молод, ему еще не было сорока, был ироничен, но вместе с тем с подкупившей нас искренностью он признался: «Когда я вижу пошлый спектакль, чувство юмора мен покидает, он вызывает не смех, а страдание».

Очень понравился мне Малюгин, в нем ощущалась незаурядность. Негустые, соломенного цвета волосы, разделенные боковым пробором на две неравномерные части, лежали легко, слегка беспорядочно, прядка, отбившаяся от остальных, свешивалась на бледный лоб. Желтые выпуклые глаза взирали насмешливо-выжидательно. Нижняя выпяченная губа придавала ему, помимо желая, несколько высокомерный вид, а впрочем, некоторая надменность была действительно ему свойственна (в дальнейшем я понял, что это было проявлением самозащиты). Но — редкий случай! — эта черта (или черточка) не раздражала, скорей даже выглядела привлекательно. Насмешливость отличалась спокойствием, а потому производил почти покоряющее впечатление, особенно на молодых людей. Он был тогда весьма популярен — «Старые друзья» шли повсюду. Да и у всех остальных — у Гурвича, у Бояджиева, у Крона — то время было хорошей порой. И, глядя на них, я только и думал: какие счастливцы! Живут в Москве, нашли в ней свое достойное место, добились того, о чем мечтали.

И года не минуло с той весны, а жизнь их круто переменялась. Сначала их стали бить как эстетов, потом как постыдных низкопоклонников перед Западом, позже они угодили в жестокие жернова борьбы с так называемыми космополитами. Последними были обычно евреи. Однако армянин Бояджиев и русский Малюгин вошли в этот список. Мне еще предстояло увидеть, с какою готовностью и злорадством топчет остервеневшее стадо вчерашних любимцев и победителей.

Однажды, когда мы расходились, Крон сказал с интригующей улыбкой:

— Хочу познакомить вас с режиссером, который привлекает сейчас самое большое внимание. Он очень не любит выступать и вообще появляться на людях, но если удастся уговорить его, это было бы нашей общей удачей.

И вот в конференц-зал Союза писателей, в «Дом Ростовых» на Поварской, вошел человек выше среднего роста, пожалуй, несколько мешковатый. Волосы, аккуратно зачесанные, словно густевшие по бокам, открывали громадный скульптурный лоб, да и все его большое лицо казалось срисованным с античной медали, даром, что было вполне славянским. Глаза его были под стать лицу — столь же большие и выразительные, смотрели задумчиво и покойно, ни жадного интереса к миру, ни нетерпеливого блеска. В том, что от этого тихого взгляда не укроется и малейший штришок — ни в человеке, ни в обстановке, мне впоследствии пришлось убедиться. От грузной, но прочной его фигуры на нас снизошло ощущение крепости, непоколебимости и покоя. На деле все было так, да не так. Но это открылось мне много позже, когда он в общении со мной отказался от защитной брони.

— Позвольте представить вам, — сказал Крон, — Андрея Михайловича Лобанова, руководителя театра Ермоловой.

Услышал ли я тот внутренний голос, который в ходу у мемуаристов? И подсказал ли он мне, что я вижу человека моей судьбы? Нет, внутренний голос молчал, безмолвствовал, и сам я тоже не догадался. Но с первых же неторопливых слов, когда он заговорил о при-

звании, о том, что все мы должны понять, какое суровое дело избрали, должны ответить самим себе, готовы ли выдержать эту кладь, — с первых же слов я ощутил еще не испытанное, ни с чем не сравнимое. И дело было отнюдь не в словах — точных, отобранных, беспощадных, тайна воздействия заключалась в ауре, от него исходившей. Понять, в чем секрет ее, было трудно, зато легко было угадать, что этот несуетный человек, не очень-то современный по облику, посланец неведомой старой Москвы, отличен от всех, кого мы здесь видели.

Это особое впечатление, возникшее от встречи с Лобановым, непроизвольно подчеркнули и высветили еще две встречи. На заключительном заседании перед сценаристами выступили Константин Симонов и Анатолий Софронов.

Симонов выступил очень коротко, сказал о том, что сейчас от нас требуется драматургия, созвучная времени, которое отрицает камерность, зато ожидает больших дерзаний, больших свершений, больших полотен. Софронов советовал нам отнестись с сугубым вниманием к творчеству Суркова, который «поднял партийную тему».

Двое совсем непохожих людей произнесли похожие речи. И тот и другой — каждый по-своему — были отличны от тех, с кем мы встретились в наши семинарские дни. И тот и другой как будто явились из новой, победоносной эпохи, а те, другие, остались в былой. Софронов к ним вовсе не принадлежал, а Симонов словно расстался с ними, отрезал, сбросил с себя. Как платье.

Я плохо прислушивался к их словам, но с интересом к обоим присматривался, я чувствовал, что тот и другой — каждый на свой манер — представляют могучий и нерушимый режим, который навел в тридцатые годы железный порядок в собственном доме, в сороковые пришел в Европу и на исходе десятилетия уже замахнулся на Новый Свет.

Симонов был тогда в полном цвету — возраст Христа, сияние славы, параден, вальжен, хорош собой, гордо сидящая голова, запоминающиеся черты с неуловимым восточным оттенком, в кремовой курточке, в шейном платке — живое олицетворение удачи. Это был экспортный вариант *homo soveticus*, очень выигрышный. Софронов тогда начал свой путь по черепам, он был уже выделен селекционным оком Системы, уже поощрен лауреатством, ему уже вскорости предстояло явить себя во всей полноте. В отличие от Константина Симонова он безусловно предназначался для внутреннего употребления, для черной, неблагодарной работы. И внешность его была подходящей — мясистый медведь с хозяйской повадкой, с квадратным простонародным лицом. Он, видимо, хорошо понимал, на что он призван, как должен выглядеть, всегда подчеркивал свою «русскость», хотя тут было не все в порядке — шел слух, что по материнской линии струится в нем и немецкая кровь. Это опасное обстоятельство, к тому ж еще белоказачье прошлое его репрессированного отца, должно быть, держали его на крючке, каждодневно побуждали к усердию. В тот май он еще предпочитал казаться доступным и добродушным, любил застолья, был певуном, но тот из нас, кто был поприглядчивей, мог без особого напряжения увидеть в этих заплывших глазках холодную беспощадную сталь. От черных палаческих бенефисов его отделяло всего полгода.

Незабываемая весна. Всего за какие-то две недели прошло передо мною столько людей. В моих наставниках побывали разом и супостаты, и жертвы, и те, кто до поры уцелел. Эта мозаика непринужденно, естественно складывалась в картину тогдашней литературной жизни, была неясной, но притягательной. Однако едва ли не больше людей меня переполняла столица. В эти певучие бражные дни я жил в купеческом «Гранд-отеле», которого давно уже нет, его безжалостно поглотили гостиничные корпуса «Москвы». То было

прелестное убежище, дышавшее стариной и уютом. Спускаясь пообедать, я видел карминовые стены музея, за поворотом — в одном квартале — угадывалась Красная площадь. Между пятью и шестью часами небо к своей синеве добавляло новые нежные тона, не то малиновые, не то сиреневые, с улицы в раскрытые окна легко проникал предвечерний гул, и думалось — как хорошо в этом городе, чего не отдашь, чтобы в нем остаться. Я все словно ждал какого-то чуда, и чудо действительно произошло.

Однажды в Баку меня познакомили с заезжим киношником, москвичом. Теперь в Москве мы вновь повидались, и он, походя, бросил две фразы о том, что рассказал обо мне режиссеру Вениамину Цыганкову, работающему в Малом театре.

При всем своем южном легкомыслии я не придавал его словам ровно никакого значения. Мечты высоко меня заносили, однако же не к таким вершинам. Хватало трезвости, чтобы понять то, что Вениамин Иванович из учтивости изобразил интерес к рассказу своего собеседника. И в самом деле, чем мог тогда привлечь внимание режиссера старейшего театра страны, этой национальной святыни, занимавшей едва ли не первую строчку в государственной табели о рангах, неведомый молодой бакинец? Смех, да и только. Не о чем думать.

Тем не менее, через день или два в моем номере прозвучал звонок. По счастливой случайности я был дома. Голос московским говорком сообщил мне, что звонит Цыганков, не скажу ли я, когда мне удобно принять его. Я был настолько растерян, что даже не догадался ответить, что я могу прийти к нему сам, я просто назвал ему некий час, и он явился — минута в минуту. Он был невысок, но ладно скроен, с приятными чертами лица, с живыми усмешливыми глазами — уже знакомый малюгинский взгляд. Он откровенно меня разглядывал, потом спросил о пьесе «Две жизни» (с ней я приехал на семинар) — Малый театр хочет с ней познакомиться.

Хотя обсуждение на семинаре прошло для меня благоприятно, все ж у меня хватило мозгов, чтоб не давать ему этого опуса. Я сказал, что пьеса действительно пишется, однако же не вполне готова.

— О чем же она? — спросил Цыганков.

Если б я знал! Секунду назад этой пьесы еще не существовало даже в моем воображении. Просто ума не приложу, о чем я думал, когда ждал Цыганкова. Ведь ясно же было, зачем я нужен. Похоже, я просто не мог поверить в серьезность этой странной истории.

Неожиданно для себя самого я сказал ему, что пишу о студентах.

Ответ, заслуживающий похвалы! С равным успехом я мог сказать, что пьеса — о покорителях Арктики. Тогда я писал о чем угодно.

Но я выбрал студентов, и гость мой решил, что видит перед собой человека, который пишет про то, что знает. Цыганкову было под пятьдесят, студентов он представлял уже смутно, только по Щепкинскому училищу. А я был из них, из молодых, из новой — загадочной — генерации.

И он немедленно мне поверил.

— Интересно, — произнес он задумчиво. Его озорные глаза на мгновение как будто притушили иронию. — За лето закончите?

— Да, конечно, — сказал я, внутренне улынувшись. Пьесы писал я со скоростью звука.

— Превосходно. Мы в сентябре начинаем. Я имею в виду — сезон. Жду вас с пьесой.

На том мы простились.

Удивительная игра обстоятельств! Но еще удивительней, что тогда она показалась мне закономерной. Молодость одаряет уверенностью, что удача не может тебя обойти, точно так же, как любовь и бессмертие, — все дары на земле тебе причитаются.

Но нынче я думаю по-другому. Очень просто столичный документалист мог и не появиться в Баку, не оказаться со мной в одном доме, не обратить на меня внимание. Могло и не быть того семинара, и я мог не приехать в Москву, а он не встретил бы ненароком на улице Вениамина Ивановича, не вспомнил бы обо мне — эка важность! А Цыганков не искал бы пьесу и не пришел бы ко мне в «Гранд-отель» — достаточно было выпасть хоть звеньишку, и не сошлась бы с хрустальным звоном, нее сомкнулась бы эта странная цепь, не поддающаяся объяснению. И кто знает, как сложилась бы жизнь.

Тогда же я возвращался в Баку в нервной горячке, в счастливой бессоннице. Стучали колеса, в ночном просторе загадочно вспыхивали огоньки и гасли так же мгновенно, как вспыхивали. И, лежа на полке, словно в ладье, плывущей в сладкую неизвестность, я все пытался в нее заглянуть.

Однако не думайте, что, вернувшись, я бросился к письменному столу скорее ковать железо удачи. Само собой, в первый домашний вечер лампы в столовой под абажуром горели с небывалым накалом, родители жарко меня переспрашивали. Боялись, что я упущу хоть словечко из исторической беседы, а дальше настало бакинское лето и жизнь пошла своим чередом, и все еще был вокруг мой Юг, и дни мои были легки и неспешны, и можно было сложить свое будущее по прихоти зыбкого настроения. Можно уехать, а можно остаться, жениться или, наоборот, выбрать веселое холостячество, жариться под апшеронским солнышком, веря, что молодость бесконечна. Можно служить в театре по-прежнему, можно пристроиться в газете, в свободное время писать стихи, а еще лучше — ходить на свидания и поджидать на углах подружек, всматриваясь в темную улицу, вслушиваясь в стук каблучков.

В этот час из низкорослых домов выходят почтенные здоровяки, они выносят с собой табуретки и грузно усаживаются у ворот, ведущих в грязные узкие дворики. В густой, как смолистый вар, темноте белеют их ночные рубахи, звучат их гортанные голоса, они вдыхают вечерний воздух — смесь моря, мазута и ветра с пылью.

А я еще молод, так дерзко молод, что даже еще через десять лет мне предстояло быть молодым, ждать перемен и важных событий.

Смутно я ощущал, что не нужно, не следует подгонять свое время, Юг еле слышно напоминал, что люди не должны суетиться, особенно если они рождены под этим дегтярным слоистым небом, лишь ожидание благословенно. Моя непридуманная удача в том, что я появился на свет. И все же бесовское беспокойство было сильнее, и я заглушал искусительную подсказку родины. Нет ли здесь скрытого вероломства — прислушайся к ней, и все проиграешь. Время мгновенно — еще один день, и снова ты ничего не сделал. Когда-нибудь через тридцать пять лет, я воскрешу в «Прощальном марше» последнее бакинское лето.

«И все несерьезно. Но все решено». И участь моя была решена, я уже не был ее хозяином. С той самой минуты, когда я вернулся, в ней было нечто предопределенное. И я и родители понимали, что отступление невозможно. Удержать меня они не могли, а если б смогли — себе не простили бы. Отъезд в Москву был решен и назначен на середину сентября. А я все еще не брался за пьесу.

В середине лета уехал Швейцер. Как видно, два с половиной года, которые он провел в Баку, были для старого москвича предельным сроком — он заскучал. Прощаясь, он обнял меня и сказал:

— Решайся, сынок...

Я только кивнул. Надо ехать. Ехать необходимо.

И все-таки ничего не делал. Вот уже уплывает август, а я все блуждаю по старым улицам, гуляю по Старому бульвару (был еще Новый, к нему примыкавший), сижу на знаменитой аллее — с далекой довоенной поры она называется Студенческой, она пестреет цветастыми женскими платьями, а рядом, словно белые флаги, полощутся белые рубашки, капитулирующих кавалеров. И я среди них — вчерашний студент, бакинец на выдохе, на излете — вот он, мой пограничный час: сегодняшнее становится прошлым.

Вот это *с т е с н е н и е души* (немцы нашли ему имя — *Sehnsucht*) — невнятное, тайное, неожиданное, смутное для тебя самого — и есть начало драматургии. «Умный театр» — эти слова, которые я с большим удовольствием приводил в своем дипломе о Шоу, опасен для молодого пера. Он может быть плодотворен впоследствии, когда ты поймешь, что чувство без мысли бесплодно и уходит в песок. Но пьеса, не заряженная чувством, бессмысленна, не находит ответа, не отзывается в чьей-то душе. Опасно путать находку с выдумкой и смешивать озарение с умствованием. Но то, что настоящие мысли рождаются в сердце, узнал я позже.

Впервые пьеса имела завязь, впервые я приходил к ней верно. Не от придуманного сюжета, а от действительного волнения, можно сказать, что впервые я вздрогнул от лирического толчка. Если бы у меня было время. Я доносил бы дитя до срока. Из еле различимой мелодии, из пойманной тревожащей ноты возникли бы образы, люди выступили бы в несочиненные отношения. Я предложил бы с в о й взгляд на тему.

Но для нормального плодоношения времени у меня не было. Через какие-то две недели мне нужно было собирать чемоданы. И я набросал сюжетную схему, заполнил ее послушными тенями, стараясь, правда — спасибо инстинкту! — хоть как-то сохранить настроение.

Был, впрочем, еще один ресурс. В отличие от прежних героев этих я все-таки знал не худо. При всей приблизительности и размытости была в них какая-то достоверность. Но главной приманкой для режиссера остался тот самый невнятный мотив, который однажды вспорхнул надо мною на старой Студенческой аллее. Воздух еще был густ и томителен, ничто еще не предвещало осени, уже наступившей по календарю.

Тот звук, который остался в пьесе, впоследствии помог, сколь ни странно, простить ей ее несовершенство. Кроме него, ничего-то в ней не было. Снова — как и в унылых «Двух жизнях» — незаурядность взята под сомнение. Снова порывистому юнцу отечески, но твердо втолковывают, что выделяться нехорошо — можно попасть под влияние циника. Циником, разумеется, был самый занятый из преподавателей. В эти растленные уста был вложен монолог о таланте — лучшее место во всем этом действе. А остального я и не помню — пьеска была настолько пустая, что я за всю свою долгую жизнь так и не смог себя заставить перечесть ее хотя бы разок. Мелькнуло на нескольких страницах несколько искорок темперамента, необычных для безжизненной жвачки, составлявшей тогдашний репертуар.

За десять дней пьеса была написана, еще за четыре — напечатана. Можно было отправляться в Москву. Я избегал оставаться дома в эти прощальные часы — так тосковали отец и мать в предвидении предстоящей разлуки. Годы прошли, пока я понял — не разумом, а собственной кожей, — что нет ничего обреченной родительской — пусть даже безответной — любви. Впрочем, я и сам был растерян. Неужто еще денек-другой, и я не увижу змеистых улиц, с моря не повеет навстречу колкий хрустящий ветерок и вслед — пока я сбегая к берегу — не будет нестись по горбатым кварталам разноголосая громкая речь? Неужели — уже без меня — по-прежнему будет жить мой город своей почти семейной

жизнью? По счастью, было одно обстоятельство, несколько поднимавшее дух. Одна моя подружка работала в железнодорожной прокуратуре. Она посулила, что сядет в мой поезд — там было служебное купе, в которое не продавали билетов — и в нем проводит меня до Хачмаса.

Есть что-то трогательное в стремлении совсем еще юного завоевателя однажды перелететь в столицу. И я через несколько десятилетий взглянул на него чужими глазами женщины, рожденной в Москве, и отдал ей нечто мною постигнутое в достаточно горьком финале «Странника».

«И с той же тягостной виноватостью я точно увидела перед собой этих отважных провинциалов, увидела их беспокойное отрочество — ни беспечности, ни бездумности, ни щенячьих радостей их ровесников — оно уже отравлено будущим. Дни и ночи думают они все о ней — о далекой и прекрасной столице... Их победа — почти всегда подчинение, она достигается за счет того, чтобы слиться с нами. Мы капитулируем лишь на этих условиях и тем верней ими овладеваем».

Звучит патетично. Оно и понятно — годы потребовали обобщения, если угодно, и осмысления этого юношеского прыжка с Юга на Север, броска в Москву. На деле все обстояло проще, во всяком случае — легкомысленней.

В Москву уезжал молодой человек с опасной склонностью к графоманству, но безусловно не приспособленный к систематическому труду. Влюбчивый, пороховой, неустойчивый. Если бы он себя лучше понял, то никогда бы не решился на столь авантюрный шаг. Ему и в голову не приходило, что с собою придется похвастать ничуть не меньше, чем со столицей. Очень возможно. Что в этом неведенье и заключалась его удача.

Но что бы то ни было, выбор был сделан. «И все уже поздно. И все решено». Поезд уходил поздно ночью. На перроне сутулились родители, был Гик — он уедет в Москву через год, был Хессин — он уезжал вслед за мною, были товарищи по футболу, мы все играли в одной команде. Отец держал мою руку в своей. Точно старался в меня перелить всю нежность — ее было слишком много, она физически его разрывала. Он знал, что встречи теперь будут редки, знал, что придется мне нелегко. В самом деле, куда понесло его сына? Ни угла, ни постоянной прописки. Холодное небо над головой.

Он был прав, но я об этом не думал. А думал я больше всего о том, что одинок поначалу не буду. Пути до Хачмаса шесть часов, и поезд придет туда только утром.

---

---

## Елена ТВЕРСКАЯ



*Родилась и выросла в Москве, и не где-нибудь, а на Арбате. Получила математическое образование, работала инженером-программистом, в 1990 году переехала в США. В отличие от многих бывших соотечественников, в Америке не стала, а перестала заниматься программированием. Работает переводчиком в Jewish Family and Children's services. Стихи пишет с детства, издала две поэтических книги — «Еврейская елка» (совместно с Ириной Гольцовой) и «Расширение пространства». Печатается в журналах «Крещатик», «Новый берег», «Интерпоэзия», постоянно публикуется в интернетном издании «Вечерний Гондольер». В настоящее время готовит к печати третью книгу стихов и сборник стихотворений для детей «Птица пеликан».*

*Великолепные переводы Елены Тверской из Уистена Хью Одена вошли в антологии «Век перевода» и «Семь веков английской поэзии» под редакцией Евгения Витковского.*

*Как и любой настоящий поэт. Елена пишет о мучительной раздвоенности человеческого бытия:*

*«И глядит вперед одна из тварей,  
А другая — все глядит назад».*

*О жизни:*

*«Жизнь, покуда сердце бьется,  
Чем-нибудь да хороша;  
И ни с чем не расстается  
Окончательно душа».*

*И о смерти:*

*«Неизвестно когда,  
Но известно, куда  
Я уйду, не оставив следа...»*

*С этим я не соглашусь никогда — Елена Тверская уже оставила в русской поэзии свой след.*



# ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

## Зимний пейзаж с ловушкой для птиц, Питер Брейгель Старший

Питер Брейгель Старший: вся детвора,  
Несколько холодные колера,  
Снег, и свет, и скованная река,  
Взгляд немного сверху, издалека.

Глянь на землю сверху — птичий полет,  
Чернь ворон да галок — смешной народ,  
У ловушки справа от них черно,  
Знать, что им угрозой, им не дано.

А спустись с холма к ледяной реке —  
Ребятня катается на катке.  
И примерзшей лодки на берегу  
Заприметишь тоненькую дугу.

А художник дальше кидает взгляд,  
Вдаль, куда две птицы уже летят,  
И река свивает пейзаж в кольцо -  
Кинематография налицо.

Как воображенью дает аванс  
Питер Брейгель, Северный Ренессанс!  
Зимние пейзажи — с рекой и льдом  
Рисовали многие — но потом.

## Прогулка

Я ворчала поначалу, тебе было все равно.  
Я безумолку трещала про работу, про кино.  
Наконец, я замолчала, и в приятной тишине  
мы прошли два-три квартала, как давно хоте-  
лось мне. Обошли мы три квартала, а могли  
бы целых пять... Мне собаки не хватало, что-  
бы было с кем гулять.

## Подражая Цветкову

На фото — красивые были

А стали такие как мы.  
Пробелы во времени или  
Провалы внезапные тьмы.

Прекрасные сестры и братья  
Худые она или он  
Из детства уходят в объятия  
Уже нелинейных времен.

Забвенья глотнут из колодца  
Сметливые наши умы  
И завтра наверно вернется  
Но сгинет сегодня увы.

\* \* \*

Как бы ни были дороги  
Наши главные дни,  
Долго ли или коротко,  
Но пройдут и они.  
Это время досужее  
Отбирает права  
На мотив, что не хуже мы  
Знали, и на слова.  
И разносит по вечности  
Вечный девочкин плач,  
И роняет над речкою  
Свой нетонущий мяч.

## Mercury night

Луна выходит в одиночку, и любит ночь  
ее, как дочку, а той не хочется опять с при-  
смотром по небу гулять. (Стихи, написан-  
ные в строчку, никто не может дочитать. ) Но  
до утра с небес не смыться, хоть дайте обла-  
ком прикрыться, а то Меркурий — ярче всех,  
и лунных требует утех. А строчка тянется, не  
рвется, и ей струною отзовется ночная музы-  
ка в ответ, там, где Луна была — и нет.

## Каждой твари

Каждой твари выбрано по паре.  
Некоторым тварям — невпопад.  
И глядит вперед одна из тварей,  
А другая — все глядит назад.

Ничего, еще сомкнутся звенья,  
Станут очертания видны;  
Время не имеет направленья  
И обращено в две стороны.

Ничего, еще не так бывает,  
Отплываем, горе — не беда,  
А вода, гляди, все прибывает,  
Прибывает, господи, вода!..

## Простые вещи

Есть красота в простых вещах:  
Сияет яркий день,  
В траве цикады верещат,  
В саду цветет сирень.

Но приглядишься к простым вещам:  
Под каждой веткой — тень,  
И ест цикада по ночам  
Персидскую сирень.

## Бабушка Маруся играет на пианино

Играет бабушка Маруся  
на пианино. Эту грусть  
словами при малейшем вкусе  
пересказать я не берусь.  
С самоучителем надежным  
играет бабушка в тиши,  
в переложении несложном  
для фортепьяно и души,  
из опер, что звучат в эфире,  
о том, как в жизни неспроста

сбылась — есть справедливость в мире —  
ее заветная мечта:  
не сразу, к пенсии, скопила  
и эту «Родину» купила.  
А что не рад ее сосед,  
так на соседа правды нет.  
Она играет про подвалы,  
где стенки мокрые насквозь,  
где дочку как ни укрывала,  
укрыть от бед не удалось.  
Еще — про гомельского деда,  
что в 19-м решил:  
«Возьму, в Америку уеду!»  
И съездил, янки посмешил,  
но не нашел себя в Чикаго  
и умер в Гомеле, трудяга.  
(о чем нельзя болтать друзьям,  
хоть он назад вернулся сам).  
Еще о том она играет,  
чего пока сама не знает:  
по нотному читает стану,  
как муж, скривя в улыбке рот:  
«Я без Маруси жить не стану», —  
сказал и умер через год.  
О том, что гибнет Виолетта,  
что любим мы ее за это —  
за краткость радости взаим.  
И музыкой наполнен дом.  
И музыка спешит пролиться  
на лестницу; и в пол сосед  
опять стучит, и это длится,  
не прерываясь, много лет.  
И бабушка не виновата,  
что слезы льются по щекам,  
покуда вальс из «Травиаты»  
звучит, разучен по рукам.

\* \* \*

Как лопух на ветру,  
Как луна поутру,  
Так и я — поживу да умру.  
Неизвестно когда,  
Но известно, куда  
Я уйду, не оставив следа,  
И, как всякий транзит,  
Мой недолгий визит  
Никого на земле не пронзит.  
Не воскресну потом  
Ни луной над мостом,  
Ни собакой, ни даже кустом.  
Небессмертный мой дух  
Станет прах или пух.  
Рядом вырастет новый лопух.  
Но свидетель и я  
Красоты бытия.  
А без зрителя — нет ни ...!

## Про причины

*Всё происходит не случайно, а по тем  
или иным причинам, обычно по иным.*

М. Гаспаров

По ночам не спят мужчины, да и женщины не спят,  
Ищут разные причины, без причины — не хотят.

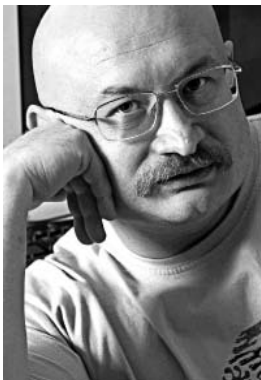
Все, что было, все, что будет, тонко связывают в нить.  
Мы на то с тобой и люди — чтоб всему причине быть.

Без причины прыщ не вскочит, и не блещет лунный луч,  
Беатриче Дант не хочет, не гоняет ветер туч,

Солнце не встает над нами, даль не будет голубой,  
Конь не прядает ушами без причины хоть какой.

Сыч не ухнет за сараем, и не пискнет мышь в дому...  
Просто мы не точно знаем, что на свете почему.

## Олег КРАСНОВ



Талмазан Олег Назарович (псевдоним — Олег Краснов), родился 9 мая 1963 года, кишинёвский журналист, прозаик, переводчик с румынского, по образованию математик, работал лаборантом, дворником, санитаром, тренером, редактором газет и журналов. Победитель международного конкурса «Литературная Вена» в 2012 году в номинации «проза». Лауреат премии Ассоциации русскоязычных журналистов за 2012 год. В период 2006-2012 опубликовал ряд рассказов в молдавских периодических изданиях (газета «АиФ в Молдове», журнал «Русское поле») и сборниках («Толстый журнал», «Белый Арап», «Невидимое море», «Пролетая над»). Перевёл с румынского роман Savatie Bastovoi «Diavolul este politic correct» и пьесы Constantin Cheianu. Неформальный лидер молдавской литературной группы «Белый арап».

## ШЕЛКОВИЦА

**З**астёгивая на ходу ремешки на босых пятках, Саня выскочил в подъезд из громыхнувшей двери.

В левом его кармане в спичечном коробке сидел рыжий лесной муравей.

Ясное дело, и во дворе были муравьи, но поменьше и пыльного кирпичного оттенка. А за беседкой, за брошенными гаражами, водились муравьи с квадратными агатовыми головами, похожими на нелепые гладиаторские шлемы из учебника истории — только они могли отбиться от рыжего. Рядом с коробком лежала линза от фотоувеличителя, которую только вчера выменял на серию кубинских марок.

Сбегая по лестнице, Саня поглядывал в окна, пытаясь угадать, кто сейчас может быть во дворе, и соображая за кем ещё можно зайти. Последний пролёт он промахнул по воздуху, зацепил на повороте перила ладонью и вывалился к выходу на обе ноги.

Соседская Татьяна, худышка в весёленьком ситцевом халатике, тащила в авоське синие пирамидки с молоком. В глубине двора, за качелями, мелькала клетчатая рубашка Витика. Он нагнулся и чертил в пыли круг — играл в ножички с каким-то шкетом, в заднем кармане его джинсов оттопыривалась рукоятка рогатки.

Витик — псих. Может ни с чего ударить из рогатки рубленным чугуном по ногам и заорать: «Пляши!».

Возвращаться домой не хотелось. Всё равно придётся выйти — не сегодня, так завтра. Саня ковырнул ногтем со стены кусок жухлой краски, и медленно двинулся по двору, поглядывая на играющих. Шкетом оказался Алик из третьего подъезда. Он поднял голову от «земли», растянул губы в улыбку и завихлялся навстречу. Саня провёл ладонью по пружинящему кусту, по ивовым плетям у дороги, и обнаружил перед собой Алика в опущенной на глаза кепочке. Неспешно посмотрел вдаль сквозь его белёсые глаза с выцветшими ресницами. Алик цокнул языком, развернулся на ноге, шагнул в сторону и исчез.

— Я тебя не звал, — не поворачиваясь, сказал Витик, стирая ногой линию и примеряясь перочинным ножом к треугольнику.

— Тогда порядок, — пожал плечом Саня.

— Говорят, ты на ракетное моделирование записался?

— Записался, — не понял Саня, — и что?

— И как успехи?

— А тебе что?

— Не груби старшим. Что в кармане?

— Увеличилка.

— Пара копеек есть?

— Нету.

— А если найду?

Витик поднял глаза.

— Что молчишь. Не люблю, когда молчат.

Саня покосился на обломки кирпича, которыми была выложена дорожка к гаражу. И откуда-то издали услышал свой бесцветный голос:

— Ты у себя найди.

Витик перехватил его взгляд и ухмыльнулся.

— Ладно. Не пыли. Свой же парень. Бобика пойдёшь вешать?

— Чего??

— Вешать. За шею. Боишься?

— Он же твой?

— Теперь мой, — одними глазами улыбнулся Витик, — Отец сказал. Бобик старый уже. Будьте, говорит, мужчинами, отведите в лес и повесьте на дереве. Как собаку, — округлил глаза Витик и обнял Саню за плечи. — Алик, идёшь с нами?

Алик побледнел, отчего веснушки на его носу стали ещё ярче.

— Нет!

— Пошли, тебе понравится.

— Я не могу... мать во дворе быть велела...

— Уроки не сделал, — предположил Витик, и треснул Алика по шее. — Уйди с глаз!

\* \* \*

Идти было недолго. Витик шёл молча, чему-то улыбаясь и загадочно посасывая травинку. Только однажды он вдруг остановился, повернув к Сане сморщенное лицо:

— Что-то в кеды попало... камушек, должно быть...

Ещё у опушки в небе появились оранжевые шмели, приторно пахнущие пылью. Через двадцать шагов ветер принёс запах расплавленной сосновой смолы и распаренной хвои, а за поворотом повеяло обжигающей муравьиной кислотой и ореховым йодом, и чуть дальше вглубь — влажным духом крапивы и палево-изумрудных светляков, которых в низине у ручья можно было собирать ведрами.

Саня остановился у ореха и провёл кончиками пальцев по холодной коре. Витик обернулся.

— Не, тут плохо. Идём, я покажу.

А Саня знал, куда он ведёт. Ему вдруг примерещилось, как, обняв поперёк груди Бобика, вставляет его головой в петлю, и ощутил, как бьётся собачье сердце...

— А ты ерша стоеросового запускал?

Саня вытер лоб.

— Нет. А что это?

— Да так, ничего, — процедил Витик.

Бобик трусил рядом, не обнаруживая никаких дурных предчувствий. Из пасти вываливался язык и покачивался где-то за плечом — казалось, собака бежит рядом со своим языком.

— Дай нож.

— Зачем тебе?

— Дубец вырезать.

Старая шелковица и была лучшим местом. Скрюченные ветки росли невысоко, и по наростам было удобно карабкаться. Витик взлетел вверх и затянул на отростке поводок так, чтобы до земли оставалось метра полтора. Потом передумал и развязал. Перебросил шлейку через рогатину, а конец привязал к нижней ветке. Теперь, если потянуть за ремешок, Бобик улетит в небеса. Или просто лечь на шлейку.

— Ну что, зараза, жить хочешь? — наивно и чуть нежно спросил Витик.

Бобик скучал. Было похоже, что он и не такое слышал.

Витик вдруг беспричинно рассвирепел, и резко, с носка, ударил Бобика в голову. Бобик прижал уши и затравленно посмотрел снизу, натягивая поводок. Витик неловко махнул ногой поверх собачьей головы и свалился в траву. Бобик лёг на землю.

Витик сглотнул слюну и попробовал улыбнуться. Неторопливо вернулся к дереву и ухватился дрожащими пальцами за поводок. Бобик был грузным пожилым псом, но Витик сел джинсовым задом на ремешок, и собака медленно поплыла вверх.

Голова Бобика завалилась на сторону, он судорожно вытянул лапы и затрясся всем телом, глаза стали косить и наливаться кровью. Сияясь выскользнуть из ошейника, Бобик начал извиваться всем телом, как дождевой червяк. А потом дёрнулся и стал затихать.



Ноздри Витика задрожали, поводок заскользил сквозь пальцы. Бобик ударился о землю и коротко захрипел. Глаза Витика остекленели, он страшно, тонкими губами, осклабился, продолжая сжимать зубы. И тут же резко, всем телом опустился на шлейку. Бобик подлетел кверху как куль, перевернулся и полетел вниз. Неловко плюхнулся в траву, и по-собачьи закашлялся. Из разбитой морды потекла кровь. Пустой ошейник раскачивался далеко в облаках, сверху сыпались веточки, ягоды, мягкие зелёные листья.

Саня перевёл дух и выпустил палку из мокрой ладони. Вытер руки об майку. Опустился на корточки, потом развалился по-турецки и стал выбирать из травы пачкавшую пальцы шелковицу. Витик, падая назад, ударился спиной о корень и засипел. Бобик покачнулся на подгибающихся ногах, завалился набок и стал отползать в заросли.

- Твою мать! — придыхая, выдавил Витик, — чего сидишь?!
- А что? — озаботился Саня и запихнул в рот ягоды. — Ты ничего не дал мне сделать. Саня навис над ним. Зрачки Витика расширились, но он тут же взял себя в руки:
- Ладно... оставь... сейчас пойдём...
- А собаку поймать?
- ...какой там...
- Ну, а позвать — Бобик, Бобик... или как ты его?.. — без выражения спросил Саня.

Витик приподнялся на локте и сощурился. А Саня раскинул руки и упал в траву. Трава ласково, как ладонью, обняла за его шею, и он потёрся шеей о воротник. Прислушался и, осторожно раздвигая пальцы, выпутал из травинки щёлкающего ножками кузнечика. Деревья качнулись, выросли и зависли над головой. Саня тихо произнёс испачканными губами:

- ...соплодия...
- Ты что — опух, юннат?!
- Не ори. Бобик удрал. Тебя, что ли, вешать?

\* \* \*

- По пути домой Витик немного сник.
- Отцу не скажем. Никому не говори.
  - Бобик придет.
  - Не твоя забота.
  - Не скажу. А поводок?.. — вспомнил Саня.
  - Да чёрт с ним...

На опушке Саня незаметно приоткрыл коробок и щелчком запустил в кусты. Рядом что-то оглушительно треснуло — Витик присел и втянул голову в плечи.

- Что это было?
- Не знаю. Может, сухое дерево.
- Тут в прошлом году труп нашли. Утопленника. В ботинках и галстук.
- От озера сюда прибежал?

Витик поглядел на него с интересом.

— ...а ты ничего... не травоядный... как же я тебя раньше... теперь весело будет...

И невпопад, но внятно добавил:

— ...человек — игрушка...

Во двор возвращались молча, будто бы каждый сам по себе. На лавочках накапливались какие-то пацаны, было много чужих, кто-то сидел на корточках, кто-то болтался на турнике как игрушечный петрушка, накручивая бесчисленные солнышки и выходы махом. Алик был тут же. Некоторых Саня узнавал, и это его не радовало. При его приближении стало тихо. Саня догадался, что его майка запачкана шелковицей.

— Раздайся, бандерлоги.

Ему очистили место на лавочке. Алик незлобиво пригласил:

— Садись, Сашок.

Открылась некрашенная доска с выжженной надписью «NOMINA SUNT ODIOSA».

— Что тут.

— Да вот, постучать по мячу хотели.

— А.

Солнце садилось, и Саня вдруг почувствовал, что устал, и страшно захотелось пить. Витик играл в чикку, с сумасшедшей быстротой постукивая лезвием между растопыренными пальцами. Из соседнего подъезда вышел дядя Юра в тубетейке и белой майке, со свежей газетой в длинных, до колен, руках, поросших курчавыми волосами до самой шеи. Простыни на растянутых повсюду верёвках хлопали на ветру. Вышла Танька с неопределённой небесной улыбкой и прозрачными ключицами, на этот раз верно в булочную.

— Добрый вечер, дядя Юра.

— А то.

Витик одними губами показал Сане.

— Вот бы кого...

— Забудь.

И беззвучно пояснил:

— Моя.

---

---



**ДЖОВАННИ ПАСКОЛИ**  
(1855-1912)

**В переводах**  
**Александра ТРИАНДАФИЛИДИ**



*Александру Триандафилиди тридцать с небольшим лет, он родился и живет в Ростове-на-Дону. К настоящему времени им переведено около 40 000 стихотворных строк и написано около 350 стихотворений.*

*С раннего детства Александр увлекался античной мифологией и поэзией, блестящим знатоком которых стал еще в юности. Наряду со стихами, сознательно написанными в подражание римским и греческим классикам, писал и оригинальные. В 2003 и 2005 годах вышли две книги стихотворений Александра Триандафилиди, «Души моей сонеты» (Таганрог, 2003) и «Арабески» (Ростов-на-Дону, 2005), кроме того, его стихи и переводы печатались в российской периодике.*

*Переводческая деятельность Александра началась в 1999 году. Изучая итальянский язык, он задумал полный перевод поэмы «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто (на сегодняшний день переведена 21 песня [около 16 000 строк] поэмы). Кроме того, он переводил с итальянского стихи поэтов «сладостного нового стиля», Петрарки, Тассо, Саннадзаро, Пульчи, Лоренцо Медичи (подборка избранных поэм и стихотворений), Джованни Пасколи, Джозуэ Кардуччи и др.*

*В 2009 году Александр перевел поэму в октавах Анджело Полициано «Стансы на турнир» и, в сотрудничестве с проф. Н.В. Забатуровой, — два стихотворных романа классика средневековой французской литературы Кретьена де Труа: «Ланселот, или Рыцарь Телеги» и «Персеваль, или Повесть о Граале» (свыше 17 000 строк). Эта работа, начатая в 2005 году, была завершена в мае 2009 года.*

*С французского языка Александр переводил стихи Мориса Роллина, Поля Верлена, Артюра Рембо и Леконта де Лиля.*

*Диапазон переводов Александра Триандафилиди простирается от XII века (песни трубадуров, переведенные со старофранцузского) до 1900-х годов (Гвидо Гоццано, перевод с итальянского).*

*Эрудицию и поэтический дар Александра лучше всего охарактеризовал Евгений Владимирович Витковский, написавший мне, что у «...Саши Триандафилиди голова — как целые Афины Древние, откуда его предки на Понт и пришли».*

# ВЕЧНА

## 1. Река

Усадьба отражается в реке,  
Стена и сад, где алые гвоздики,  
И зелень, что на гладь бросает блики;  
Морской прибой шумит невдалеке.

За валом вал в размеренном броске  
Накатом на равнин простор великий  
Готов пойти, но вот о берег дикий  
Ударившись, дробится на песке,

Клокочет, бьётся, поднимает ропот,  
Струясь меж валунами у березы,  
Сквозь щели льётся с каждой стороны.

Скрип тростника, каштанов лёгкий шёпот...  
И девушка одна во власти грёзы  
Под сенью внемлет говору волны.

## 2. Куплет

Вздыхая, плача, дева возлегла,  
И простыни от слёз её влажнели —  
Там за окном слышались ей трели,  
И дрогнула златистой ночи мгла;

Самшитов, точно швейная игла,  
Коснулся бриз, и те зашелестели:  
— Не горько ль почивать одной в постели?  
Ты посмотри, как грудь твоя бела! —

Усадьба притаилась за оградой;  
В усадьбе той белянка-дочь живёт;  
Белянка-дочь на небо взор возводит,

Считает звёзды, будто так и надо;  
А небо кружит, ветерок поёт,  
И сердце томной мукою исходит.

### 3. Приходская церковь

День Бенедикта. Заалел восток.  
Вот ласточка мелькнула над долиной.  
У церкви, где-то в роще тополиной,  
Найдёт она гнездо, приходит срок.

Искрятся стёкла; и цветка глазок  
Темнеет под пучком фиалки чинной;  
Поскрипывает флюгер, и картинно  
Рыжеет кровли каждый черепок.

Приветствие своё карниз лепечет,  
Где небо словно выпарено в красном,  
Как спелый персик или абрикос.

И ласточка в ответ ему щебечет,  
Паря как тень, а на лугу прекрасном  
Бежит за ней с косящим взглядом пёс.

### 4. В церкви

Жужжащим роем потянулся люд  
К церквушке на холме, а вслед ступая,  
Вечерним часом блещущего мая  
Толпой неспешно женщины идут;

В высоких травах, где цикадный гуд,  
Идут, собой цветы напоминая;  
И дол притих, молчанию внимая,  
И вся деревня — словно сонный пруд.

Часовня средь березок тонкоствольных  
Закатным светом вспыхнула на склоне,  
Алеет кровля в горной тишине.

Шум от шагов селянок богомольных  
Ещё дрожит, а запах благовоний  
Рассеялся над дроком в вышине.

## ПОЦЕЛУЙ МЕРТВЕЦА

1.

Утро серо, молчаливо;  
Пряным духом грибным веет,  
Залит сад росой красивой,

Словно спят деревья в дымке,  
И гудок далекий реет  
Паровоза-невидимки.

Складки на сердце и трепет;  
Пред рыданием украдкой  
Всхлипыванья, речи лепет.

На губах от боли складка.

2.

Кто здесь? Кто свой облик прячет  
И крадётся этой ночью  
В мой покой? Не знаю. Плачет.

Чувствую я холод пота.  
Взгляд твой пристальный воочью  
Ощущаю я, и что-то

Близится ко мне, целуя  
В губы прямо. Но едва ли  
Вежды разомкнуть могу я —

Словно мраморными стали.

3.

Кто? Откуда? Были ль ране?  
Видят ли меня? Узнали?  
Иль безмолвное рыданье?

Кто же? Скрипнет дверь. Темно.  
Тот, кто любит, но едва ли  
Знает, что он мёртв давно...

И, неведома, таится  
Тень в сырой туманной дымке.  
Мне привет далёкий мнится  
Паровоза-невидимки.

## ИЗ ЦИКЛА «ОТ ЗАРИ ДО ЗАКАТА»

### Праздничная заря

Звоном свод небес расколот  
От каких колоколов?  
То серебрян звон, то золот

И вблизи гудит, как зов.  
Бесконечный гимн поётся  
На заре меж облаков.

Мерное качанье... Льется  
Глас златой молитвы сей,  
В небе сонном отдаётся.

Серебрится, как ручей,  
Глас другой в звенящем пенье:  
— Благо-благо-го-говей!

Повисает в горней сени  
Звонкой нотой золотой,  
В нём звучит успокоенье.

Только глубже глас иной,  
Глушит зов любви бессильной,  
Как ответ любви земной —

Глас из-под плиты могильной.

### Надежды и воспоминания

Паранцеллы в дальнем море  
Белые, белые;  
Вижу, бьются на просторе,  
Словно угорелые.  
То вы, надежды, крылья снов  
В море!

Обведу я очесами  
Выси горние —  
Паранцеллы с парусами  
Черные, черные.  
Воспоминанья, тени снов  
В небе!

## Топот

Стук галопа чаще, чаще  
(Это значит...?)  
Кто-то с быстротой, дрожащий,  
В поле скачет.

Дол пустынен, нет границы,  
Засушь, гладь и запустение.  
Как стрела, скользнули птицы,  
Все в смятении,

Не иначе. Улетают  
От распада повсеместно.  
Где он — этого не знают  
Ни земля, ни свод небесный.

Стук галопа резче, резче.  
Стонет твердь.  
Это мчится издалече  
Смерть! Смерть! Смерть!

## Кусок хлеба

Я его хранила только  
Для тебя, мой ангелочек;  
Плачу горько!  
Видишь? Коркой стал кусочек.

Умер на соломе. Холод.  
Тихо спи, малютка.  
Слёзы! Голод!  
Тверд сухарик жутко.

Смотрит с горестью во взоре,  
Бел младенчик весь.  
Голод, горе...  
И сухарик здесь.



## Праздничный закат

Гладишь, матушка моя,  
Ты сорочку, что из льна?  
На самшите, средь белья,  
Вижу, не висит она.  
Очи дланью прикрываешь...  
Завтра будет — иль не знаешь? —  
Динь-дон-дан, динь-дон-дан.

Слышен говор белых сёл,  
Песни в розовой дали;  
Горы тёмные и дол  
Внемлют празднику земли.  
Ты же уши затыкаешь...  
Завтра праздник, иль не знаешь?  
Динь-дон-дан, динь-дон-дан.

Помню о минутах тех:  
Вечер... церковь... Как давно!  
Холоден ребёнок — снег,  
Бел ребёнок — полотно.  
Были колокола речи  
(Не казалось, что далече?)  
Динь-дон-дан, динь-дон-дан.

Как сейчас, был песни глас  
В славу ангела. Гляди:  
В небе ангелок сейчас.  
Так хотела ты к груди  
Всех прижать нас в колыбели...  
Звоны колокола пели:  
Динь-дон-дан, динь-дон-дан.

---

*Джованни Пасколи (1855-1912) — выдающийся итальянский поэт-символист. Из его обширного наследия на русский язык ранее переводилось только несколько стихотворений (примечание переводчика).*

## Наташа БОРИСОВА



Наташа Борисова, филолог-германист, сочетала работу на кафедре английской филологии Петербургского педагогического института с деятельностью и переводчицы и свободной журналистки, чьи статьи и интервью печатали различные журналы Санкт-Петербурга.

Позже, работая в Издательстве научно-технической литературы, вначале корректором, затем — редактором, Борисова издала свой первый поэтический сборник «Тайна». С несколькими переводами произведений немецких романтиков она участвовала в издании сборника «От Гете до Каллау», ставшего заметным событием в культурной жизни Петербурга.

С 1997 года живет и работает в городе Фрайбурге, Германия. Здесь ею изданы четыре поэтических двуязычных сборника, переводы на немецкий язык сделаны автором.

В прошлом году опубликована книга детских стихотворений Петербургской поэтессы Нины Тарасовой в переводах на немецкий Натальи Борисовой. Книга была хорошо принята немецким читателем.

Несколько месяцев назад в издательстве Za-Za Verlag вышла книга эссе Н. Борисовой «Отражения», результат сотрудничества с международным литературным изданием «Зарубежные Задворки», в котором Наталья Борисова неоднократно выступала как автор статей и рецензий.

## ...НО ХОЧУ, ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ МЕНЯ ЧИТАЛИ...

**П**олторы сотни лет прошло с тех пор, как эти слова произнесла Анна Элизабет Дросте цу Хюльсхофф, или Аннетта фон Дросте-Хюльсхофф, как звучит ее имя в истории немецкой литературы.

Будущая яркая звезда на небосклоне немецкой поэзии XIX столетия, та, которую назвали потом «королевой немецкого стихосложения», появилась на свет раньше срока. Тогда, в январе 1797 года, в отцовском замке Вассершлосс в Вестфалии, она чудом осталась в живых, единственно стараниями преданной кормилицы. Исконными установлениями предков, исчислявшими от XIII века родословную своего знатного, но небогатого рода, было ей предназначено в этом замке жить, получить приличествующее благородной девице домашнее воспитание, а потом выйти замуж, пестовать детей и скрашивать жизнь супруга в каком-нибудь другом замке. А судьбой и призванием предназначено было иное: стать Поэтом.

Отец — барон Клеменс Август Дросте цу Хюльсхофф был мягким и милым человеком, к нему Аннетту-девочку тянуло значительно больше, чем к строгой матери. Отцу она обязана своей близостью к природе, к ее чудесам и тайнам. Историк, ботаник, страстный коллекционер и любитель птиц, он предоставил заниматься воспитанием детей своей жене. Обладая недюжинными знаниями в области литературы, Тереза Луиза, урожденная баронесса фон Хакстхаузен, сначала обучала детей сама. Кстати, именно она сохранила первые стихотворные опыты старшей дочери, датированные 1804 годом. Можно считать счастливой случайностью то, что барышня из старинного аристократического рода, получила образование такого наполнения, каким могли похвалиться лишь немногие женщины даже ее круга. Аннетта присутствовала на занятиях младших братьев Вернера и Фердинанда с приглашенным домашним учителем. Долгие годы этот старый профессор оставался ее советчиком и литературным авторитетом. Кроме обязательного французского, юным аристократам преподавали также латынь и греческий, математику и естествознание. Голландский, итальянский и английский языки тоже входили в программу. Дядя отца, превосходный органист, преподавал внучатой племяннице теорию музыки и искусство композиции. Мало, кто знает, что Аннетта фон Дросте была не только великой поэтессой, но и незаурядным композитором. Спустя 14 лет после ее смерти, первый биограф Аннетты, Левин Шюкинг, писал: «Она обладала удивительным музыкальным дарованием. Ее фортепьянные фантазии, следуя за свободной мыслью, стремительно неслись мощным неудержимым потоком. Ей никогда не приходило в голову записать эти замечательные импровизации, она давала им отзвучать и затихнуть в сводах замка». К счастью, Шюкинг ошибся — несколько музыкальных произведений поэтессы все же дошли до нас.

В поместье бабки с материнской стороны, часто собиралось молодое и веселое просвещенное общество многочисленных родственников (у матери Аннетты было 11 братьев и сестер). Там 16-летняя поэтесса познакомилась с друзьями своего дяди — братьями Якобом и Вильгельмом Гримм. Для них она начинает собирать сказки и притчи. В посвящении к изданию 1819 года, Вильгельм Гримм благодарит Аннетту за помощь. Творческая атмосфера замка Бёкельдорф, объединяющий всех интерес к литературе и истории страны, положительные отзывы на ее первые произведения — все это, казалось, открывало новый, широкий и интересный мир. Стремление к свободе, открытость и искренность восприятия прорываются в стихотворении

### Unruhe (тревога)\*

Жизнь не жалеет сил, чтобы загнать в ловушку,  
прижать к земле и время вспять пустить.  
Хочу я сохранить свободной душу  
И бесконечность мира ощутить!  
Не затоптать меня слепому стаду,  
Я распрямлюсь и вновь спасусь от них.  
Хоть сердцу этому так мало места надо —  
Вселенная тесна для чувств моих!

В этих стихах — не только желание обнять весь мир, речь здесь — о тисках ограничений, неизбежных для девушки из аристократической среды. Ей хотелось любить, но в 17 лет так трудно разобраться в своих чувствах. Ей, умной, не очень красивой и до заносчивости

гордой девушке, трудно было найти избранника по сердцу. Несчастное стечение обстоятельств — ее пылкое и искреннее дружеское чувство сразу к двум молодым людям, было истолковано превратно и привело к «катастрофе ее молодости». Объединившись в своих задетых самолюбиях, молодые мужчины написали ей жестокое письмо, ославив ее легкомысленной кокеткой. Словно предчувствуя это, пишет Аннетта в 1820 году стихотворение «BLUMENTOD»

### Der Blumentod (смерть цветов)\*

Невольно надломила я цветы,  
Неосторожно прикоснувшись к стеблю.  
И кровь их просочилась сквозь персты,  
Жизнь отцвела, они уже не внемлют.  
Ои склонялись робко предо мной,  
Глаза не смея на меня поднять,  
Но ты в тот миг владел моей душой,  
И мне тогда их было не понять.  
Ни звука не издав, лишились сил,  
И жалоб их не слышала природа.  
Свет этих ликов случай погасил,  
Так исчезают звезды с небосвода.  
Как жаль, что не сумела я сберечь,  
Все то, что вы спасти во мне хотели.  
Куда еще моей дороге течь,  
Когда мечты стать явью не успели.  
Ах, детская жестокость той игры,  
Она как жизнь — страшна и беззаботна  
Ведь закрываем мы глаза охотно  
На то, что наши пальцы зелены.  
Свершилось. Что ж, бывает все на свете.  
Но кто же за грядущее в ответе?

Как непоправимо была тогда ранена ее душа, видно из ее письма к подруге, написанного в 1844 году, спустя почти 25 лет: «Поверьте мне, мы были просто несчастными зверьками, сражающимися за милую нам жизнь, но даже самые лучшие из моих знакомых долгие годы смеялись над моей судьбой, так, что я тысячу раз желала себе смерти. Я была тогда молода, упряма и несчастна Я делала все, что могла, чтобы пробиться к свету». Ее жизнь, раздираемая противоречиями) очень скоро пошла наперекося, то устремляясь вслед за мечтой, то покоряясь обстоятельствам.

### Аннетте от Наташи\*\*

Сестра моя, как туго стянут шелк.  
И тело и душа в корсете этикета,  
Но сильно и легко звучит старинный слог,  
Сияют очи в зеркале портрета.

Я знаю, Бёкельдорф, беседка, полумрак,  
Тепло руки и кружево манжета...  
Пропах дождем его дорожный фрак,  
А у крыльца уж тень кабриолета.  
Потом на башню выйдешь ты одна,  
Сад шепчется с волшебницей-луной,  
Балкон парит, внизу шумит волна,  
Ты, свет неведомый и дивно неземной!  
Весна пришла, о, барышня Хюльсхофф,  
Растений ароматы беспощадны.  
Но знаю я, пока достанет слов,  
Не будут дни темны и безотрадны.

Замуж она так и не вышла. Светские балы и уездные увеселения были ей не нужны. Но вот общества, умного собеседника, порой, очень не хватало. И постепенно ее девичья комната превратилась в стародевичью. Незамужняя женщина того времени была полностью зависима от воли родителей. В сорок лет она все еще должна была спрашивать у матери разрешения съездить в соседний городок за покупками. Когда позволяло здоровье, она совершала пешие прогулки, всякий раз открывая для себя дивный мир природы, луга, долины, заболоченные пустоши. И все это она переносит в свои стихи, язык которых, порой суровый и терпкий, со своеобразным ритмом и, часто, совершенно для того времени новыми сочетаниями слов. В ее стихах — все многообразие природных явлений, нюансов, оттенков красок, звуков, движений во всей их полноте и неповторимости. Историк немецкой литературы Фриц Мартини пишет о лирике Дросте: «Героем ее стихов была сама Природа с ее многоголосием и многоликостью... В стихотворении «DER WEIHER» мы сопереживаем этому миру — настоящему, зримому, слышимому, осязаемому, который существует в стихах органично и просто.

### Der Weiher (пруд )\*

Спокоен он в луче рассвета нежном,  
Так совесть безмятежная чиста.  
Целует бриз в зеркальные уста,  
небрежно приласкав цветок прибрежный.  
Вот над водой трепещет стрекоза,  
Малютка-водомер танцует в упоении,  
Летит кармин, порхает бирюза,  
И солнечные блики в отражении.  
Венчают берег травы над водой,  
Дремотным песням камыша внимая,  
А шелест лип летучий, исчезая,  
нашептывает мне: покой... покой... покой...

После смерти отца и женитьбы брата, Аннетта с матерью и сестрой вынуждены были переехать во вдове поместье матери Вассершлос. Таковы были законы того времени —

брат, как единственный наследник, получал родовое имение со всей обстановкой. Расставание с домом, где каждая вещь имела для нее тысячи оттенков чувств и воспоминаний, тяжело отдавалось в душе Аннетты. Старинный рояль — друг и собеседник, тоже должен был остаться в имении.

## Роялю \*\*

Прощай, мой друг, тебя в последний раз,  
Лаская клавиши, звучать я побудила.  
Как горько-близок расставанья час  
Со всем, что в этом доме я любила.  
О, как порой спасительна была  
Созвучья душ и единенья радость,  
Прохлада кости, силуэт крыла  
И фуги Баха сладостная тяжесть.  
Задует свечи перемен сквозняк.  
Падут на медь их восковые слезы.  
Но будет помнить старый особняк  
Рояля голос и Аннетты грезы.

И как же небогата событиями, скудна поверхность этой жизни! Несколько раз Аннетта гостила у родственников. Дни тянулись однообразно: случайные визиты гостей, поездки к соседям: ее охотно звали, когда нужно было выходить больного или посидеть у постели умирающего. Вечерами она вязала, перебирала гербарий и коллекцию минералов, музицировала, читала, вела переписку. И — писала стихи.

Для чопорной родни ее занятия поэзией выглядели никчемными, но и не предосудительными. Но когда, воспользовавшись окололитературными знакомствами, Дросте отважилась издать сборник стихов, обозначив свое авторство робкими инициалами, в благородном семействе разразился скандал. «Они набросились на меня все сразу, все было объявлено чистойшей блажью, полной околесицей и ерундой. Они не понимают, как это, такая разумная с виду особа могла написать такой вздор и так опозориться?» Маленькое, хрупкое, болезненное, замкнувшееся в себе существо, совсем не Жорж Санд, она отважилась на дебют, пошла наперекор обстоятельствам, чтобы отвоевать право быть собой, а не только принадлежностью светского интерьера. Аннетте шел тогда сорок второй год, она была ровесницей Генриха Гейне, и неизвестно, кто из них раньше начал слагать стихи. Но Аннетта жила в совершенно иной духовной атмосфере и в сорок лет, несомненно, была дебютанткой и поэтому ее первая книга — поступок героический. Но тут на повороте жизни, как бы в награду (а, может быть в отместку?) за смелость, произошло событие счастливое и горестное. Счастливое — ибо она впервые полюбила, горестное — полюбила безнадежно и нелепо, сама боясь себе в этом признаться. Он был моложе на 17 лет — Левин Шюкинг — сын ее рано умершей подруги Катарини. Отдаваясь этому запоздалому и обреченному чувству, она не могла не знать, что это потрясение души станет переломным в ее жизни. Она пытается обмануть судьбу — «дружить» с любимым человеком, догадываясь, что с этой волны, пронизанной солнцем нежности,

она упадет в бездну абсолютного одиночества. Как бы предостерегая Левина от поступка, способного окончательно разбить ее сердце, Аннетта пишет:

«Левин, Левин, ты, проказник, укравший мою душу! Дай тебе Бог сберечь ее!»

А ведь ей еще предстояло «по-матерински» благословить Левина, когда он задумает жениться. Пытаясь направить свою любовь в русло заботы и нежной дружбы, она дает Левину советы по воспитанию детей. После смерти Аннетты Левин Шюкинг издаст ее наследие, опубликует о ней трогательную книгу воспоминаний. Не забудет упрямую и о том, что ему, тогда начинающему литератору, Аннетта помогала писать его первые очерки.

И тут-то, на изломе, в ее поэзии обнажились и засверкали пласты дотоле неизвестные немецкой литературе, зазвучал голос неповторимый и страстный. Читая иные из ее стихов, можно ли догадаться, что их слагала стареющая, смертельно больная женщина? О любви своей она позволила себе лишь обмолвиться, но именно эта любовь придала ее стиху остроту и свежесть восприятия. В стихотворении «AM TURME» как будто чувствуешь свежий соленый бриз с моря, крики чаек и широту горизонта. В них — легкость дыхания, оригинальность

### Am Turme (на башне)\*

На башне стою, мой очерчен балкон  
Кричащею стаей пернатой.  
Волосы ветру ласкать отдаю,  
Свободна, как нимфа Менада.  
Мой юный товарищ,  
Ты дерзок и смел,  
Обнимемся же перед боем  
И локоть о локоть шагнем за предел,  
Чтоб ринуться в схватку с судьбою.  
Прибрежные волны, как шальные псы  
Резвятся в неистовой своре,  
Блестящие брызги хрустально чисты,  
Их мечет бурлящее море.  
Нырнуть бы в коралловый лес  
И скорей — в средину взбесившейся стаи.  
Там морж станет славной добычей моей,  
Трофей из подводного рая.  
Вдруг вижу я с вышки — корабль боевой,  
Чьи вымпелы дерзко трепещут.  
Бросает его над высокой волной  
И флаги воинственно хлещут.  
Ах, если б сжимала я крепко штурвал  
На рыщущем судне мятежном!  
Как чайка летит он сквозь брызжущий вал  
И в гребне купается снежном.  
Могла бы охота меня заманить  
В поля, с егерями лихими.  
Отважным мужчиной могла бы я быть

С душой, не подвластной стихиям.  
Как прежде у башни в плену я останусь,  
Послушная дочь уготованной доли.  
Пусть косы хотя бы свободными станут  
И треплет их ветром на воле!

Современница Айхендофа и Уланда — живых классиков романтической лирики, с их напевностью, слиянием души и ландшафта, как могла она, казалось бы, выделиться? Дросте избрала свой путь — в ее стихах нет сладкоголосой музыкальности, невнятного «томления», они больше похожи на подлинность живой речи, в них безусловность и безошибочность точного наблюдения, непосредственность глубокого чувства. Как не было для нее в вещном мире неинтересных, незначительных предметов, так и в ее лирике не было непоэтичных слов. «Поверь, что нет никчемных слов» — это ее принцип.

Только в конце жизни, став, наконец, известной, Аннетта покупает себе маленький домик на горе, откуда простор Боденского озера сияет во всей своей красе. Убранство этого дома поражает своей миниатюрностью — почти кукольные столы и стулья, маленькие комнатки, узкие лестницы. Но, наконец-то, впервые в жизни, она могла принять «своих» гостей, могла полностью посвятить себя творчеству. Второй, последний сборник ее стихов вышел в 1844 году и стал сенсацией для современников.

С детства слабые легкие Аннетты фон Дросте все чаще вынуждали ее лежать в постели. В конце концов семья настояла на том, чтобы Аннетта переехала к сестре, в замок «последнего рыцаря» графа Йозефа фон Ласберга, за которого Дженни вышла замуж. Туда же, по приглашению графа, приехал Левин Шюкинг, занявшийся приведением в порядок старинной библиотеки. Замокская башня стала ее последним местом пребывания (см. стихотворение «На башне»).

Ей недолго оставалось жить, а писать и того меньше, но за свою творческую жизнь она сумела обогатить немецкую поэзию поистине бесценными открытиями. Она могла бы успеть и больше, сложись ее жизнь иначе. Ее творчество поставили в один ряд с Шелли и Байроном. Но ей слава была уже не нужна. «Сейчас мне не нужна известность, но хочу, чтобы через сто лет меня читали», призналась она в одном из писем.

В России творчество Аннетты фон Дросте-Хюльсхофф известно, в основном, филологам-германистам. Мы уверены, однако, что ее поэзия когда-нибудь найдет своего читателя, выполнив желание поэтессы легко и уверенно.

---

\* переводы с немецкого стихотворений Аннетты фон Дросте-Хюльсхофф Натальи Борисовой

\*\* стихотворения Натальи Борисовой



## Борис КОКОТОВ



*Поэт и переводчик. Родился в 1946 году в Москве. Получил техническое образование, работал научным сотрудником в одном из московских исследовательских институтов.*

*Начало литературной деятельности Кокотова приходится на семидесятые годы, когда появилась его первая книга стихов «Эстампы». С 1991 года живет в г. Балтимор, США. Автор восьми сборников стихов, последний из которых «Смена декораций» вышел из печати в 2012 году (Hanna Press, Baltimore), а также ряда эссе и переводов из немецкой, английской и современной американской поэзии. В частности, ему принадлежит перевод книги «Дикий Ирис» известной американской поэтессы Луизы Глюк (Водолей, М. 2012).*

*Публикуется в периодической прессе США, России, Германии и Израиля, и в ряде коллективных сборников и альманахов: «Всемирный день поэзии», «Неразведенные мосты», «На двенадцати ветрах», «Связь времен», и др. Принимает участие в работе сайта «Век Перевода». Борис Кокотов является членом редколлегии журнала «Гостиная»; состоит в литобъединении «Орлита», входит в состав жюри международного конкурса поэзии им Л. Лосева.*

*Поэт с ярко выраженной индивидуальностью, поэт узнаваемый и запоминающийся, Борис Кокотов относится к тем людям, благодаря которым можно уверенно сказать: русская поэзия не умерла.*

## Глаголы прошедшего времени

### 1

Назначали встречи  
звонили по телефону  
опаздывали на свидание  
ловили такси  
отправляли письма  
целовались  
посещали спектакли  
теряли уверенность  
катались на лодке  
что-то скрывали  
дарили книги  
путешествовали  
слушали музыку

прощались  
ужинали с друзьями  
бродили по улицам и никогда — по лесу  
отказывались понять  
стояли в очереди  
пытались с кем-то советоваться  
делали покупки  
ссорились говорили неправду  
старались скрыть волнение  
не могли дозвониться  
болели  
обедали у родственников  
ожидали звонка встречи письма — чего угодно!  
боялись признаться  
неволью радовались  
улыбались при встрече...

## 2

Дом на Чистых прудах,  
подъезд со двора.  
Здесь когда ни приду —  
конец января.

Те кто раньше тут жили —  
давно не живут,  
а сугробы лежат  
и снежинки снуют.

Странно память устроена:  
ни объятий, ни слов,  
только белое облако  
нерастаявших снов.

Странно память устроена:  
ни обид, ни потерь,  
и не слышно как хлопнула  
за ушедшими дверь...

## Jiminy Peak

Число Эйлера,  
натурально,  
лежит в основании горы,  
с которой пи  
кирует побратим Пи  
фагор.  
Время, свернутое спи  
ралью, стискивает по пи  
тоньи древо пи  
знания.

Summer escape.

*You'll see the beauty of the mountain rise up...*

Зеленые линии воображаемого пространства.

В параллельной реальности  
событие не происходит в привычном нам смысле,  
а прорастает в будущее подобно растению,  
жизнь которого в ускоренном воспроизведении  
есть не что иное как способ  
связывания времени в молекуле углеводорода.

История жизни, рассказанная самому себе  
под бессмысленные аплодисменты случайных зрителей.

Я похож на заклинателя дождя.  
Я вижу образы прошлого,  
но мне не дано понять их значение.  
Я вижу себя на вершине Jiminy Peak  
среди ветра и зеленых линий воображаемого пространства.

Я вижу как растворяется в праздничном воздухе  
одинокая тень.

## Сомнительный результат

У политики «кну́та и пряника»  
есть одно неприятное свойство:  
при перебоях сладкого начинается паника,  
а привычка к битью — остается.

Подобное пробуют лечить подобным  
с весьма сомнительным результатом:  
пряник оказывается несъедобным,  
кнут становится антиквариатом.

## Конец любви

Конец любви — это праздник, который всегда с тобой,  
это иллюзорная свобода от обязательств,  
это, хотя и относительный, но все же покой.

Конец любви — это когда её объект  
начинает выяснять с тобой отношения,  
и они стремительно сходят на нет.

Конец любви застаёт врасплох;  
собственно, как и её начало,  
в чем заключен мучительный парадокс.

Конец любви неочевиден, почти как смерть,  
и отличается от нее лишь степенью безразличия  
к тому, что ещё не успело истлеть.

## Черновики

Черновики: естественный отбор  
созвучий точных, гибкого подтекста.  
Приставкам, суффиксам невыносимо тесно,  
и всяк соседа ест и всем дает отпор.

Черновики, где некий щелкопёр,  
игрою слов, сих тварей бессловесных,  
отравленный, поставил крест на песне  
и смутный мир с незримой карты стёр.

Застывшее- тупик, отставший — обречён:  
в кунсткамере пропитан формалином  
бесформенный поэмы эмбрион.

Не продолжать — нельзя, препоны одолимы!  
Догадок натиск, финишный бросок —  
и жирная черта наискосок.

## Горы. Лес.

Горы думают наши мысли.  
Лес в наши сны погружен.  
Дерево — это зеленая память о свете.  
Камни — такие же люди, как мы.

Просто вера их твёрже.  
Просто век наш короче.

## Лилия АЛЕКСАНДРОВСКАЯ



*Родилась в 1956 году. Окончила Харьковский государственный университет. Ныне преподает английский язык в лингвистической школе International House.*

*До недавних пор не предпринимала серьезных попыток обнародовать ни свои рассказы, ни повесть-сказку «для маленьких и больших читателей», хотя критические отзывы на эти произведения были весьма одобрительны.*

*Публикация в «Зарубежных Задворках» — её печатный дебют.*

## ДВА ВОРА

**П**омрачение ума — непостижимая болезнь. Человек, страдающий телесным недугом, все же остается тем человеком, которого знали до помрачения — если, конечно, страдания не сломят его духа. Умалишенный же перестает жить в одном мире с вами, остается лишь оболочка. Глаза сумасшедшего смотрят в глаза собеседника, но видят что-то иное, его губы произносят слова — но говорит он не с вами, а с кем-то по ту сторону незримой стены, отделяющей его от здешнего мира. Больно и обидно сознавать, что душа дорогого вам человека уже недоступна. И как же трудно с этим смириться!

Каждую вторую субботу месяца я посещал двоюродную тетку Патрицию, что жила в пансионе для состоятельных умалишенных.

Своих детей богатая тетушка не имела. Я числился ее опекуном и наследником. Не подумайте, что ежемесячные визиты вменялись мне в обязанность — напротив, в них не было никакого смысла, ибо Патриция моего присутствия не замечала, а отчеты о ее самочувствии регулярно доставлялись поверенным. Не стоит и упоминать, что в подобном заведении больная ни в чем не нуждалась.

Причиной визитов была моя искренняя привязанность к тетушке. В детстве я предпочитал ее обществу обществу собственной матери, ибо Патриция умела быть ласковой и строгой одновременно — то, чего матери не удавалось никогда. К тому же, должен признаться, тетка изрядно баловала меня, иногда даже в обход родительских запретов.

Я рано лишился отца, и, если бы не участие Патриции, не имел бы никакой возможности получить образование. Она же и нашла мне доходное место по окончании универси-

тета... Да что там говорить! Даже женитьбой я был обязан ей, ибо познакомился с будущей женой в Вене, куда тетушка повезла меня однажды.

Обаяние ее милого лица, ласковая веселость и остроумие исчезли безвозвратно больше десяти лет назад.

В один ужасный день Патриция получила известие о чьей-то смерти. Сначала тетушка упала в обморок, потом слегла, тяжело заболела и стала чахнуть. Никакие врачи помочь не могли, ибо недуг точил душу, а не тело.

Я помню, как в один из последних дней, пока разум Патриции еще не исчез навсегда, я сидел у постели в роскошном особняке, втихомолку глотая слезы.

Подошла сиделка и поднесла больной лекарство. Та отвернула голову к стене и махнула рукой, отказываясь.

— Ну почему, почему? — вскричал я в отчаянии. — Почему ты не хочешь лечиться?

Тетушка повернулась ко мне и сказала:

— Потому что я не могу больше жить.

— Что же, — задыхаясь от жалости, спросил я, — убивает тебя?

— Вина, — тихо ответила она, — тяжкая, невыносимая вина.

Бездонная боль зияла в ее глазах. Расспрашивать дальше я не решился.

Вскоре после того родственникам сообщили, что больная впала в кому. Со дня на день мы ожидали страшного известия.

Но Патриция выжила. Точнее, выжило тело. Умерла ее душа. Очнувшись, она уже никого не узнавала. Бессвязные слова порой слетали с ее уст, но вскоре прекратилось и это.

Когда адвокатский совет назначил меня опекуном, мать, всю жизнь охочая до чужих тайн, получила доступ к тетушкиным письмам. На следующий день она, сверкая глазами от возбуждения, начала рассказывать историю о каком-то офицере, безнадежно влюбленном в Патрицию, которому та отказала из-за грязных слухов о том, что...

Я грубо оборвал рассказ матери. Обсуждать трагедию горячо любимого человека, будто сюжет бульварной книжонки, было невыносимо.

Сам я к этим письмам не прикасался.

С годами чувство утраты притупилось. Раньше каждый мой визит стоил мне невероятных мук. Поначалу я пытался разговорами вернуть Патриции хотя бы проблески разума, приносил фотографии, ее любимые цветы, духи, грампластинки — все было тщетно. Наибольшее, чего мне удавалось достичь — это кратковременно сосредоточенного взгляда, что я иногда получал в ответ. Каждый раз сердце замирало: вот сейчас Патриция улыбнется и скажет что-то... Но вода навеки иссякла в этой пустыне.

За долгие годы я лишь дважды пропустил свои визиты: когда родился мой сын и когда умерла моя мать.

История, которую я хочу рассказать, началась с визита к Патриции.

Стоял тихий осенний день, сонный и пасмурный; в комнате зажгли камин. Тетушка, укутанная в плед, покоилась в кресле возле огня. Сидя напротив нее, я с грустью смотрел на дорогие черты, уже тронутые старостью, и думал о своем.

Вскоре Патриция уснула, откинув голову на высокую спинку кресла. И тут я увидел, что она улыбается во сне.

Точнее, это не была собственно улыбка, а некое невыразимое сочетание блаженства и покоя — то, что зовется безмятежностью.

Замерев, не сводя взгляда с ее лица, я просидел довольно долго. От созерцания меня оторвала сиделка Алиса, вошедшая в комнату.

— Смотрите, — тихо сказал я девушке, — она улыбается!

Алиса подошла и поправила плед.

— Госпожа всегда улыбается во сне, — ответила сиделка столь же тихо. — Просто вы всегда приходите, когда она бодрствует.

Мы вышли из комнаты вместе, разговаривая по пути. В роскошной галерее, что вела к выходу, никого не было. Вскоре Алиса попрощалась и свернула в один из боковых коридоров. Я бездумно проводил ее взглядом...

То, что произошло дальше, застигло меня врасплох.

Внезапно в дальнем конце галереи показался человек и двинулся навстречу. Я успел хорошо его разглядеть.

Незнакомцу было лет пятьдесят. Высокий, видный, с темными, зачесанными назад волосами, одетый в щегольского вида сюртук и белоснежную рубашку, он производил бы очень благоприятное впечатление, если бы не странность походки.

Человек двигался порывистым, размашистым шагом, слегка подсакивая на носках начищенных туфель. Руки он при этом держал перед собой стиснутыми, будто барышня, умоляющая о чем-то. Откиннутая назад голова дергалась в такт шагам.

Было в его повадке что-то столь нелепое, что я невольно посторонился, хотя в галерее свободно могли разойтись и десятеро.

Но, как выяснилось, проходить мимо человек не собирался.

Убыстрив шаг, он внезапно поравнялся со мной и схватил меня за руку.

Темно-серые глаза с расширенными зрачками жадно впились в мое лицо.

Признаться, я опешил. Много лет имея дело с тишайшей Патрицией, я забыл, что сумасшедшие бывают опасны. К тому же, встретить привольно разгуливающего буйнопомешанного здесь, в пансионе, где на каждого пациента приходилось по пять врачей и сиделок, представлялось невероятным.

Незнакомец не дал мне времени опомниться. Крепко держа меня левой рукой, он прижал правую к сердцу, будто принося присягу, и с отчаянием произнес:

— Он обокрал меня! Ограбил! Понимаете? Обокрал!

— Кто? — спросил я помимо воли.

— Сид, мой брат! Ограбил! Обокрал!

Тут я понял, что безумец ожидает второго вопроса. Его глаза молили и торопили, выпрашивая вожденную подачку. Скрюченные пальцы до боли стиснули мое предплечье.

Внезапно я услышал торопливые шаги за спиной и встревоженный голос Алисы:

— Не разговаривайте с ним! Ради Бога! Не спрашивайте его...

Но было уже поздно. Уступив немой мольбе, неосознанный вопрос сорвался с моих уст:

— Что же он украл у вас?

Я жестоко расплатился за неосторожность. То, что последовало, тяжело поразило мое воображение и нервы.

Незнакомец содрогнулся. Глаза закатились, тягучая судорога прошла по телу, выгибая его дугой. Голова запрокидывалась и запрокидывалась назад, пока он, отпустив наконец мою руку, не рухнул навзничь и не забился в конвульсиях.

Вокруг уже суетились люди в белых халатах. Хлопали двери, звонил звонок, кто-то отдавал распоряжения.

Слыхали вы, как силен бывает буйнопомешанный в припадке? Несколько санитаров

пытались поднять моего собеседника и увести прочь, но он не давался им, — отпихивая руками и лягаясь. Ужаснее же всего было то, что при этом он рыдал — громко и отчаянно, как обиженный ребенок..

Кто-то тронул меня сзади за плечо. Я оглянулся и увидел доктора Гарца, доброго старика, что пользовал мою тетушку.

— Уйдемте, — сказал Гарц. — Не думаю, что вам доставляют удовольствие подобные сцены.

Он увлек меня в боковой коридор и ввел в свой кабинет, где я бывал и раньше.

— Закурите, — предложил доктор, — и вот, извольте, выпейте виски. Вам нужно успокоиться.

Я с благодарностью последовал его совету и вскоре почувствовал, что уже могу сообщать.

— Простите нашу беспечность, — сказал Гарц. — Больше года этот человек не покидал своих комнат, и сиделки стали отлучаться без дозволения. Конечно, этого больше не повторится.

— Чего он хотел от меня? — спросил я.

Доктор вздохнул.

— Это очень грустная история, — сказал он и посмотрел на меня с сожалением. — Нет, не грустная. На самом деле она безобразна и непостижима. Вы уверены, что хотите ее услышать?

— Безусловно, — ответил я. — Отчасти просто из любопытства. А еще потому, что лицо этого человека — там, в галерее, — показалось мне смутно знакомым.

— В сущности, историю эту знает весь город, — сказал Гарц задумчиво. — Только она порядком подзабылась... Имя этого человека — Феликс Баллертон.

И тут я вспомнил. Незнакомец сказал: «Он ограбил меня... мой брат Сид». Сид Баллертон! Мой школьный учитель, умница, весельчак и добрейшая душа — Сид, которого любили все, кто когда-либо сталкивался с ним. Я помню боль, которую причинило мне известие, что Сид умер... Но ведь это случилось давным-давно, не меньше восьми лет назад — что же не дает покоя его брату сейчас?

— Теперь я вдвойне заинтригован. Дело в том, что я хорошо знал его брата.

— Я тоже, — ответил Гарц и снова вздохнул. — Я дружил с их отцом, Александром Баллертоном, и был посвящен в семейную тайну. Впрочем, тайны как таковой и не было. Была просто постыдная несуразность, нелепейший случай одержимости. Александр искал моего совета, пытаюсь оправдать поведение сына медицинскими причинами.

— Которого из сыновей? — спросил я и затаил дыхание.

Неожиданно Гарц рассмеялся.

— Не подумайте, что я заговариваюсь или морочу вам голову. Ответ на ваш вопрос таков: старшего сына, Сида.

— Но ведь Сид был младшим в семье! — вскричал я в изумление. — Я помню это совершенно точно: Сид много раз говорил, что у него есть старший брат.

— Что ж, слушайте... — доктор вынул из кармана трубку, неторопливо набил табаком и закурил. — Десять лет после женитьбы Баллертоны не имели детей. Бедная Рената вся извелась. К кому они только не обращались, где только не лечились! Не знаю, что помогло, но, так или иначе, через десять лет у них родился сын, и они назвали его Сидом.

Радость обладания ребенком долго заставляла родителей закрывать глаза на странности поведения мальчика. Собственно, одну странность: он всегда стремился отобрать у



других детей то, чем те дорожили. Заметьте: не то, что они имели, а именно то, что представляло для них ценность. Он отбирал у девочек цветы и рвал их в клочья; отнимал кукол, с которыми играть не собирался, и потому ломал и выбрасывал. Однажды выкрал у соседской девочки котенка, которого та обожала — и безусловно собирался убить, но, слава Богу, подросл отец девочки и котенка отобрал. Ограбить мальчиков было труднее — и Сид дрался, кусался и царапался, чтобы вырвать из чужих рук и уничтожить какую-нибудь совершенно не нужную ему игрушку... Однако на то, что ему самому дарили и покупали, ребенок даже не глядел. Что скажете?

— Странно... Может, ему не хватало родительского участия? — не зная, что подумать, сказал я.

— Напротив! — Гарц горько усмехнулся. — И любви, и участия мальчик имел в избытке. Единственное, в чем можно было бы упрекнуть родителей — это в недостатке строгости. Сиды никогда не наказывали. Однажды отец попробовал поговорить с сыном сурово — на следующий день исчезла его любимая табакерка, а сын поглядывал на отца с таким злорадством, что тот испугался. Испугался — и отступился. Может, не следовало этого так оставлять, но у Баллертона появились новые заботы. Рената опять забеременела.

Сиду исполнилось семь лет. В день его рождения мать, радостно улыбаясь, сообщила сыну, что у него будет братик.

— Мы назовем его Феликсом, — прощепетала она. — Феликс — значит «счастливый». Вы с ним будете играть!

Вот тогда-то ребенок впервые напугал родителей по-настоящему. С ним случился припадок ревности. Сид покраснел, затрясся, сжал кулаки и, потрясая ими в воздухе, начал визжать:

— Нет! Это я — Феликс! Я — «счастливый»! Хочу быть Феликсом! Пусть он будет Сидом!

— Но ведь Сид — означает «король»! — в отчаянии воскликнула мать.

— Вот он пусть и будет королем! — кричал ребенок. — А я хочу быть счастливым! Я — Феликс!

Ошарашенные родители надеялись, что сын успокоится и забудет свою сумасбродную выходку. Напрасно! На следующий день мальчик потребовал, чтобы его называли Феликсом. Он устраивал настоящие истерики, стоило ему услышать имя «Сид». Со страхом мать ловила полные ненависти взгляды, устремленные на ее живот... Она молила Бога о том, чтобы у нее родилась дочь.

Но материнское чутье редко подводит. На свет появился мальчик. Растерянные родители попытались назвать его Гербертом. Куда там! Маленький тиран потребовал, чтобы брата звали Сидом. И столь яростным было это требование, что мать, а следом отец сдались — и, придумав какую-то отговорку о суевериях, поменяли имена в гражданских записях.

Что касается крещения, то здесь они обманули своего старшего сына: потихоньку, под видом визита к врачу, отец отнес новорожденного в церковь и окрестил Феликсом. По малолетству Сид ничего не заподозрил.

Казалось бы, добившись своего, пакостник должен был успокоиться? Ничуть не бывало. С рождением младшего брата — теперь я буду звать его Сидом — Феликс будто сошел с ума. Жизнь в доме превратилась в ад.

Поверьте мне, я это видел. Трудно поверить в то, что маленький ребенок способен к ненависти, подобной той, что сосредоточилась на беззащитном маленьком брате. Знакомые дети вздохнули с облегчением: теперь Феликсу было не до них. Он даже гулять выхо-

дить перестал. Гувернантка, не выдержав грубостей подопечного, уволилась. А мать рыдала день и ночь.

Ибо поведение Феликса стало невыносимым. У кровати новорожденного приходилось дежурить: все погремушки, соски, игрушки не просто ломались, а уничтожались с остервенелой яростью. Не раз постель ребенка оказывалась залитой помоями. Однажды старший брат поймал в саду жабу, потихоньку принес и бросил младшему в лицо.

Но самое страшное началось, как только младенец стал улыбаться. Скажите мне: вы помните улыбку Сиды?

— Да, помню, — ответил я. — Она и сейчас стоит у меня перед глазами. В ней было столько радости! Он будто делился своим счастьем со всеми вокруг.

— Да, мне тоже не приходилось видеть ничего подобного. Так вот... Однажды, воспользовавшись отсутствием няньки, Феликс прокрался в детскую и начал, как всегда, ломать игрушки. И вдруг он услышал тихий смех. В ярости он обернулся и увидел, как младший брат протягивает к нему ручонки и улыбается... Вбежавшая в комнату нянька схватила руку, размахнувшуюся, чтобы ударить.

На следующий день отец привел Феликса ко мне. Но я не сумел помочь мальчику тогда. За исключением крайней взвинченности нервов, с ним было все в порядке. Он стал моим пациентом много позже — точнее, после смерти Сиды.

Представляете, каково жилось Баллертонам? Постоянное напряжение, ожидание новой беды — и полная безнадежность. Во всем доме был только один человек, который все время улыбался. Человек, родившийся счастливым. Боже мой, как Сид умел радоваться! Он улыбался солнцу, цветам, птицам, подставлял лицо под струи дождя и ловил языком снежинки. Разговаривал с животными и обнимал деревья. В каждом из людей он видел родную душу... и даже Феликса любил.

Так прошло несколько лет. Однажды преподаватель музыки, учивший старшего брата, посадил за рояль младшего. Несколько уроков выявили недюжинный талант. «Сиду нужно учиться, — сказал учитель. — Он может стать музыкантом». Надо ли говорить, что в тот же вечер рояль был сломан, струны изрезаны, клавиши изрублены топором? Утаив истину от преподавателя, Баллертоны ему отказали.

Когда Сид вырос, он пошел в гимназию, где учился Феликс.

Младший брат оказался намного способнее и сообразительнее старшего. О, что тут началось! Феликс наущничал учителям, стремясь очернить Сиды, потихоньку марал его тетрадки, а однажды украл часы у директора и подбросил в портфель брата. Когда по доносу Феликса пропажа нашлась, младшего исключили из гимназии. Это был один из счастливейших дней в жизни моего пациента.

Но Сид продолжал улыбаться. В новой гимназии никто не портил ему жизнь, и он быстро выбился в первые ученики. Правда, порой директор и учителя получали странные анонимные письма с грамматическими ошибками, но их никто не принимал всерьез.

С годами хитрость Феликса изощрялась. Понимая, каким образом можно нагадить брату серьезнее всего, он выучился на адвоката. За несколько лет практики Феликс приобрел репутацию человека, не обремененного соображениями морали. Ему доводилось добиваться оправдательного приговора для отпетых мошенников и даже убийц.

Сид же, не мудрствуя лукаво, поступил в педагогический коллеж: он любил детей и умел заставить их слушать.

— Да, вы правы! — не сдержавшись, перебил я рассказчика. — В жизни своей я не встречал лучшего учителя! Входя в класс, он с порога улыбался, радостно и немного зага-

дочно, словно говоря: «А у меня для вас сюрприз!» Сюрпризом был он сам, его незабываемые уроки, веселые, интересные и посылно сложные. Я никогда не любил математики, ибо не имел склонности к точным наукам — но обожал Сиду, и получал свою справедливую отметку «удовлетворительно» охотнее, чем незаслуженное «отлично» у другого учителя. Кажется, теперь я понимаю, почему Сид проработал в нашей школе всего два года...

— Конечно, это была забота его братца, — горько усмехнувшись, продолжал Гарц. — За вашей школой последовала другая, из которой он вылетел еще быстрее, потом третья... Думаю, что простых доносов не хватало — уж очень любили Сиду ученики и коллеги, — поэтому Феликс придумал шантажировать директоров, а те уже обвиняли Баллертона в какой-нибудь нелепице и увольняли его. Сид никогда не оправдывался, ободряюще улыбался рыдающим детям и уходил. В конце концов он уехал в провинцию и стал учить в церковно-приходской школе. Вот уж где понадобилось настоящее искусство адвоката! Попробуйте-ка очернить человека, работающего задаром, только за скромный стол и каморку в школьном здании! Феликс попытался было купить лжесвидетелей того, что Сид якобы пытается соблазнять девочек. В ответ поднялась буря негодования: весь приход восстал на защиту своего любимца. Тогда господин адвокат, ничтоже сумняшеся, добился закрытия школы — связи у него были огромные.

— Да ведь он действительно сумасшедший! — воскликнул я в отчаянии. Мне было до слез жаль Сиду.

— В то время Феликс еще не был сумасшедшим, — задумчиво произнес Гарц. — Мы, медики, называем это навязчивой идеей, одержимостью... Но лишь Господь Бог знает, когда она перерастает в истинное безумие.

Так вот... Сиду ничего не оставалось, как вернуться к матери — отца к тому времени уже не было в живых — и зарабатывать частными уроками. Кстати, об отце. Александр был далеко не бедным человеком. И завещание оставил, чин чином, на обоих сыновей. Не знаю, как именно старший брат сделал себя единственным наследником, но ему это удалось. Сид не получил ничего. Мать, желая хоть как-то защитить младшего, обратилась за помощью ко мне. Я помог Ренате отписать Сиду отчий дом и кое-какую ренту, принадлежавшую лично ей, причем сделал это через солидную страховую компанию, опасаясь, что в один прекрасный день дом может внезапно сгореть. Представляю, как бесился наш адвокат! Впрочем, вскорости он нашел, где и как взять реванш.

Вы уже, наверное, догадались, что речь пойдет о делах сердечных? А дела эти доставляли Феликсу много хлопот, ибо наш Сид никогда не был обделен женским вниманием. Вы видели обоих братьев, можно ли их сравнить? Обладая известным сходством — ведь вы сегодня это подметили, правда? — братья все-таки были совершенно разными. Старший — рослый, осанистый, с правильными чертами лица, с приятными манерами, и, если не заглядывать в глаза, весьма благообразный. О, Феликс умел обворожить женщину! Но, поверьте, не надолго... Младший — невысокого роста, щуплый, немного сутулый, с непослушными русыми волосами, в очках. Глянешь — и тут же забудешь... если он тебе не улыбнется. А уж если заговорит! Помимо невероятного обаяния, Сид обладал еще редкого тембра голосом, совершенно завораживавшим женщин.

Двух или трех влюбленных в брата девиц Феликс искусно спровадил, наговорив им пакостей. «Я, как старший брат, вынужден предостеречь вас, пока не случилось непоправимого... пагубная страсть... постыдный секрет семьи... поверьте, мне так жаль, но лучше предупредить...» Потом попала женщина, которая не поверила рассказам. Ее звали Лора, и она влюбилась в Сиду страстно и, казалось, бесповоротно. С ней негодяю пришлось

повозиться! Анонимные письма не помогли, подкупленные подружки тоже не убедили. Тогда Феликс пошел ва-банк и стал ухаживать за Лорой сам. Ухаживать красиво, широко, с роскошными ресторанами, театрами и бриллиантами. Потом сделал ей предложение — и она сдалась.

— Неужели женился? — ахнул я.

— Нет, конечно! Как только Лора отвернулась от Сида, Феликс отвернулся от нее. Сид продолжал улыбаться: таких, как Лора, было много.

— Пойдите-ка, — перебил я доктора. — Я однажды встретил Сида с девушкой потрясающей красоты. Они держались за руки и выглядели совершенно счастливыми...

— Вы нетерпеливы, — мягко упрекнул меня Гарц. — Я как раз собирался рассказать вам о величайшем камне преткновения в жизни братьев. Труднейшая победа Феликса, в которой Сид посрамил его... Нелепо? Сейчас поясню.

Дениза была дочерью мирового судьи, богатого и влиятельного человека. Помимо красоты, она отличалась тонким умом и независимостью суждений. Феликс решил, что женится на Денизе, и пустил в ход обычный арсенал, используемый для покорения женщин. Девушка вышла с ним в свет лишь один раз: Феликс повел ее в театр, где в антракте оба нос к носу столкнулись с Сидом. Поскольку брата сопровождала мать, уклониться от знакомства не удалось. Дениза внимательно посмотрела на Сида, а тот улыбнулся ей в ответ.

Этого хватило. Через месяц весь город обсуждал новость: первая городская красавица выходит замуж за бедного учителя.

Представляете, что творилось в душе Феликса? Мерзавка, которую он хотел осчастливить, открыто предпочла его злейшего врага! Феликс перестал спать по ночам. Потратил уйму денег, чтобы сфабриковать дело против брата. Тщетно! Оно лопнуло, как мыльный пузырь, стоило полиции навести простейшие справки о Сиде... К тому времени в нашем городе, достаточно маленьком, все уже знали о вражде двух братьев. Очень мало кто поддерживал старшего, все сочувствовали младшему.

— Да, я помню, как мать и тетя Патриция обсуждали это, — сказал я. — Мне, по молодости лет, подобное казалось неинтересным.

— Феликс не сдавался, — продолжал Гарц. — Попытался шантажировать судью — и чуть не лишился своего места: судья был не из пугливых. Распространял грязные сплетни — им никто не верил. Так минуло полгода. Адвокат извелся, исхудал, перестал следить за своей внешностью. Между тем день свадьбы неумолимо приближался.

Письмо с приглашением, доставленное ему нарочным, взбесило Феликса сверх всякой меры; с ним случился припадок. Он выл и катался по полу... Зато, когда пришел в себя, понял, что надо делать. Он отправил ответ с пометкой: «Жениху лично в руки». На красочном бланке чернели слова: «Если ты женишься на ней, она умрет. Ты знаешь, что так и будет».

Сид знал, что так и будет. Братец не бросал угроз на ветер, к тому же водился с разными людьми, вероятно, даже и с головорезами. Да, мысль о том, что Феликс способен на убийство, была дика, невероятна, но Сид слишком любил Денизу, чтобы рисковать ее жизнью. Что ему оставалось делать? Расстаться с любимой — и только. Но бросить невесту накануне свадьбы значило унижить ее, опозорить. Поэтому Сид обратился ко мне, и мы придумали ему неизлечимую болезнь, по причине которой женитьбу следовало отменить. Как вы знаете, я — психотерапевт, а сумасшедшим Сид не хотел быть даже по навету, поэтому я отвел его к своему коллеге-терапевту и посвятил того в замысел. Втроем мы изобрели приемлемый недуг и сообщили страшную новость невесте.

Бедная Дениза! Как самоотверженно она заявила, что не откажется от любимого, даже если жить ему остается совсем немного! Никаких истерик, ни малейшего сомнения — с отчаянием в глазах, но с улыбкой на устах девушка заявила, что посвятит свою жизнь тому, чтобы попытаться вылечить Сиду. Знай она правду — и тогда, наверное, не отступилась бы.

И тогда Сид рассказал о своей болезни родителям невесты. Расчет оказался верен: свадьбу отменили, причину объявили, Денизу увезли в длительное путешествие, а весь город судачил о злой судьбе—разлучнице.

— Почему же вы сказали, что Сид посрамил брата в этой истории? — недоуменно спросил я. — Ведь злодейство, получается, восторжествовало!

— Посрамил, и самым коварным — с точки зрения Феликса — образом! — хмыкнул Гарц. — Дело в том, что Сид не просто продолжал улыбаться — он стал улыбаться еще счастливее, если только это возможно. Старший брат не верил своим глазам. Он следил за младшим, жаждая упиться победой, увидеть опухшие от слез глаза, потупленный взор. Тщетно! Сид был счастлив уже тем, что помог любимой избежать опасности. И через год—другой, когда Дениза пошла под венец с красивым молодым полковником, никого в городе не было веселее Сиды: он радовался ее счастью...

Вот такой это был человек. Между тем годы шли, жизнь продолжалась. Ни один из братьев так и не женился. Сид жил с матерью до самой ее смерти, а затем продал дом и поселился в скромной квартирке в предместье. Продолжая зарабатывать частными уроками, он еще находил время бесплатно учить бедных детей в слободке неподалеку от дома.

Для Феликса настали тяжелые времена. Сид жил так тихо и незаметно, что у него и отнимать-то было нечего. Представляете, какая досада! Скучота! Ну, оговорил брата перед двумя-тремя учениками — так не поверили же! Все уже знали, что к чему. Посулил горы золота Аннете, старой служанке Сиды, чтобы та его покинула — и услышал от нее хоть немного правды о себе.

Феликс озлобился, стал кидаться на знакомых и грубить клиентам.

Однажды Сид пришел ко мне домой. Он был очень грустен, но улыбался. С собой он привел собаку, великолепного сеттера, слегка хромавшего на правую переднюю лапу.

— Пожалуйста, возьмите к себе это сокровище, — попросил он. — Его зовут Тоби. Я нашел беднягу в лесу, у дороги. Пес умирал — по-видимому, его сбила машина. Я принес его домой и выходил, но теперь он здоров, и ему нужно гулять...

Сид замолчал, умоляюще глядя на меня.

— Нужно гулять? — спросил я, хотя и догадывался, к чему он клонит.

— Но ведь дом твой стоит в саду!

Сид сглотнул и посмотрел в сторону.

— В саду Тоби увидят, — сказал он с трудом. — Я не хочу, чтобы с ним снова что-то случилось!

Я понял. Горячая волна негодования поднялась в моем сердце.

— Сид! — вскричал я. — Как ты можешь это терпеть? Ну, сделай же хоть что-нибудь, не будь таким безропотным!

— Что? — горько усмехнулся Сид. — Драться с ним, что ли?

— Уезжай отсюда! — воскликнул я. — Тайком, никому ничего не говоря. Подальше, на край света!

— Он последует за мной повсюду, — ответил Сид. — К тому же, представляете, как его это взбудоражит! Его рассудок может не выдержать.

Я обмер. Этот недотепа еще и заботится о своем палаче!

— Он мой брат, — мягко, как бы извиняясь, ответил Сид. — У меня больше никого нет. К тому же он так несчастлив! Кому же его пожалеть, как не мне?

Таков был наш Сид, золотая душа. Конечно, я оставил собаку у себя. Мои дети очень полюбили Тоби, и он прожил у нас долго... дольше, чем человек, подаривший нам его.

Доктор замолчал и задумался.

— Отчего умер Сид? — спросил я, понимая, что рассказ близится к концу. — Припоминаю, что-то внезапное? Неужели нельзя было его спасти?

— Я предупреждал вас, что это — грязная, безобразная история, — с внезапной болью сказал Гарц. — Я не могу об этом вспоминать без слез... В том-то и дело, что спасти Сида мог бы и самый заурядный врач. Но Феликс решил отнять у брата единственное, что у того оставалось — жизнь. Случилось это так.

Однажды вечером ко мне прибежала старая Аннета, служанка Сида.

— Господин в больнице! — сообщила она, всхлипывая. — Уже три дня, и ему все хуже. От него все врачи отказываются!

Предчувствуя что-то страшное, я бросился разыскивать Сида. Того, что мне удалось узнать, я по сей день не рассказывал никому: мне стыдно за своих коллег, врачей...

Я нашел Сида в общей палате больницы для бедных. Он не узнал меня: температура за сорок, беспомощность. Кинувшись искать доктора, я наткнулся на полное неведение: Баллертон? Кто это? Откуда? Что, в нашей палате? Ах, тот, которого доставили из другой клиники! Так его брат заявил, что не доверяет нам и привезет своего врача из столицы.

Подозревая чудовищную правду, я, однако, не стал терять времени на выяснение. Послал за своим другом, хирургом, а пока ждал его, деньгами и уговорами добился для больного отдельной палаты и разрешения на операцию.

Приехавший коллега осмотрел Сида и схватился за голову. Перитонит! Три дня назад — обычный аппендицит, который мог удалить любой мало-мальски подготовленный врач. Теперь — один шанс из тысячи...

Полночи длилась операция. Плохое освещение и отсутствие стерильности делали и этот шанс, один из тысячи, ничтожным.

Я ждал в грязном коридоре. Аннета, рыдая, рассказала мне все с начала. То, чего она не знала, я понял сам.

Почувствовав боль в животе, Сид не сразу, но все же обратился к доктору, чьего имени я вам не назову, ибо он практикует и поныне. Не хочу сводить счеты... Врач положил его в хорошую больницу — и сообщил ближайшему родственнику, что необходима операция. Ближайшим родственником оказался его брат. Надо ли говорить, с какой поспешностью примчался Феликс! А врач, собиравшийся делать операцию, внезапно заболел сам. Думаю, сумма взятки оказалась столь приличной, что он забыл сообщить о диагнозе другому лекарю...

Так был потерян день. Через сутки Сиду стало совсем худо, и он взмолился о помощи. Опять подготовка к операции — и опять отсрочка: у доктора срочно и тяжело заболела жена. Аннета хотела уведомить меня еще тогда, но Феликс, клянясь памятью матери, уверил ее, что тотчас же привезет лучшего врача...

На третий день Сид метался в жару, но все же еще не был так плох. Дежурный хирург — честный человек — стал готовить Сида к операции. Феликс, улыбаясь, приблизился к нему (Аннета это видела), но через минуту убежал, потрясая кулаками. А через полчаса, на пороге операционной, врач был арестован по несуразному, лишенному вся-

кого смысла, обвинению. Позже выяснилось, что в тот же вечер его отпустили, рассыпаясь в извинениях... Но его пациента в палате почему-то не оказалось. Заявив, что в этой больнице помощи вовек не дождешься, ближайший родственник забрал больного в другую — как я уже говорил, беднейшую и грязнейшую.

После операции Сид прожил два дня. Общее заражение крови. Я почти не отходил от него, и у меня была компания. Так же неотлучно у постели сидел Феликс. Он весь лучился счастьем.

Я был слишком подавлен, чтобы разговаривать с ним. Да и был ли в этом смысл? Что толку пенять бешеной собаке на ее болезнь?

Перед смертью Сид пришел в себя. Узнал меня, пожал мне руку ледяными пальцами. И улыбнулся. Эта улыбка до сих пор рвет мне душу...

Затем скосил глаза и увидел стоящего у постели Феликса. Злодей весь напрягся, впился глазами в его лицо — один Бог знает, чего он ждал с такой жадностью! Но только не того, что получил.

— Феликс... — чуть слышно произнес Сид, — прости меня, Феликс...

И улыбнулся — ласково и виновато.

Феликс замер. Окаменел. Перестал дышать — и продолжал стоять, в то время как я, закрыв глаза Сиду и перекрестившись, сидел и смотрел на него, глотая слезы. Лицо покойника преобразилось. Черты разгладились, и невыразимое умиротворение проявилось во всем его облике. Это была самая счастливая из улыбок — она выражала покой.

Доктор Гарц умолк. Я тоже молчал. Молчал и думал, что чуть больше часа назад видел подобную улыбку — у человека, столь же чистого душой, как Сид, и тоже покойного... наполовину.

Гарц очнулся, привстал и включил лампу.

— Вот, собственно, и все, — сказал он со вздохом. — Безумие охватило Феликса еще у постели умершего. Выйдя из палаты, он подошел ко мне и впервые сообщил, что Сид ограбил его. С тех пор он только это и говорит.

— И все же, — полюбопытствовал я, — что, как он полагает, младший брат украл у него?

— Одному Богу известно, — пожал плечами доктор. — Судя по поведению Феликса, он и сам не знает. Покой? Смысл жизни? А может, мы недооцениваем его, и в глубине души он сознает, как низко пал — в таком случае он винит Сиду в своем несчастье. Так или иначе, Феликс уже никогда не получит ответа на свой вопрос.

...Выйдя на улицу, я расправил плечи и глубоко вдохнул сырой воздух. Темнело, моросил дождь. Сумрачно было в городе, и так же сумрачно было у меня на душе. Да, не следовало мне слушать эту историю. Я никогда не забуду ее, и она будет мучить меня, как все непостижимое.

## Дмитрий СМИРНОВ-САДОВСКИЙ



*Дмитрий Николаевич Смирнов-Садовский родился в Минске, в 1948 году. Писал музыку и стихи с детских лет и, окончив Московскую консерваторию в 1972, стал профессиональным композитором. Лет с 16 увлёкся переводами английских поэтов, но переводил также с немецкого, французского, шотландского, латинского и японского. Главное увлечение — поэзия Уильяма Блейка, ранние произведения которого перевел полностью. На сюжеты Блейка написал две оперы, балет, ораторию, симфонию, вокальные циклы и т. д. — всего более 30 музыкальных сочинений. Любовь к творчеству Блейка привела Дмитрия Смирнова в Англию, где он живет с 1991 года.*

*Музыка Дмитрия Смирнова известна во всем мире. В январе 2012 года Чикагский симфонический оркестр под управлением Рикардо Мути впервые в мире исполнил его «Космическую одиссею», с восторгом принятую публикой.*

## ВОСЬМИСТИШИЯ

*23 восьмистишия, которые охватывают  
32 года моей жизни с 1981 по 2013*

### 1. Друг

Был друг, как друг,  
Был круг, как круг,  
И вдруг — овраг  
И мрак вокруг,

И вдруг — острог,  
И вдруг — барак.  
Постиг я вдруг,  
Что друг мой — враг!

### 2. Рига

В Риге холодно. В номере-кубике  
Неуютная тянется ночь —  
Проводили такую точь-в-точь  
Мы в «Адольфа»\* болезненном кубике.



Не болей, моя милая дочь,  
Завернись в эту красную тунику,  
Пусть минуты, как тёртые тугрики,  
Незаметно уносятся прочь.

### 3. Мнемозина

Это что за образина,  
Ведьма, леший, домовой? —  
Это бабка Мнемозина  
Наклонилась надо мной;

Безобразная старуха  
Навалилась мне на грудь  
И горланит прямо в ухо:  
«Вспомни, вспомни что-нибудь!»

### 4. Весенняя соната

Когда щегла и лист бамбука  
Изображает Хokusай,  
Мы слышим ласковые звуки  
и понимаем — это май.

Так флейты тихое журчанье  
И клавиш лёгкий перестук  
Щегла рисует ликованье  
И зеленеющий бамбук.

### 5. Мстиславу Ростроповичу. Прощание

О, звуков чародей, маэстро Слава,  
Какой вулкан неистовый угас!  
Но музыки твоей волнующая лава  
Еще охватывает нас.

Ты был для музыки поющею душою,  
Чем был бы без тебя двадцатый век?  
И как нам быть с утратою такую?  
Прощай, великий, славный человек!

---

\* Название трофейного корабля, переименованного в «Победу».

## 6. На Пюшкына

Ах ты, Пюшкын! Ах ты, Саша!  
Штош ты снова аплашал?  
Вэдь мэня Рассыя наша  
Трэтым лыдером ызбрал!

А тэбя Рассыя наша  
На чэтвортый аттэсныл!  
И сапог твой просыт каша,  
И усы не аттрастыл!

## 7. Вадиму Молодому

Я список твой прочёл до середины  
И очутился в сумрачном лесу  
Меж Перелешина и Черубины;  
К Поплавскому ли очи вознесу,  
На Бродского ль наткнусь во тьме долины,  
На Клюева ль таращусь полосу —  
Нигде не нахожу небесной манны:  
Бориса, Осипа, Марины, Анны...

## 8-12 . Читая Басё

I.

*бородой тряся осенней, воеет  
вихрь: кто там грустит? что за дитя?*

Ветер бороду ль развеваает,  
Борода ль развеваает ветер —  
Кто об этом хоть что-то знает  
Здесь, на этом, на том ли свете?

Ветер стонет и завывает,  
И, взмывая, взывает ветер:  
Не грусти, дитя, — заклиняет, —  
Ни на том, ни на этом свете!

## II.

*почти полнолуние, а мне  
без года сорок — ещё ребёнок!*

В сорок лет, как говорил Конфуций,  
К цели ты пойдёшь без промедления,  
Коль не сгинешь в жерле экзекуций,  
Коль отбросишь куцые сомнения.

Посмотрел на небо Мунэфуса:  
Эй, Луна, великая ведунья,  
Сколько мне ходить ещё безусым?  
Сколько дней тебе до полнолуния?

## III.

*бедный горный храм,  
ледяной чугунный чан — жалобный голос*

Брёл самурай горами,  
Нёс меч он, лук и колчан,  
В бедном нашёл он храме  
Ржавый чугунный чан,

Чан никуда не годный —  
Стукнул его бородач,  
И голос слышит холодный,  
Жалобный, словно плач...

## IV.

*жить в этом мире, словно дождь  
переждать — как сказал Соги*

Пусто стало в кувшине,  
Гну я спину давно,  
И зовут меня ныне  
Касацукури-но;\*

Вслед за мудрым поэтом  
Повторю-ка опять:  
Жизнь прожить в мире этом —  
Точно дождь переждать.

---

\*Касацукури-но — Мастер-Шляпочник.

V.

*одеяло моё —  
словно снежная гора страны далёкой.*

Что тарачишься, месяц, ты? —  
Нам не спать до утра!  
Точно камень увесистый  
Одеяла гора;

Будто в тёплом сугробе я  
Той империи снов,  
Где дворцы и надгробия  
Тонут в море снегов.

## 13-15. Ганноверские триолеты

I.

На заспанный ночной Ганновер  
Мы смотрим из окна «Атланты»,  
Как будто зяблики-мигранты,  
Мы смотрим на ночной Ганновер.  
Здесь холодно, надень пуловер  
И шаль набрось на кардиган ты,  
И мы посмотрим на Ганновер  
Не только из окна «Атланты».

II.

Алиса, ты в стране чудес?  
Или во сне каком-то странном,  
И слышится в кафешантанном  
Напеве: «Ты в стране чудес!»  
Здесь осень выкрасила лес  
Особым цветом первозданным  
Так, словно ты в стране чудес  
Или во сне каком-то странном.

III.

Властитель грозный Кубла Хан,  
Пример великого упорства, —  
С победой из единоборства  
Не раз ты вышел, Кубла Хан;

В духане ел ты дастархан,  
Пока не умер от обжорства, —  
Знать, не всегда твоё упорство  
Тебе на пользу, Кубла Хан!

## 16. О Вечности

О Вечность, Ewigkeit, Eternity,  
Развеяв детские мечты,  
Ты с высоты своей низвергнута —  
Былинка в Царстве Пустоты!

О Бесконечности Вселенная,  
О необъятный сонм светил,  
Знай, Человек рукою тленною  
Твои границы очертил...

## 17-18. Разговоры с О. М.

I.

*«Господи!», сказал я по ошибке...*

«Господи!» — и вспомнил Мандельштама,  
Только слово это произнёс,  
И под своды неземного храма  
Птицею взмывает мой вопрос,

Но во мгле я ничего не вижу,  
Страхом запечатаны уста...  
Будет ли тот милый купол ближе,  
Если клетка станет вдруг пуста?

II.

*Но музыка от бездны не спасет!..*

Спасёт ли музыка от бездны?  
Не тешь себя — надежды нет,  
Уйдёт навеки в мир беззвездный  
И композитор, и поэт...

Нет избавленья для Орфея —  
Страшнее лагеря Аид,  
Где фурий стража, свирипея,  
Над ним суровый суд творит.

## 19.

Это будет быстрее, чем мы думаем,  
Пролетит наша вечность за миг,  
И, подобно египетским мумиям,  
Мы покинем родной материк,  
Но пока паучок над надгробием  
Не плетёт серебристую нить...  
Время есть — так давай же попробуем  
В Вечность нашу секунду вместить.

## 20.

Мотив натянут тетивой,  
С другим сплетается мотивом —  
То бьются в схватке огневой,  
То вьются в танце прихотливом,  
Один свергается на дно,  
Другой за ним в провал катится,  
И вдруг сливаются в одно,  
И в небеса взмывает птица.

## 21. Мама

Она жива... в моё воображенье  
Она войдёт и встанет в стороне,  
И что-то тихо скажет, и рукой,  
Погладит ласково, и вдруг исчезнет...  
Жива она? Иль это только сон?  
Я знаю — нет её давно на свете;  
Но что такое смерть — кто объяснит?  
И как смириться с нею — кто научит?..

## 22.

Неужто 21-й на дворе?  
Да, время уползает, точно змейка,  
Но не тону в отчаянной хандре,  
Стихи читаю, то Басё, то Блейка,  
Вот Леонардо со стены глядит,  
И Моцарта я всё такой же пленник,  
И мысль о будущем не тяготит,  
Когда мне в прошлом каждый — современник.

## 23.

На Берегу Слоновой Кости,  
В объятьях полногрудой Грейс,  
Князь на обломок тонкой трости  
Наматывал свой длинный пейс,  
А вдалеке его Держава  
С сенильной ломотой в кости  
Дрожала и скрипела ржаво  
В конце бесславного Пути...

## Екатерина САДУР



Я родилась в Новосибирске, где и прожила до 12 лет. С детства слышала стихи Александра Денисенко, Ивана Овчинникова, Евгения Харитонов и Анатолия Маковского. Всех их впоследствии стали называть «Сибирской школой поэзии», некоторые исследователи относят к ней и Харитонову. Сам же он писал о себе так:

Одни товарищи в первой десятке,  
другие пропали,  
а шли наравне.  
Гении, вдаль. Споемся. Кто что вытянет.  
Ваня, ратуй за лодки.  
Толик, не стоит в Москву насовсем.  
Гнезятся звезды на родине.  
В гнезде три звезды  
и в этом свете я.  
Ваня Толик Денис.

Думаю, что и я по большому счёту, отношусь к ним, хотя не пишу поэзию... И, конечно же, к ним, в юности относилась и моя блистательная мать — писатель Нина Садур... Во всяком случае — литературная преемственность у меня, конечно же, от них...

В 1985 г. наша семья, состоящая из бабушки, мамы и меня, уехала в Москву. Если быть точной, то на тот момент моя мама, Нина Садур, уже жила в Москве, и мы переехали к ней. Окончив французскую спецшколу в 1990, я сразу же поступила в Литературный институт на семинар драматургии Виктора Сергеевича Розова, правда, пьесы стала писать уже после института. Ходила на семинары прозы, диплом защищала романом «Из тени в свет перелетая». Публиковала прозу в журналах «Стрелец», «Знамя», «Новая юность», «Дружба народов» и других. Потом вышла моя первая книга прозы «Праздник старух на море» в Вологде. Роман «Воздух» был выпущен издательством «Лимбус-пресс» в Петербурге. Потом пошли разные литературные премии, среди которых был «Дебют» от «Знамени» году в 95-ом, «Малый Триумф» от Богуславской тоже в конце 90-ых, году в 98-ом, после выхода в «Дружбе народов» моей повести «Праздник старух на море», потом была премия и стипендия Альфреда Тёпфера, которую называли «малой Пушкинской премией», сейчас уже не помню точных дат, но большую в тот год получил Юз Алешковский... К премиям отношусь спокойно, почти равнодушно, больше интересуется возможность публикаций и театральных постановок.

Пьесы «Учитель ритмики» и «Соль» неоднократно шла в театрах Москвы, Петербурга, Тольятти. Пьесы «Толпа одиноких» и «Неприрученные звери» участвовали в театральных семинарах и были представлены режиссерами и актерами в виде постановочных читок. Проза переводилась на немец-

кий, финский, английский и шведский языки. Издательство «Suhrkamp», одно из крупнейших в германоязычном мире, выпустило мою повесть «Перелетные роботы» в Германии, а издательство «Восток» — «Праздник старух на море».

После этого какое-то время в Германии даже была известность, равно, как и в России.

Сейчас по-прежнему очень интересуюсь театром, литературой и детской литературой, пишу уже много лет подряд детский роман «Боги и звери», считаю его самым важным из того, что я написала. Детская литература всегда очень интересовала меня, и о себе самой я часто говорила, что «если бы была лучше, писала бы для детей...»

Иногда пишу стихи и играю в спектаклях.

## КОРОТКИЕ ЗАПИСКИ ПОСЛЕ SCHAUBUHNE

### 1

**Т**олько что вернулись из Schaubuhne, с «Гамлета» Томаса Остермайера. Да, в России, как ни страшно это писать, театр в агонии. Здесь — живёт...

Вы можете принимать эти формы и этот ИХ ЕВРОПЕЙСКИЙ НЕМЕЦКИЙ язык или не принимать, но театр здесь есть...

А у нас — только копии с внешних форм, или копии с копий, симулякры, потерявшие связь с оригиналом.

О «Гамлете» Томаса Остермайера напишу завтра.

Очень устала от ожиданий и их подтверждений, — как прекрасных, так и печальных..

Печально — это то, чем стал наш театр.

Если речь идёт о традиционной русской школе, то это, как правило, только копия с классической формы, смутное представление о том, каким раньше был русский театр, плохо или хорошо скроенный новодел, который выдают за антиквариат. Но театр — это, возможно, единственное из искусств, которое остро и мгновенно реагирует на время. Театр невозможно зафиксировать, он меняется вместе со временем, и если вы видите запись спектакля на плёнке или на видео — то это только отблеск, только намёк на то, что произошло когда-то, в определённое мгновение. Если художник работает в традиционном театре, то нужно новое наполнение, эстетическое обоснование и подтверждение ЛЮБОГО выбранного приёма.

Если речь идёт о «якобы новаторстве», то наши режиссёры и драматурги дружно ухватились за «чернуху», используя упоительно-лестный метод «чем лучше, тем хуже», упои-



тельный для посредственностей. Ужасы и эпатаж, которые они демонстрируют со сцены последние 25 лет, уже давно и не ужасы, и не эпатаж, уже давно они дошли до предела и вызывают только скуку и раздражение... Этот их «новаторский» приём построен на подмене воздействия. Искусство — это прежде всего эстетическое воздействие, потрясение красотой. Их воздействие — этическое, психо-физическое, психологическое... какое угодно, но это — не воздействие искусства... Сейчас постараюсь объяснить: скажем, меня потрясает красота и сила момента, игра форм, фраз, оттенков смыслов, их соответствие или несоответствие друг другу. Или — меня потрясает реальная сцена реального убийства или насилия. В обоих случаях я испытываю очень сильные чувства. В первом случае — эстетические. Они затрагивают меня, они истончают меня, и на мгновение я понимаю, я смутно догадываюсь о том, как устроен этот Божественный мир вокруг меня. Во втором случае я испытываю страх, оупляющий животный ужас, и одно-единственное желание, чтобы ЭТО не случилось со мной и с моими близкими. То есть, как я сказала выше — эстетическое воздействие подменяется этическим.

В обоих случаях реакция очень сильная, но совершенно разная. И поскольку сейчас театральная школа в России распадается, то профессионализм, а вместе с ним и внешняя убедительность полностью уходят из театра, то сейчас уже больше никого не волнует вид расплзшихся по сцене кишок, развороченных гениталий, и прочих отравлений ума и тела, а вызывает только усталость и скуку...

Прекрасно — это то, что театр есть. Пусть у нас он вспыхивает короткими яркими очагами, которые тут же бегут тушить с огромными огнетушителями пожарные... дежурные... ангажированные... и прочие кормящиеся за счёт искусства, зарабатывающие себе на честную старость... — не скажу откуда... Не хочу называть их грязные имена. Устала от склок. Итак, иногда — театр всё же появляется в Москве, талантливо, прекрасно и мгновенно. Его тут же давят, истребляют, уничтожают физически...

Мне нравится время, в которое мы живём. Если раньше очень много жизни уходило на бесплотные телефонные разговоры, то сейчас очень много жизни уходит на переписку. Социальные сети неожиданно возродили эпистолярный жанр.

Недавно среди ночи какой-то образованный и истончённый человек писал мне о театре, и потом вдруг невольно, с обидой у него вырвалось: «Да Вы же совсем не знаете России! Для Вас, кроме Москвы, ничего не существует...»

Но это, конечно же, не так, потому что в первую очередь уже давно не существует самой Москвы, начиная с её архитектурного облика...

Сначала они сносили дома, потом целые улицы и кварталы, застраивая их своими уродливыми подменами с псевдоисторическим, истерическим налётом, потом бросились вырубать деревья, сначала по одному, а потом целые скверы и роци. На их месте сейчас или пустыри или бетонные кубы с пересохшей землёй и неприжившимися ноготками.

Когда мы с дочерью уезжали, один из знакомых сказал нам вслед: «Оставьте этот город тем, кто его убил...» — «А тем, кто его любил?» — «Они уезжают или не выживают...»

«Оставьте русский театр тем, кто его убил...» — «А тем, кто его любил?» — «Они не выживают...»

Прекрасно — это то, что театр всё же есть.

Пусть не у нас, пусть здесь, в Германии, в Европе...

Я люблю Берлин и когда-то очень любила Москву.

В немецком языке есть слово *mogen*, а есть *lieben*. Значение близко, но разница в оттенке. В первом случае Вы говорите: «*Ich mag...*», что означает: «Я очень люблю... я очень

заинтересован... я очарован...». «Ich liebe...» — вы говорите во втором, когда то, что вы любите, стало неотъемлемой частью вашей жизни или просто вашей жизнью.

Я говорю: «Я очень любила Москву...» — это значит, что я всё ещё надеюсь полюбить её снова. Только дайте повод. Пусть даже самый призрачный, самый обманной... Только дайте... Пожалуйста...

Об Остермайере — завтра, ладно?

Сейчас — очень устала.

Спасибо всем, кто читает.

## 2

### НЕМНОГО О ВЧЕРАШНЕМ «ГАМЛЕТЕ» ОСТЕРМАЙЕРА

(пишу на ходу, поэтому отрывками. Те, кто в Берлине — пожалуйста, сходите сегодня вечером или завтра на спектакль в Schaubühne или хотя бы попытайтесь).

Неожиданно, под конец марта, в Берлине началась зима со снежными, падающими по-рождественски, хлопьями — белой стеной, простынёй, занавесом, в разрывы которого на миг показывается город: булочник в пустой лавке заваривает кофе и что-то втолковывает молодому, только взятому на работу, продавцу. По гневно-выгибающимся губам, думаю: ругает... Продавец краснеет в ответ медленной удушливой волной. На круглых пустых столиках стоят гиацинты. Витрина лавки медленно запотеваает. На обочине тротуара прикованы в ряд велосипеды. Их металлические рули и чёрные шины обведены белой кромкой снега. И тут же — кладбище сваленных Рождественских ёлок. Зелёные распяленные ветки в высохшей хвое заботливо прикрывает снег, так, как будто бы они живы, и как будто бы время — вспять и вот-вот снова настанет Рождество.

Спускаюсь в метро...

У Schaubühne — толпа.

Они приводят своих школьников на «Гамлета».

Им якобы плевать на якобы этику. «Гамлет» в школьной программе.

Или — это искусство, и дети должны его увидеть?

Лично я — за второе!

В кассе нам говорят, что билетов нет. Я прошу: «Дайте хоть какие-нибудь..». Нам снова произносят слово: «Аншлаг» и добавляют, что билетов не будет ни на завтра, ни на послезавтра...

И тут же у касс к нам подходит школьный учитель. Он раздражён: двое из его учеников не пришли на спектакль. Как они будут писать сочинение на следующей неделе в конце? Нам ничего писать не нужно. Мы покупаем у него два школьных билета по льготной цене...

Конечно, невольно сравниваю русский театр и немецкий.

Буду писать по частям.

Итак, «Гамлет» Остермайера.

Меня не пугают и не отталкивают любые, даже самые грубые и экспрессивные формы выражения, если они оправданы художественной идеей, если они складываются в язык выражения, и если этим языком есть что выразить. Иначе «жёсткие формы насилия» и

прочие экспрессивные приёмы будут, в лучшем случае, как напичканная заумными терминами речь профана.

Собственно, трагедия западной философии и их, европейского искусства, — её основной посыл заключается в том, — что Бог был подменён материей. Всё происходило постепенно, у них, в Европе. Сначала они адаптировали христианство, и у них возник протестантизм, который великолепно лёг на идеи гуманизма, собственно, он, протестантизм, и являлся воплощением этих идей... Такой честный, удобный для жизни Бог. Без излишеств...

Служение материи нарастало, материя занимала всё большее место в жизни, пока, наконец, не было забыто одно из основных её свойств, — её тварность. Материя тварна. Практическая необходимость в Вере в Европе отпала, прошла, как пережиток цивилизации... И тут вдруг оказалось, что материя смертна, что, оказывается она имеет своё начало и конец... И в XX-м - XXI-ом веке она начала умирать и разлагаться и, простите, смердеть, как труп... Поэтому Западное искусство и философия, это осознав, пытается всячески её оживить (забавно, что один из спектаклей в Schaubuhne — это «Франкенштейн». Физическое воскрешение физического мертвеца!). Вспомните «Антихриста» Триера. В этом — посыл их, западного театра, Томаса Остермайера в «Гамлете». Их философии. Оживить материю, преобразить её, может только её Творец. Бог. А человек может её только очистить или над ней надругаться... В этом посыл их искусства, снова повторяюсь. Из-за этого якобы «эпатаж» в спектаклях Остермайера...

Беда нашего театра в том, что наши режиссёры кинулись копировать внешнюю форму, причём — плохо копировать. И если они показывают «порно» на сцене и прочие варианты случек, то у них это становится чернухой, без философского посыла к искусству и времени... Или, если вдруг человек талантлив, как Сигарев или Клавдиев, то у них, из-за одарённости, «звучит временное, не культурное, а именно ВРЕМЕННОЕ высказывание», потому что и тот, и другой — слишком «сиволапы», нет ни образования, ни культуры выражения... Остермайер же образован блестяще и действует не интуитивно, а осознанно, опираясь на философию и посылы времени. Он осознает, поэтому свободен в художественном выражении в любой палитре — от цинизма до лиризма. Эти не осознают. Они — как подростки, которые, хихикая, рисуют скабрёзные картинки в туалете, а потом там же надрезают вены от несчастной любви. Это их экспрессия. Да, она тоже материальна, и тут они оба весьма совпадают со временем. Они его слышат, и время в ответ слышит их. Они могут рассказать историю, которая тронет, напугает или даже ужаснёт... Их художественного таланта хватит на это. Но у них нет осознания того, что они делают, поэтому их театр так и остаётся их маленькой, частной, вечно пубертатной историей... Их театр называется: «Я хотел, но я не смог...»

### 3

#### И ОПЯТЬ — О «ГАМЛЕТЕ» В SCHAUBUHNE.

#### И ОПЯТЬ — О НИХ, и О НАС

«Гамлет» сильный спектакль, Остермаейр — сильный режиссёр. Но Остермаейр — это закономерность развития немецкой культуры. Его творчество, его метафоры, его сценический язык — это выражение состояния культуры в Европе... И можно было предполо-

жить, что в Германии появится такой человек, как Остермайер, а в европейском кино — Триер и Ханеке... Европа заслужила то искусство и ту философию, которую она имеет сейчас, и то, что сейчас появились художники, которые способны всё это выразить теми или иными средствами, — это ещё одна милость Бога, от Которого они отвернулись... А у нас в театре таких художников нет. Мы этой милости не заслужили.

Наши театрики похотливо чавкают из подвалов своим самодеятельным натурализмом.

У нас был 17-ый год. Мы надругались над всей нашей русской жизнью, мы осквернили храмы и убили Государя, а потом убили страну.

У них был фашизм.

И если мы убивали только своих, то они убивали всех без разбору — и своих, и чужих...

Потом у них было покаяние. Нюрнбергский процесс.

У нас покаяния не было.

Их гневный ум пытается осмыслить, бьётся и ищет выхода. Ищет, как может. Любыми средствами.

Наш не ищет. Наш смакует растление и бездарность, и изощрённо ищет — как, каким способом задавить в искусстве то, что иноприродно.

Остермайер — гневный. Его театр — театр гнева. Он хорошо знает про материю. В этот раз — про материю души. Он, как Великий Инквизитор, находит точки, знает куда надавить, чтобы заставить корчиться. «Гамлет» задел меня. Я — в исступлении. Философски задел. Говорят, на спектаклях-балетах Стравинского люди теряли себя. Кидались драться, биться в конвульсиях. Конвульсивно бьётся Гамлет Остермайера, наглотавшись смерти, запихав себе в рот побольше кладбищенской земли, так, чтобы до рвоты, до пароксизма... Как гениально написала Наталья Исаева в своей статье «ШЕКСПИР С НЕМЕЦКИМ АКЦЕНТОМ», что Гамлет сходит с ума и становится удобной машинкой убийства, ведь, убивать придётся всех без разбора; что он сходит с ума в начале спектакля на кладбище, взглянув в глаза смерти. От этого — клоунада на кладбище, дикие танцы на могиле, падение на гроб с приоткрывшейся крышкой, из-под которой смердит... Возвращаюсь к началу разговора о разлагающейся материи — действие спектакля происходит и начинается на кладбище, среди кладбищенской земли. С монолога «Быть или не быть». потом сцена похорон на кладбище — полная аллюзия с «Твин Пиксом» Дэвида Линча (похороны Лоры Палмер. Комично прыгающий гроб. Остермайер всегда в диалоге с мировым кино).

Потом монолог обрывается на «уснуть и видеть сны» ...И начинается уродливый сон мести. Мечь уродлива, как уродливы люди, которые мстят. Мечь — это попрание материи. Это мечь Богу, который создал материю, и она смертна. В европейской культуре больше нет места Богу, поэтому человек обращается к Нему их не напрямую, а опосредованно, — через смерть, через распад и разложение, через надругательство.

Европейцы... Про них гениально предсказал Рембо, поняв про них всё, когда его разлучили с его Верленом, разодрали буквально их на части... Рембо всё понял и перестал писать. Бросив напоследок пророчество: «Ну а если Европа, так пусть она будет, как озябшая лужа, грязна и мелка...// Пусть на корточках грустный мальчишка раскрутит свой бумажный кораблик с крылом мотылька...» и уехал в Африку навстречу смерти, конечно же... Этот грустный мальчишка из стиха и есть Художник, который видит, предвидит... Большинство читают Проклятых поэтов, упиваясь их внешней формой, её красотой и романтизмом. Остермайер откидывает романтизм и красоту. Оставляет идею в чистом виде. Идею гнева: «Материя смертна. От неё смердит... Дайте мне выход!»

Верлена посадили в тюрьму за связь с Рембо. Великого Верлена. И издевались над ним в тюрьме. А эта была его единственная «порочная» связь. А теперь голубизна — это один из языков их выражения. Они гуманисты. У них в центре — человек. Они от гуманизма сходят с ума. Их мир — плоскостной и материальный. Поэтому такая реакция на него в их искусстве. Поэтому — Томас Остермаейр... Поразило, как вчера ржал, топая ногами, добропорядочный немецкий зал — благопристойные учителя, которые привели школьников на «искЮс-ство», били себя по ляжкам и в угаре мотали головами, когда голый Гамлет мазался землёй, кровью и молоком... Над чем ржали?

## 4

### О ЖЕНСКИХ ОБРАЗАХ В « ГАМЛЕТЕ » ОСТЕРМАЙЕРА

Им почти не нашлось места. Но без них — нельзя. Материя, по природе своей, как создание Бога — женственна, имеет женскую суть, природу.

Гертруду и Офелию играет одна актриса. На поминках, переходящих в свадебный пир, Гамлет обличает Гертруду. Она в ответ хрипит и шепчет: «Гам-лет...» Она, Гертруда, как штамп европейской красоты. Она — то, что надо. То, что хочется видеть в женщине. Не больше и не меньше. Она — в меру блондинка, с в меру золотистыми волосами, безупречно ухоженным лицом, в чёрных очках. Она буржуазна, прилична и благополучна... Итак, Гамлет обвиняет её в кровосмешении. Она в ответ превращается через звук, через какой-то адский дым, в похоть и слякоть, такая Мессалина, не дошедшая до пароксизма... Такой я представляла себе жену Верлена, к которой доставили её Верлена сразу после тюрьмы; жирной и рыхлой, похотливо-чавкающей; как она, чавкая и хлюпающая, усаживалась на него сверху и мяла в короткопалых бугристых ладонях, а потом впихивала в себя опадающие части его тела... Такой, мгновенно, на глазах обезумевшего, но ещё никого не убившего Гамлета, становится Гертруда... Зал в мороке удушья... И вдруг — чистейший нежный голос: «Мой Гамлет... Гамлет мой...». Первые мгновения мы не понимаем... А это просто Гертруда сняла парик и чёрные очки... И стала девочкой — подростком, нежной и любящей... которой очень-очень больно... И мы опять вспоминаем о попанной матери: это одна и та же женщина, только в разные периоды жизни. Она начинает девственной, чистой и страдающей девушкой, а кончает — грязно-хлюпающей Мессалиной. Давайте убьём их обеих... Первую мы убьём от жалости, чтобы она не превратилась во вторую. Вторую мы убьём от омерзения. Ведь Гамлет убивает их... Обеих...

Смерть Офелии — это кинопроекция. Опять — отсыл к Дэвиду Линчу. Офелию заворачивают в целлофан, под прозрачными слоями которого всё сложнее и сложнее биться её дыханию, так зимой продавцы цветов заворачивают в целлофан водяные лилии, и целлофан медленно запотеваает...

## 5

### ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. (Мы и они, Господи!!)

Интересно, что вчера я писала про закат и вырождение Европы, а сегодняшний чин Торжества Православия начинается с того, что — Анафема всем, отрицающим бытие Бо-

жие. Анафема — это и есть отпадение от Бога, а обожествление материи, подмена тварным — Самого Творца — это и есть отрицание бытия Бога. И как следствие — закат Европы, смерть материи и истероидная попытка её оживить. Если не обращаться с этой мольбой к Богу, то получится — Франкенштейн. (Хочу и его посмотреть в «Schaubuhne»). Воскресить материю и преобразить её может только Бог, в том числе и через художника. Кстати, в фамилии Остермайер — есть и слово Пасха, то есть Воскресение. Так как Ostern по-немецки — Пасха. У них, в Европе, канун Пасхи сейчас. У нас — только прошла первая неделя Поста, и сегодня — Торжество Православия.

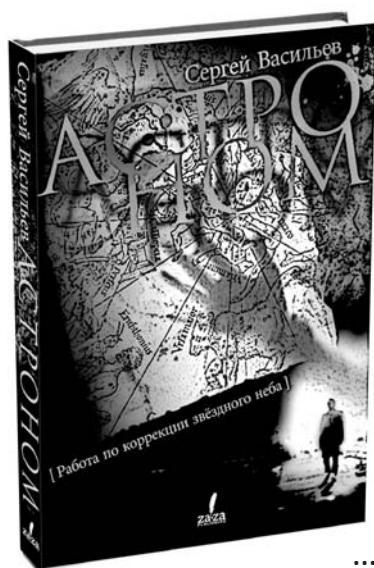
Но нет, нет в нашем театре художника, фамилия которого заключала бы в себе Пасху.

И напоследок снова отрывок из переписки в социальных сетях.

Выложив на своей странице заметку о «Торжестве Православия», не замечаю в ней нескольких повторяющихся опечаток. И тут же приходит комментарий: «Что же Вы бытие подменили на битие? Сами-то знаете, что Вас больше интересует?» Я тут же перечитываю текст и понимаю, что он, мой едкий собеседник, убийственно прав: каждый раз вместо «ы» я почему-то написала «и».

Нужно что-то ответить, потому что эта ирония с размаху, с кондачка обесценивает всё... А ведь всего-то — разница в одну букву...

«Поменяв весь ход мировой истории, — почти автоматически пишу я, — Его битие случилось в пятницу с тем, чтобы в воскресенье неоспоримо утвердить в мире Его бытие»...



## «АСТРОНОМ или работа по коррекции звездного неба»

**Сергея ВАСИЛЬЕВА**

В этой истории переплетаются  
**детектив**, фантастика,  
ирония и текущие заботы.

**Выпускнику** журфака

«улыбается» удача:

...работать на новостной **ТЕЛЕКАНАЛ**...

ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
VERLAG

## Рафаэль ЛЕВЧИН



*Рафаэль Залманович Левчин родился в 1946 году в Крыму. Написано о нем и на бумаге, и в интернете достаточно, так что всех, кого интересует его биография, образование, участие в творческих группах, его книги, картины, скульптуры, публикации в журналах и антологиях, я отсылаю к печатным изданиям и интернету — там все это есть. Для меня важны не внешние события жизни художника, а то непостижимое кипение духа, которое возносит его над миром обыденности. Человек, способный написать такие строки:*

*«Я любил её не так, как все, иначе.  
Я люблю её, мою любовь не выжечь.  
Я люблю её и о прошедшем плачу.  
Я любил её и потому не выжил»,*

*больше чем поэт, ибо он слагает не стихи, а молитвы и гимны, существующие вне времени и пространства.*

*Настоящее искусство всегда элитарно. Настоящее искусство всегда трагично. Художник, творец никогда не бывает понят толпой, не замечающей того, кто вопреки пошлости и безвкусице черни, работает для вечности.*

*Впрочем, сам Рафаэль в предисловии к своим стихам характеризует себя несколько иначе...*

## АВТОРСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Рафаэль Левчин,  
родившийся в Крыму, окончивший Литинститут в Москве и уехавший из Киева в Чикаго,  
является типичнейшим безродным космополитом!

Участник неформальных групп:  
постфутуристы (затем метареалисты, 1976-1983), Чен-Дзю (1983-1987), 39,2 ° С (1986-1988),  
Глоссолалия (1985-1991), Театральный Клуб (с 1985, затем Неомифологический Театр, ныне  
Международный Театральный Ансамбль), Кассандрион (с 2000).

Поэт, прозаик, сценарист, переводчик.

Публикации в антологиях, журналах, альманахах, Интернете.

Книги стихов: ВОДАогонь, LUDUS DANIELIS, Избранное, [пилоты].

Книга фантастической прозы: ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ и другие идиллии.

Издатель, главный редактор, главный художник самиздат-журнала  
REFLECT... КУАДУСЕШЦТ.

Керамист, визуальный поэт, бук-артист.

Работы в частных коллекциях в Москве, Киеве, Кракове, Чикаго, Майами.

Участник международных проектов, выставок, конференций:

БЕЛАЯ ВОРОНА (Киев, 1989), ОКТАЭДР (Киев, 1990), АГАСФЕР (Москва, 1991), ТЕАТР СЛОВА (Кенигсберг, 1995), EYERHYMES (Эдмонтон, 1997), GEELLE (Брюгге, 1999), AROUND THE COYOTE (Чикаго, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006), ETC (вместе с Э.Зельцман, Чикаго, 2006), ВЕНТИЛЯТОР (Санкт-Петербург, 2009), AATSEEL (Сан-Франциско, 2008; Филадельфия, 2009; Пасадена, 2011), АЛФАВИТ ИСКУССТВА (Москва — Филадельфия, 2011).

## ИЗ ЦИКЛА «ИДОЛЫ»

*Отрывок*

*из стихотворения неизвестного обэриута  
по мотивам не дошедшей до нас картины  
неизвестного прерафаэлиты*

кто голышом смеётся до поры  
дриада девочка чудачка валентинка  
смотрящая сквозь трещины коры  
и нежное плечо отвердевает  
прикидываясь узловатой ветвью

придурковатый рыжий фавн-подросток  
кружит вокруг ствола  
и дёргает свой стебель машинально  
грызёт свирель свою  
и подвывает  
и слыша смех дриады увядает

а два кентавра там за заднем плане  
хохочут полускрытые в тумане  
и бьётся в воздухе бессмысленное слово  
лишь для тебя ни для кого другого



## геометрическая задача

из города а вышел гордый герой  
спешивший навстречу судьбе  
шкодливой двусмысленной жадной хромой  
слепой необученной злой не прямой  
короче до города б

из города б вышла эта судьба  
не зная ни сил ни пути  
ей снились в дороге бретон и борьба  
и громко кричали кларнет и труба  
под них веселее идти

их встреча намечена в пункте содом  
а может быть садомазох  
мы следом за ними покорно пойдём  
мы в суп их наваристый вдруг попадём  
в количестве до четырёх

мы видим огрызки торчащих колонн  
и винного моря стекло  
в песке по колена пьём одеколон  
какой же нас тут поджидает облом  
зачем нас сюда занесло

зачем мы спешили навстречу судьбе  
чужой никудышной пустой  
тем более в маленьком городе б  
соратники по непрерывной борьбе  
не пустят вовек на постой

что ж делай что можешь и будь сам собой  
герой или кто виноват  
они занимаются глупой борьбой  
но зверя опять не догнал зверобой  
смотри же внимательно брат

пусть выбор у нас как всегда невелик  
что сдали тем будем играть  
на то и лицо чтоб улавливать блик  
на то и вода чтоб увидеть в ней лик

и облако словно тетрадь

\* \* \*

вот воины воют бредя на войну  
теряя прозрачные лица  
их руки растут и растут в вышину  
и звукам несложно излиться

и смотрят сатиры сквозь призмы дождей  
на скользкие игрища эти  
*опять вы разрыли могилы вождей  
зачем вы безумные дети*

кентавр покидает пещеру свою  
и молча уходит сквозь чащу  
*опять они жатву собирают в бою  
ну что ж если им это слаще*

костёр на привале сжирает дриад  
их тайные капельки крови  
во рту саламандры так жарко трещат  
*опять за своё вы герои*

и вышел святой кто давно позабыл  
о доблести злобе и славе  
и то что вчера он не остановил  
сегодня спокойно возглавил

\* \* \*

*не так уж это сладко  
быть кентавром*

чужие нам и люди и зверьё  
но (хуже) если племя  
родных  
чудовищ  
утратил обдирая о стволы  
бока спишь в чаще  
порою снится человек  
(ты) порою конь  
и просыпаясь видишь стаю  
птиц  
(не)терпеливо ждущих глаз  
твоих

четвероногий бог ты дал нам жизнь  
хвала тебе четверг но где  
среда

\* \* \*

так ли как надо  
как не надо но скоро  
тьма не пускает  
    не впускает  
    не выпускает  
чудища дремлют  
акрокентавр мрак-рыба  
четверокрылые  
рукоokie боги  
море песок и ветер уж стих  
ты дома

*александрйский стих  
снова спешит к погрому*

\* \* \*

мой страх матёрый твой юный страх  
единый по сути страх  
но тот который плясал в кострах  
тот будет плясать впотьмах

темны дозоры их сны в слезах  
к нам солнце забыло путь  
но тот который плясал в кострах  
допляшет уж как-нибудь

а что я помню железный прах  
дым чопорный смех морской  
но тот который плясал в кострах  
мне скажет кто я такой

а если след мой застыл в словах  
и зов зря ушёл на взлёт  
что ж тот который плясал в кострах  
не обещал что споёт

\* \* \*

каждый ребёнок знает  
слово имеет силу  
обнажённую душу  
так не имеет тело  
локоть колена роза  
то ли татуировка  
сила гуляет гордо  
пойманной куртизанкой  
в стане канатоходцев  
галлов герулов гетов  
гуннов голобородых  
слово куда ж ты слово  
видишь ли силу снова  
выйди в круг перламутра  
в рваной кольчуге света  
порази голиафа  
порази голиафа  
порази  
голиафа

мяфа куда ж ты  
мяфа

\* \* \*

я читал лежа в ванне под одеялом  
марциала задолго до мандельштама  
и всегда казалось всё мало мало  
словно сладкий сок обтекал упрямо

я читал непрерывно и на отлёте  
но не та была книга не тот прибыток  
*шум шумеров* безудержней не найдёте  
только так и живёшь в лабиринте пыток  
я читал на разрывы библиотеки  
и слепой скорпион слегка улыбнётся  
им же шамаша дом охраняем навеки  
хоть и так стоящий на дне колодца

## жрицы астарты

*Жрицы Астарты творят любовь, когда встаёт луна; потом они поднимаются и купаются в заброшенном бассейне, полном серебра.*

*Они расчёсывают свои волосы пальцами, и руки их, подкрашенные кармином, перепутанные с чёрными кудрями, кажутся ветвями кораллов в тёмном и волнующемся море.*

*Они никогда не удаляют волос на теле, так что треугольник богини метит их, словно храмы; но они раскрашивают себя сами кистями и умащают благовониями в изобилии.*

*Жрицы Астарты творят любовь, когда заходит луна; потом в комнате, заполненной коврами, где пылает высокая золотая лампа, они ложатся вслепую...*

Пьер Луис, «Песни Билитис»

жрицы астарты творят любовь по пояс в стеклянных словах  
жрицы астарты творят любовь с медузами в головах  
жрицы астарты творят любовь любовь творит им венец  
жрицей астарты станет любой бывший кибелы жрец

## мания величия

я красная белая рыба  
и этого не утаю  
большая нелепая глыба  
собой защищаю семью

когда же он кракена встретит  
и яростью пасть закипит  
то волны кругом его дети  
и сам он не рыба а кит

## китоврас

бегущий вдоль богов не замечал меня  
и вообще он ничего не замечал  
и сколько ног ни стёр  
ли крыльев ни сносил  
невидимый  
невидящий  
ужасен  
зверь китоврас мудрейший и чужой  
для самого себя вокруг колонн  
вот круг и из него не выйти вон  
рванувшийся

в прозрачной толще дня  
клеёнки на столе  
варенья ос  
тепла  
волос улыбки  
взгляда  
рассеянного  
пенки  
в творог вот переходит молоко  
и лето уж почти ушло легко  
и выглянул нож из чехла  
листья пылают дотла  
городу голод звонил  
ПОСЛЕ ЯЗЫК ПРОГЛОТИЛ

и только хруст хруст хруст его коротких крыл

с ним сам экклезиаст  
беззвучно говорил

\* \* \*

я видел страшного  
а крокентавр стоял  
на керамических ногах вверху алмазный  
безумно белый ослепительно сиял

и кто-то мне шепнул что он заразный

но я разбил его

и тотчас им я стал

\* \* \*

мы движемся долго сквозь ночь песок  
мы не напрашивались на марш-бросок  
но нас не спрашивают чего мы хотим  
луна утонула остался дым  
в этих дюнах никто не живёт  
один только ветер и тот устаёт  
а ты огонёк не спи на ходу  
помни григория сковороду  
бродит дрёма ждёт сомкнутых глаз  
мир поймает но не сейчас  
у нас каждый идол маленький ад  
у них обиды сквозь снегопад

## Вадим МОЛОДЫЙ



Поэт, эссеист, родился, жил и работал в Москве. По образованию — врач-психиатр. Совмещал лечебную, научную и литературную деятельность, занимался психопатологией художественного творчества, был сотрудником и автором ежемесячника «Совершенно секретно», вел на московском телевидении передачи «Из мастерской художника».

Печатался в СССР и на Западе. С 1990 года живет в Чикаго. Член Парламента сайта «Век перевода» ([vekperevoda.com](http://vekperevoda.com)), ответственный за связи с авторами Западного полушария, директор американского отделения Международного института социального и психологического здоровья.

Публикуется в американской периодике (альманах «Побережье», журнал «Время и место», журнал «Чайка», еженедельник «Reklama»), ведет на чикагском радио «Народная Волна» ([www.radionvc.com](http://www.radionvc.com)) еженедельную авторскую программу.

В 2010 году в чикагском издательстве Art 40 вышла книга стихов Вадима Молодого с иллюстрациями Бориса Заборова (ISBN 978-1-4507-1672-7). В 2013 году в московском издательстве «Водолей» вышла его новая книга «Споры с Мнемозиной». (ISBN 978-5-91763-130-1).

## АЛЕКСАНДР ЯБЛОНСКИЙ. ПОЗДНИЙ СТАРТ

**А**лександр Яблонский, как он сам себя называет, — писатель начинающий. Иначе говоря — молодой. Первая его книга, «Сны», вышла в 2008 году. Затем последовал роман «Абраша» (2011г.), повесть «Ж — 2 — 20 — 32» (2013г.) и роман «Президент Московии. (Очарование миража)» (2013 г.). Ну, а ещё цикл небольших рассказов «Смутные времена», написанных между делом. И всё. При нынешних темпах романописания — не так уж и много. Помимо этого, дебютант не принадлежит к числу тех, «кто проснулся знаменитым» (я имею в виду отнюдь не только победителей премии «Нацбест», чей лозунг-стимул только что процитировал). В общем, писатель начинающий и не очень известный...

Не думаю, что Яблонский буквально реализует известный постулат Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво». Однако в общении с прессой и критикой он не замечен (полагаю, что и они не очень-то рвутся с ним повстречаться). Да и саму идею презентаций своих книг он отвергает категорически, хотя предложений, и весьма настоятельных, презентовать было более чем достаточно. И в России, где Александр издается, и в Бостоне, где он живет и работает.

«Есть нечто унижительное в самой этой процедуре, когда автор стоит и, стыдливо улыбаясь, расхваливает — «презентует» свой товар: «Слушай, покупай мой помидор, самый вкусный, вах!». Дело писателя — писать, издателя — издавать, торговца — рекламировать, то есть презентовать... Да и не припомню, чтобы Тургенев или Толстой, любимец «Уса» Симонов или отторгнутый Платонов презентовали свои творения. Впрочем, к числу писателей я толком не принадлежу. Так, графоманю, то есть имею тягу к этому делу. То, что издали — случайность для меня малоожидаемая...» (из письма А. Яблонского).

Ну, здесь я позволю себе заподозрить определенную долю кокетства, хотя...

Думаю, что и я, горячий поклонник Яблонского, обратил бы внимание на его книги гораздо позже, если бы не три обстоятельства.

Первое (и для меня самое важное) — мнение чрезвычайно мной уважаемого директора издательства «Водолей» Евгения Кольчужкина о романе «Абраша» — «Вероятно, это лучшая проза года!»

Второе — имя автора в Long List'e премии НОС рядом с именами современных кумиров еще не разучившейся читать публики, например, В. Пелевина или М. Шишкина.

При всей моей влюбленности в этот роман Яблонского, к «новой словесности» или «новой социальности» «Абраша» никак не принадлежит, то есть не вписывается в строгие правила отбора произведений на эту премию. Как сказал один из членов жюри 2011 года, «конечно, это — не эксперимент, не литература будущего, но больно уж хорошая проза».

Правда, после того как этот самый НОС за «литературу будущего» получил Лев Рубинштейн, я могу за ненагражденного Яблонского только порадоваться.

Третье — случайно обнаруженный на сайте бостонского книжного магазина «Петрополь» отзыв на книгу «Сны». «Талантливая провокация. Россию презирает — и не скрывает. Умен, эрудирован. Белогвардеец в душе. Но всё личное — о семье, друзьях, профессии — трогает. Лиричен. Такие — самые опасные. Берет за душу и выворачивает — и все против России: против большевиков, против Сталина, против Путина. Особенно неприемлема глава о воссоединении церковей, Сергианстве и пр. Я бы такие книги запрещал» (<http://petropol.com>).

Ну а потом, в повести «Ж — 2 — 20 — 32», я прочитал ответ Яблонского:

«После выхода моей первой книги «Сны» я узнал, что не люблю родину. Так отзывались анонимно в интернете, так говорили в глаза люди честные и уважаемые. Наиболее емко и точно о книге и ее авторе выразился некий Алексей С.: (далее следует приведенная выше цитата — В. М.) Белогвардеец — это точно. Не только в душе, то есть скрытно, — явно. Запрещать — желательно бы... Но это было раньше. Сейчас не запрещают. Не замечают. Россию не презираю. Скорблю, что она такая. И люблю, как любят больного ребенка — более, нежели здорового». Я бы только уточнил — не «не замечают». Еще как замечают. Потому-то и замалчивают...

Но ведь оценка компетентных органов в лице Алексея С. — комплимент, лестный для любого порядочного человека. А реакция на нее А. Яблонского с очевидностью следует из всего творчества писателя, и именно в этом причина его притягательного обаяния, силы воздействия и убедительности.



Первое, что бросается в глаза — это удивительно органичная, неразрывная связь личной судьбы автора с судьбой культуры его страны во всех ее аспектах — политическом, бытовом, историческом и религиозном. Отсюда поразительный синтез психологически достоверного и трогательного, и, в то же время, наполненного юмором и сарказмом по отношению к самому себе повествования о личной жизни автора или его героев. Повествования, полного философских размышлений, а подчас и откровений о прошлом, настоящем и будущем страны, в которой он родился и прожил долгие годы, причем все это основано на незаурядной эрудиции и глубоких знаниях

Может показаться, и, наверное, многим кажется, что ткань сочинений Яблонского перенасыщена «исторически-нравственными» проблемами, и эта перенасыщенность утяжеляет, замедляет повествование, лишая его энергии и занимательности. Так, один коллега Александра — писатель высокопрофессиональный и критик доброжелательный — писал в частном письме: «твоя переполненность исторически-нравственной русской темой слишком тяжеловесна для короткой и динамичной формы рассказа» (речь шла о рассказе «Марина»).

Что ж, в этом есть немалая доля истины, но... если бы речь шла о другом писателе, о другой системе мышления, о другом способе существования. У Яблонского же «исторически-нравственные» темы становятся равноправными, если не доминирующими смысловыми центрами наряду с фабулой. Он, безусловно, пишет для себя, пишет так, как мыслит и чувствует, не подстраиваясь под потребности массового читателя и ориентированных на него издательств.

Впрочем, здесь писателю повезло: он связал свою судьбу с «Водолеем», одним из старейших российских независимых издательств интеллектуальной литературы, и его директором-подвижником Евгением Анатольевичем Кольчужкиным.

...Что сплело воедино ужас Тайной канцелярии времен Анны Иоанновны и быт советской семьи с неизбежными прелестями коммунальной квартиры, селедкой «под шубой» и полусладким шампанским, свободой мышления и перманентным страхом, доверительностью общения и неизбежным доносительством? Что общего между историей любви, жизни и гибели людей двух поколений XX века с великой Новозаветной трагедией («Абраша»)?

Это трудно объяснить, ибо это неповторимый и не поддающийся анализу внутренний мир и писателя, и рожденных им героев, которые в той или иной степени являются его alter ego, или, если выразиться точнее, запрятанными глубоко в подсознание его иными «я». Автор не может любить сам и заставить нас полюбить отделившихся от него, непредсказуемых в своем развитии персонажей, если не пытается постигнуть этот мир, понять его и сопереживать вместе с ним.

Именно богатство и чуткость души определяют потребность героев «Абраши» — раритетных представителей подлинных аристократов духа из славного рода Срезневских, — встать в ряд с гонимыми, несправедливо отвергнутыми, оболганными. Оболганные же — это и Павел (помните алдановское: «Император Павел по характеру не был тупым, кровожадным извергом, каким не раз его изображали историки русские и иностранные» и Петр Третий, и «Самозванец», и трехлетний мальчик, мучительно умирающий на виселице у Серпуховских ворот под радостное улюлюканье москвичей, лузгающих семечки.

Кстати, тема повешенного «Воренка» и вся ложь и беспримерная жестокость самой Смуты в целом, равно как ее восприятие русской историей и нынешним общественным со-

знанием, эта тема, как воспаленный нерв, пронизывает целый ряд произведений Яблонского. Рефреном звучит и в «Абраше», и в упомянутом рассказе «Марина» мысль: «На крови невинного младенца замесил свою династию Филарет, и отметила эта кровь весь её трехсотлетний путь, и отозвалась в подвале ипатьевского дома кровью таких же невинных отроков».

«...Почему так разительны несоответствия между деталями последних часов Спасителя, описанных в Евангелиях, величайшей литературе и величайшем Свидетельстве, и деталями устоявшихся веками незыблемых законов иудейства, скреплявших историю нации на протяжении пяти тысячелетий? И почему эти несомненные несоответствия не были замечены величайшими умами; почему моря крови невинных должны были стать результатом этих несоответствий и этого невнимания к ним?..» (из письма А. Яблонского).

Мучительные размышления о судьбе единственной оклеветанной и ошельмованной нации являются смысловой доминантой «Абраши» и, в определенной степени, психологически обосновывают неизбежный конец этой семьи.

Впрочем, эти ли или другие абсолютно ненужные советскому человеку мысли, как таковые, делают трагедию неизбежной? Главный «опекун» семьи — полковник КГБ, человек неглупый, с рудиментами «комплекса Раскольников», на протяжении долгого времени, по долгу службы связавший себя с этими людьми и испытывающий к ним определенную симпатию и уважение, очень точно формулирует опасность того стиля жизни и мышления, которые со временем диагностируются у героев: «Существуют вещи более важные и чреватые, нежели антисоветчина /.../ «Профессор» /имеется в виду Ю. М. Лотман — В. М./ сформулировал / проблему — В. М./ на лекции о Новикове. /.../ Новиков не боролся с самодержавием, не противопоставлял себя государству. ОН ЕГО НЕ ЗАМЕЧАЛ! Вот этого Екатерина простить не могла. /.../ Один московский поэтишка /.../ сказал: «надо жить так, как будто ИХ нет». /Именно так и живут обреченные герои «Абраши» — В. М./ ИХ — это значит НАС. В этом случае мы — имеем в виду весь наш мощный, огромный аппарат государства — Мы делаемся лишними. /.../ А это — гибель. И вот с этим надо бороться. Не замечают НАС? — Заметят! У параша под Воркутой».

Все сказанное о героях А. Яблонского относится и к нему самому в том смысле, что понять его и определить свое отношение к нему (восторженное, неприязненное или агрессивно враждебное) можно только войдя в его внутренний мир. Вот ещё один анонимный отзыв из Интернета: «Наконец дочитал. /«Сны» — В. М./ Впечатляет. Могло бы получиться три книги. /.../ Зря автор всё слил в один флакон. Хотя, действительно, это он, его судьба, его мышление, его самопознание. Интересно». (<http://www.bookland.ru>) С этим я никак не могу не согласиться.

Весной 2013 года вышли две книги Яблонского. Они абсолютно не похожи друг на друга, как и на все другие его произведения, и по масштабу, и по языку, и по творческим задачам. Книга «Ж — 2 — 20 — 32» лаконична, афористична по способу изложения, скупа на языковые изыски.

То, к чему, скажем, в «Снах» автор приходит в результате долгих и мучительных раздумий, здесь выражается одной-двумя фразами, в нужных случаях убийственных. Отношение Александра к нынешнему режиму в России не нуждается в комментариях. Собственно, эмигрировал он в 1996 году, предчувствуя неизбежность реставрации авторитарного или тоталитарного режима и общественной потребности в этой реставрации. Однако он не подозревал, что *déjà vu* произойдет в таком унижительно убогом и ущербном виде. Вот брошенная по этому поводу пара фраз:

«Попытался представить, как товарищ Сталин надевает плавки, ласты, натягивает на изрытую оспой рожу маску, резиновую шапочку и прыгает в Керченский залив за кувшинчиками. Или летает с клювом на голове и в белой простыне с птичками. Попытался, но не смог».

(В скобках отмечу, что и гений всех времен и народов отнюдь не является «героем» автора, припечатывающего его, как вошь: «хитрый средневековый, восточный кровавый деспот. Тупой и неэффективный». Однако некоторые особенности оценки деяний «дяди Джо» вызвали полемику в сети после выхода «Снов»).

Если «Ж — 2 — 20 — 32», как и «Сны», литература non fiction, то «Президент Московии», как и «Абраша», — плод изысканной и безудержной фантазии автора. Я читал «Президента М.» в рукописи и был поражен. Поражен силой предвиденья, убедительностью психологических мотивировок поведения всех персонажей, энергией языка, порой излишне усложненного, но этой усложненностью завораживающего.

Это, конечно, антиутопия, но принципиально отличная от антиутопий Замятина, Оруэлла или Хаксли. Она лишена надуманной фантастики реалий «будущего» или «иного» мира, она реалистична и бытово достоверна. Именно поэтому она так страшна. У неискушенного читателя эта достоверность может спровоцировать восприятие романа в качестве политического памфлета или злободневного фельетона. Такой читатель может начать искать (и легко найти) прототипы, аналогии и пр. Но это абсолютно неверно.

Прототипами романа служат не конкретные представители власти, а типы носителей власти, которые в разные времена носят разные имена и обличия, но ментальность которых, в России, во всяком случае, остается неизменной. Суть «Президента» в вечной и неизменно актуальной проблеме: личность и власть.

Может ли противостоять личность в ее цельности и органичности реалиям, законам, традициям и самой природе власти в России? Или власть неизменно подавляет и деформирует эту личность, а в лучшем для этой личности случае ее уничтожает?... На этот вопрос нет ответа. Нет, и не будет... И не ждите его в последнем романе Александра Яблонского. Но прочитайте его необходимо; я не мог оторваться от рукописи, пока не дочитал ее до конца.

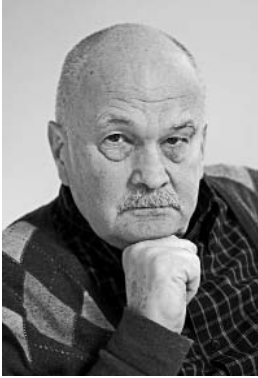
...Все сказанное отнюдь не означает, что творчество Яблонского безупречно. Как писал уже упоминавшийся коллега, друг Александра, «в твоём случае та потрясающая, природно данная тебе сила и легкость слова (есть места — просто диву даешься), должна быть очень и очень контролируема — тобою же...».

Да, можно найти дефекты архитектоники сочинений Яблонского, порой действительно, чувствуется некоторая вялость развития сюжета в начальных главах, иногда настораживает чрезмерная описательность. Ну и, естественно, многие его суждения субъективны и далеко не бесспорны, хотя и покоряют своей неистовой убежденностью. Но все это — и в этом я убежден — не более, чем не имеющие особого значения мелочи...

В повести «Ж — 2 — 20...» А. Я. приводит начало случайно возникшего сюжета — удивительного по оригинальности композиции и чудесно написанного. Заканчивая же эту главу, он бросает реплику: «Если доживу, может, через пару лет что-то получится...». Возможно, и здесь есть доля кокетства. Хотя...

Несмотря на все старания, я не могу припомнить столь позднего успешного профессионального старта. Не сомневаюсь ни на минуту — впереди длинная дистанция, которую Александр Яблонский пройдет столь же ярко и убедительно, как и первую стометровку.

## Александр ЯБЛОНСКИЙ



*Александр Яблонский родился в 1943 году в Ленинграде. Выжил и в блокаде, и в послевоенное лихолетье. Вопреки традициям и желаниям семьи стал музыкантом.*

*В 1966 году окончил Ленинградскую государственную Консерваторию (по классу фортепиано у проф. С. И. Савшинского); в 1969 — аспирантуру у проф. Л. А. Баренбойма (история и теория исполнительского искусства).*

*Преподавал, читал лекции, занимался исследовательской деятельностью. В 90-х был худруком, а затем генеральным директором «Петербург-концерта», на то время крупнейшей концертной организации страны.*

*На пике своей карьеры и бытового благополучия эмигрировал в США (1996 г.). Живет и работает в Бостоне (7 дней в неделю!); преподает, играет.*

*В 2008 году вдруг стал писателем...*

## МАРИНА

*О своем я уже не заплачу...  
Анна Ахматова*

«10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене перед известною “Conversation” толпилось множество народа» — чудесно начинал свои романы Иван Сергеевич Тургенев. Здесь всё: и эпоха, и среда, и настроение, и ритм, и интонация. Но главное — ощущение покоя, душевного здоровья и умиротворенной радости в предвкушении удивительной истории, которую предваряют эти первые строки, истории, рассказанной тем удивительным — сочным, пластичным и точным русским языком, которым уже давно — после Бунина — никто не владеет. Вслушайтесь: «Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе; но поля ещё блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, а в лесу ещё сыром и не шумном, весело распевали ранние птички». Всё прекрасно. Разве что «птички» чуть режут слух. Может, «птахи» было бы лучше? Так и хочется списать начало. Вряд ли кто-либо заметит, сейчас мало читают Тургенева, и ещё меньше упиваются его словом, фразой, периодом. Вот только я и один мой коллега, но он, всё

равно, алкоголик. Или ещё, помните? — «В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один из самых жарких дней 1853 года...» Списать начало можно, никто не заметит, но дальше придется переписывать весь роман «Накануне», к примеру, или, лучше, «Дым» (люблю этот роман), — но терпенья не хватит переписывать. Комбинировать же тургеневский зачин с моей начинкой совсем уж немыслимо: всё равно, что Gute Nacht Шуберта из «Зимнего пути» начинает петь Фишер-Дискау, у рояля Альфред Брендель, а затем подхватывает Шуфутинский под гармонь. Поэтому начну, как получится. Если не проскочит, откройте Тургенева и отдохните душой. Итак.

Тихим сереньким августовским днем 1986 года к воротам Серафимовского кладбища подъехало несколько машин. Только что утих моросивший всё утро дождик, чуть подсохло, птицы оживились, и неприметные, согбенные старушки неспешно покидали свои убежища, кто, занимая привычные места у ворот, кто, направляясь к церквушке, а кто — к могилкам, чтобы прибрать, подмести, протереть. Все они были собраны, сосредоточены, опрятны и деловиты. На заляпанный грязью скрипучий ПАЗовский автобус с табличкой «Ритуальные услуги», черную редакторскую «Волгу» и потрепанные частные «Жигули» внимания никто не обратил.

Кладбище было полузакрыто, хоронили на нем крайне редко, чаще — подхоранивали, но машины здесь были не в диковинку. Навещающие родных в «царстве мертвых» пользовались, как правило, общественным транспортом, но помимо частных могил, Серафимовское было известно своими мемориалами: блокадникам — более двухсот тысяч ленинградцев лежало здесь, морякам-тихоокеанцам, погибшим в 1981 году, матросам «Механика Тарасова», сгинувшим в Атлантике в 1982 года, афганцам, обильно оросившим кровью братскую Афганщину — посему черные «Волги» и постные официальные физиономии появлялись здесь регулярно по всем протокольным датам.

Вынесли и разложили на деревянных ящичках цветочки. Небо просветлело. Автобус и машины въехали на центральную аллею и стали медленно продвигаться по направлению к церкви святого Серафима, монаха Саровской пустыни. Разорались галки. Мужики с лопатами в руках соображали на троих. Влажные стволы деревьев засеребрились слабыми солнечными бликами, им вслед забронзовели мокрые прошлогодние листья, покрывавшие неухоженные могилы. Кладбище оживало.

Машины остановились, не доезжая до церкви.

Хоронили писателя Ю.

...Писатель Ю. был известен, прежде всего, своими очерками в «Ленинградской правде». Очерки в основном посвящались культурной жизни в области и назывались, к примеру, «На струнах и клавишах» — о проблемах музыкальных школ в Тихвине, Сясьстрое, Мге, или «Муза шествует по просторам» — это о работе Областного отдела «Ленконцерта». Писал Ю. хорошо, несмотря на суконные названия, которые давала, как правило, редакция, была у него какая-то теплая интонация, к тому же он знал русский язык.

В «Ленправде» был он, естественно, внештатным корреспондентом. Да и во внештатку он попал благодаря Леночке, жившей с ним в одной коммуналке. У Леночки был хахаль, который, в свою очередь, являлся родственником самой Татьяны Николаевны Ч. — зам. начальника Отдела Культуры вышеназванной газеты. Так всё и срослось. Леночка искренне симпатизировала Ю., и он давал ей первой читать свои сочинения, не предназначенные для печати. Леночка восхищалась, сетовала, что такой талант пропадает, и в один прекрасный день ее хахаль, всеми силами старавшийся закрепить наметившийся успех в

деле покорения Леночкиного неприступного сердечка, ляпнул насчет своей тетки, которая «шишка» в «Ленправде». Потом он сильно жалел, так как тетка была женщиной суровой, мало контактной и очень не любившей любые протекции — сама ими не пользовалась и другим не советовала. И вообще она была уверена, что личная жизнь и профессия две плоскости, не соприкасающиеся, не пересекающиеся — параллельные, если параллельными бывают не только линии, но и плоскости. Однако племянник-сирота, никогда ни о чем не просивший и своей первой просьбой удививший и озадачивший, в конце концов, её растрогал, и она согласилась на встречу. При первом свидании в узеньком аскетичном кабинете редакции на Фонтанке, что рядом с БДТ, они понравились друг другу. При всей своей неприступности Татьяна Николаевна была женщиной, то есть существом, в сущности, отзывчивым, интуитивным и доброжелательным. Тем более, что Ю. её ни о чем не просил, а просто рассказывал о себе, о своей жизни, о работе, о своих рассказах, даже о романе, который он писал всю свою зрелую жизнь. Смотрел он на Татьяну Николаевну спокойно и ласково, и она вдруг впервые за много лет как-то расслабилась: та невидимая стальная нить, которая держала её в постоянном напряжении, ежесекундной готовности к подвоху коллег и однопартийцев, к неожиданной опасности «сверху», провокации «снизу», нежелательной просьбе знакомых или просто неудобной ситуации, — эта нить ослабла, отпустила её; Татьяна Николаевна даже откинулась на спинку кресла, сняла очки и, в конце концов, неожиданно для себя и для просителя улыбнулась. Тогда она и предложила ему попробовать свои силы и написать серию статей.

...Кто-то пошел в контору узнавать, готова ли могила; провожавшие вышли из машин размяться: курящие — перекурить, некурящие — вдохнуть полной грудью свежий сырой ароматный августовский воздух, все — приготовиться к печальной, но, увы, гарантированной каждому церемонии. Подошла не очень трезвая женщина лет сорока: «Может, могилку убрать?»

...Первая статья получилась. Её даже определили, как лучшую, то ли в номере, то ли в разделе «Культура» за месяц. Через некоторое время Татьяна Николаевна сошлась с Ю. Встречались они в комнате Ю. Леночка тут же, естественно, пронюхала, но, будучи девушкой умной и тактичной, держала язычок за своим зубками — ослепительно белыми, остренькими, блестящими. Более того. Она каким-то образом вычислила алгоритм встреч и исчезала из квартиры за пол часика до прихода Татьяны Николаевны. Бабка Катерина же была глуха, к ней никогда никто не ходил, дверь она не открывала, из своей прокуренной комнаты выходила крайне редко, а поэтому никакой опасности не представляла. Странное дело, Татьяна Николаевна чувствовала себя в этой коммуналке хорошо и уютно. Когда в первый раз она поняла, что просто чаепитием дело не ограничится, и обрадовалась этому, так как ждала и хотела такого развития событий, она на секунду замерла: «Как же без ванной!». Но тут же отмахнулась от этого необходимого, в чем она была уверена ранее, условия интимных отношений, и забыла, как о пустяке. «Не в этом счастье». А она была счастлива.

...Приготовленная могилка находилась в некотором отдалении от центральной аллеи, в тихом месте, недалеко от могилы известнейшего ленинградского врача-педиатра профессора Тура. Сколько детей прошли через его мягкие теплые сухие руки. Сам Ю. когда-то был на приеме у Александра Федоровича... Вот и встретились опять. Дно могилы было покрыто водой, стали обсуждать с рабочими, удобно ли гроб опускать в воду: «А что делать, ждать,

пока высохнет? — А откачать нельзя? — Ну, вы, дамочка, и даете»... Высокая старая береза возвышалась у изголовья последнего пристанища писателя Ю. Она как бы прикрывала густой кроной могилу, предохраняя её от суетных невзгод и придавая, тем самым, и вяло текущему спору, и всей этой печальной процедуре умиротворение и покой.

...Татьяна Николаевна была замужем за «большим человеком» — за директором крупного машиностроительного завода. Мужа она своего уважала, когда-то даже не то, чтобы любила, но была, скажем, увлечена им, его напором, энергией, его силой, не столько физической, хотя он был силен и груб, сколько силой характера, умением добиваться поставленной цели, не считаясь со средствами, да и умением выбирать цель, что, согласитесь, бывает важнее... Однако это увлечение прошло довольно быстро, и брак превратился в необременительный, но мало волнующий её и его процесс. Изредка они спали в одной кровати, и это было терпимо, буднично, обязательно, как были обязательны, будничны и, в общем-то, терпимы совместные семейные вечеринки в Новый год, приемы в Смольном или Мариинском дворце по случаю празднования годовщины Октябрьской Социалистической революции, генеральные уборки в квартире или поездки на казенную дачу в Комарово. Татьяна Николаевна, как женщина рассудительная, прекрасно знала, что всё имеет своё окончание: и уборка, и объятья со свекром и свекровью, и дождливое лето на даче, и совместная постель с законным супругом. Долг есть долг, и нечего от него отлынивать. Она знала, что у Игоря Владимировича есть любовницы: одна постоянная — плановичка с завода, другая — «на пол ставки», то есть временно исполняющая обязанности «плановички», когда у И.В. наступало охлаждение к последней. Про «оказии» и говорить нечего, кто их считает, тем более, что супруг часто ездил в командировки. Татьяна Николаевна сначала брезгливо удивлялась, затем перестала думать об этом — стало не интересно — «пусть радуется, если здоровье позволяет, жизнь одна...». У самой Татьяны Николаевны любовников не было, опять-таки, из-за брезгливости, осторожности, да и не подворачивалось как-то. У неё было красивое правильное лицо: прямой нос, голубые чуть раскосые глаза, однако рано появившаяся седина старила её. Но даже не седина отпугивала возможных ухажеров, а плотно сжатые узкие губы, холодный прямой взгляд, казалось, что она не мигает — за глаза её часто называли «коброй», тихий, ровный голос с жесткой, порой безапелляционной интонацией, неулыбчивость... Не было у неё возлюбленных ни до брака, ни во время его, и не нуждалась она в них, а вот тут — с этим Ю., который был и моложе её на пять лет, и не красив, и не известен, и вообще... — вот тут она и попалась.

...Речей у могилы никто не произносил — всё то небольшое, что можно и нужно было сказать, сказали ещё в морге. Леночка плакала, её бережно поддерживал под руку новый хахаль. Родных у Ю., кроме двоюродной сестры, у которой собирали поминки, не было. Гроб опустили, кинули по горсти земли, рабочие стали закапывать. Татьяна Николаевна стояла поодаль, не смешиваясь с сотрудниками и друзьями Ю. Она не плакала, потому что было бы странно, если бы её увидели плачущей на похоронах одного из «внештатников», на которых она и быть-то не обязана. Да и не плакалось ей — не умела она плакать. Потом все стали суетливо собираться в автобус. После недолгого колебания к ней подошла родственница Ю. и робко пригласила на поминки, но Татьяна Николаевна, конечно, отказалась.

Когда все уехали на автобусе и «Жигулях», она подошла в своей служебной машине и отпустила шофера: делать на работе было нечего, а домой идти не могла. Она вернулась

к церкви и, после недолгого раздумья, вошла. Было сумрачно, тихо, пустынно. Лишь сгорбленная женщина в теплом зимнем платке убирала оплывшие свечи, и сухой высокий старик молча стоял у главного придела прямо перед портретом святого Серафима Саровского, писанного игуменом Иоасафом. Татьяна Николаевна была, естественно, атеисткой, она искренне верила в невозможность существования некоего нематериального существа, управляющего мирозданием и миропорядком. В то же время она была женщиной не просто высокообразованной, она была знатоком города. «Как странно раскладывает свои карты история, — подумала она, — когда-то, в блокадную зиму 42-го, здесь лежала моя бабушка. Да не на отпевании, а в морге, здесь тогда был морг. А до этого жуткого времени Храм принадлежал «Живой церкви» — «обновленцам», во главе которых стоял Александр Иванович Боярский — дедушка Миши Боярского, любимца редакции...»

Она подошла к киоту слева от амвона, к иконе Смоленской Божьей матери. Молиться она не умела, она просто вспомнила деда Боярского — достойный, говорят, был человек, его расстреляли, кажется, в 37-м. За что? Вот уж был всем своим духом предан новой власти, ею же, ЧК, во всяком случае, поначалу и пестуем: «обновленцы» — детище железного Феликса... Впрочем, о том времени она старалась не думать. Затем она вспомнила своих родителей. Странно, но она начала их понимать и любить, вернее, чувствовать ту неразрывную родственную связь и духовную близость, которые проявляются внезапно и часто вне зависимости от чувства любви или чувства неприязни, и которые цементируют семейные отношения лучше и прочнее любых других эмоций, — она стала чувствовать своих родителей — только после их смерти. Они были люди, как и она, замкнутые, закрытые, немногословные, подтянутые, суровые. Много бы отдала сейчас Татьяна Николаевна, чтобы поговорить по душам со своей мамой, рассказать о Ю., о том невероятном событии, которое перевернуло её жизнь и том горе, которое свалилось на нее ныне, многое отдала бы за то, чтобы посоветоваться с папой — он был большим умницей и знатоком человеческой души и всех её закоулков, подчас весьма темных и таинственных, но... увы... Поезд давно ушел и уже никогда не вернется на свой родной полустанок. Потом Татьяна Николаевна решила навестить друзей — их было много на этом кладбище. Она вышла на улицу и медленно побрела по аллее. Опять посыпалась дождевая пыль, посеребло. Сначала она подошла к Богдановой-Чесноковой — не простой человек была Гликерия Васильевна, много крови попортила она Татьяне Николаевне, но и талантлива была фантастически, всё ей прощалось. Затем — к Балабиной. Они не были знакомы близко, но от встреч с Феей Ивановной остались самые светлые воспоминания. Затем постояла у могилы Филонова, а вот у Лебзак задержалась. Какую-то странную связь чувствовала она с этой актрисой. И знакомы были шапочно, и пару интервью, которая тогда ещё юная Татьяна пыталась взять у своего кумира, не получились, а может, потому и не получилось, что — «у кумира» — впоследствии думала она, и абсолютно разные по складу характера были они, но именно у могилы Ольги Яковлевны остановилась Татьяна Николаевна, присела на близстоящую ветхую скамеечку...

Вот и кончилась жизнь, подумала она, и было ей самой не понятно, что она имеет в виду: ушедшего Ю. или свою жизнь, которая прекратилась после его ухода. Видимо, и то, и другое, ибо последние годы их две жизни сплелись в одно целое. Кто бы мог подумать! Нет, она будет ходить на службу, нервничать перед каждым выпуском, посещать нужные премьеры писать рецензии, работать с корреспондентами, спорить с коллегами, добиваться приема у Главного, встречать Игоря Владимировича после командиро-



вок, не удивляясь легкому остаточному запаху незнакомых духов, радуясь — иногда искренне — подаркам, которые он всегда привозил, она будет следить за внешностью, посещая свою маникюршу и заботится об идеальности прически «под мальчика», она будет продолжать жить, как жила раньше, до того дня, когда она уступила просьбе племянника и приняла в своем старом кабинете застенчивого не очень интересного сутулого мужчину — возможного «внештатника»... Но разве это была жизнь? Что было в той жизни? Работа, которая поначалу казалась ей праздником жизни, тем распахнутым в свежий живой яркий мир окном, которое дало бы ей возможность вырваться из серого регламентированного существования, но молниеносно превратившаяся в рутину, размеренную, заранее предначертанную, без отклонений, творческих взлетов, фантазии. Юность без друзей, единомышленников, вздыхателей, ревнивцев, пьяных вечеринок, провожаний до утра, замазанных синяков на шее. Учеба — всегда «на отлично», когда она не испытала ни разу счастья победы или успеха, потому что не было поражений или неудач. Брак, бездетный, постный, правильный... Разве это была жизнь? Правда, до Ю. было у неё одно настоящее увлечение — Иоасаф.

Батуриным Татьяна Николаевна заболела ещё в студенчестве. Она прекрасно понимала, что он был человеком ненормальным и, наверное, мало симпатичным — слишком активным, слишком авантюристичным, слишком фанатичным, слишком честолюбивым, слишком обидчивым, слишком, слишком... И картежные долги непомерные имел, собственно, они, скорее всего, и подвигли его на авантюру с возведением на престол будущего Петра Третьего. Однако она влюбилась в него и даже стала писать роман. Вернее сначала она собирала материалы для статьи, но когда окунулась в ту эпоху, когда стала ощущать запах сырости Шлиссельбургского каземата, услышала лай гончих на охоте Великого Князя Петра Федоровича, когда её просквозило на галиоте «Святой Петр», пересекающим три океана, когда она услышала зажигательные призывы, когда она кожей своей осознала, что такое четыре года в подземном каземате Преображенского Приказа — без света, на «хлебе — воде», в холоде, сырости, зловонии и нечистотах, — когда она стала жить жизнью этого фантастического человека, остановиться на сухой научной статье она уже не смогла. Причем долгое время она даже не понимала, что более всего притягивает, завораживает её. Наверное, неукротимость: мало ему, отпрыску старинной фамилии, было смертного приговора, замененного ссылкой в Сибирь, разжалования, ан нет, пошел по новой, да и не за ложное сказание «слова и дела по первому пункту», как в первый раз, а уже за попытку извести с престола Елисавету Петровну и лишить живота аж самого Алексея Григорьевича Разумовского, чтобы поставить на царствование цесаревича, дабы «держал он армию в полном порядке и имел только государственное правление». Донесли, конечно, и оказался её герой в Преображенском Приказе, а так как Елисавета по причине никому не известной не наложила никакой конфирмации, то в ожидании её провел Иоасаф Андреевич четыре страшных года в подземелье этого Приказа, а затем был посажен в Шлиссельбург в «одиночку» 8x2 на «вечное содержание» и просидел там почти 15 лет, но не успокоился: и там умудрился подготовить побег и совершить некое возмущение, за что был приговорен Сенатом к пожизненной ссылке в Нерчинск, но по приказу воцарившегося Петра III оставлен в крепости; и совратил там солдата Федора Сорокина передать письмо Императрице — на сей раз уже Екатерине. Письмецо это разгневало властительницу — никто не смел напоминать ей об убиенном ею же муже, тем более что Петр — Ульрих имел сношение с Иоасафом и, хоть, узнав, ужаснулся, да смолчал, не донес — прав-

да и не освободил в благодарность. Что бы то ни было, ненавистны были Ея Величеству любые напоминания о Петре III, и выслали несчастного «подлеца и авантюриста Батурина» на Камчатку — в Большерецкий острог навечно. Казалось бы, конец. Но не для «избранника» Татьяны Николаевны. Бежал с Камчатки Иоасаф. Заговор возглавил то ли граф Мориц Август, то ли барон Анадар де Бенев, но, в любом случае, великий авантюрист Бениовский, человек незаурядной учености, предприимчивости, изобретательности, энергии и отваги. Ну а Батурин оказался в нужное время в нужном месте — моментально сориентировавшись, он стал «правой рукой» Бениовского. Захватив галиот «Святой Петр», поплыли они по морям — океанам, грабя, захватывая, заселяя, воюя, сиречь, наслаждаясь свободой. Так на воле и окончил свои дни Иоасаф Андреевич — одни говорили, через несколько месяцев после побега во время захвата острова Формоза, другие, что при переходе из Кантона во Францию, а случилось это 23 февраля 1772 года, скорее же всего, он погиб через пару лет на Мадагаскаре в очередной стычке то ли во главе туземцев против французов, то ли на стороне французов... Свободный был человек.

Собственно говоря, благодаря этому Иоасафу и сблизилась Татьяна Николаевна с Ю.

...Кладбище постепенно пустело. Пора бы встать и идти искать трамвайную остановку — Татьяна Николаевна видела, проезжая на служебной машине, трамвайные пути, идущие параллельно железнодорожному полотну — общественным транспортом она не пользовалась уже лет десять. Однако встать не было сил. Перестало моросить, но, всё равно, было зябко и сыро, ноги подмокли, по дождевику скатывались крупные капли, даже с носа капало, но она сидела около могилы Ольги Яковлевны, не двигаясь, не замечая пожилую пару, неторопливо убиравшую свежую могилу с надписью на фанере: «любимому сыночку Сашеньке», ни облезлой собаки, присевшей недалеко от неё и выжидательно поглядывающей: «эй, старуха, пошамать не найдется?», ни надвигающихся сумерек, ни легкого озноба. Ей хотелось заплакать, но у неё не получалось, или закурить, но курить она никогда не пробовала. Неожиданно для себя она обратилась к старикам: «Извините, у вас выпить не найдется?» — Те оторвались от своего занятия, с удивлением посмотрели на элегантную седую женщину в черном блестящем плаще и промокшем черном кружевном платке: «Нет, милая, мы непьющие, прости». Деревья заунывно скрипели, вороны тяжело перепрыгивали с ограды на ограду, ударил церковный колокол.

Благодаря Батурину они и сошлись. Татьяна Николаевна уже давно привыкла к тому, что робкие попытки поделиться своим увлечением, своими находками и догадками по поводу «героя её романа» наталкиваются в лучшем случае на вежливое безразличие. Даже самые близкие люди, а таких было «раз-два и обчёлся», кратко осведомившись, «а кто это такой» или натужно воскликнув, «как интересно», — тут же переводили разговор на другую, более актуальную тему. Даже Ириша Владзиевская, её любимая «половиночка» с детства была вся в своем Николеньке и его проблемах, когда-то её самая близкая подруга и единомышленница ещё со студенческих лет, на сообщение об открытии, поразившем Татьяну, о том, что Бениовский, уже прочно завоевавший её симпатии, запросто, как бы между делом убил городничего Большерецка Нилова, который доверил Бениовскому обучение своих детей, тем самым, оградив его от тягот каторжной жизни, более того, обеспечил довольно привилегированное положение в городе, — даже Ириша, а было это где-то в 75-м году, выслушав в пол уха эту Татьянину сенсацию, ответила без паузы или раздумья: «Потрясающе! А знаешь, Гога, всё же, отнял “Холстомер” у Розовского. Марк, конечно, не Сирота, но всё же... Там хорошо Дина Морисовна поработала». В дру-

гой раз, значительно позже, когда она сидела на кухне с Игорем Владимировичем, — а это бывало крайне редко, — и вдруг разговорились они откровенно и честно, — а это было ещё большей редкостью — о своих проблемах — профессиональных и личных, — и она неожиданно для себя с радостью сообщила ему, что разобралась, наконец, с «непристойными, противными и неучтивыми словами» Батурина в адрес своего командира — полковника Ширванского пехотного полка фон Экина (или фон Элнина — разночтения эти раздражали Татьяну Николаевну), так вот, тогда Игорь Владимирович уставился на неё, помолчал, а потом в ответ сказал: Хорошо, а что у вас там с Корогодским происходит? Вчера на Обкоме об этом говорили. Думаю, скоро его уберут. Вальчук там не случайно. Мало ему пятого пункта, он ещё и мальчишками балуется. Ты там проследи». Больше Татьяна Николаевна тему Батурина ни с мужем, ни с кем другим не затрагивала, да и для себя она её закрыла. «Никому это не нужно».

В тот день, когда она приняла протезе своего племянника, случилась вещь неожиданная и чрезвычайная в ее жизни. Мало того, что этот Ю. её разговорил и своими рассказами как-то расслабил. По окончании приема, когда она встала и, подав руку, пожелала успеха, он неожиданно сказал: «А вы не хотите пройтись? Погода сегодня больно уж ласковая...» И смущенно улыбнулся. Таких предложений Татьяна Николаевна никогда не слышала даже от своих коллег, тем более от внештатника, тем более от новичка, не только не слышала, но и не могла представить, что такое может случиться. От неожиданности и растерянности она распустила лицевые мышцы, разжала свои губы, оказавшиеся не такими уж узкими, а скорее по-детски пухлыми, приоткрыла рот... И согласилась.

Они прошлись, разговаривая о пустяках, по Фонтанке, свернули на Ломоносова, вышли к «Пяти Углом». И здесь он сделал ещё один немислимый демарш: предложил зайти в мороженицу. В мороженице она была в последний раз лет двадцать назад, ещё в студенческие годы. «А вы что, любите мороженое?» — интуитивно оттягивая ответ, задала нелепый вопрос Татьяна Николаевна, находясь к совершенно несвойственной ей прострации и абсолютно не зная, как себя вести в подобной довольно дикой ситуации. «Да!» — ответил он и опять улыбнулся как ребенок, признающийся в неблагоприятном поступке или намерении.

Какое мороженое они заказали, она не помнила, хоть убей. Но помнила, что он предложил взять ещё и шампанское. Соглашаясь, она вдруг заметила в его глазах мимолетный испуг и моментально поняла, что, наверное, у него нет денег, или, вернее, они у него в обрез, и он боится, хватит ли. «С удовольствием выпью Шампанское, но при одном условии: Вы платите за мороженое, я — за шампанское. Встреча у нас деловая, так что — гамбургский счет!». «Исключено, — его глаза сузились, она столкнулась с жестким, совершенно не свойственным его манерам, речевым интонациям и лицевой мимике взглядом — Исключено. За всё плачу я».

Вот тогда, выпив пол фужера полусухого шампанского, когда он спросил её, а что её интересует кроме журналистики, она и стала рассказывать ему о Батурине. Начала и тут же испугалась, что он не дослушает, или, дослушав, переведет разговор на свои будущие статьи, или начнет натужно искать вопросы, чтобы поддержать беседу. Однако он слушал внимательно, явно заинтересованно, кивая в знак согласия или поднимая брови в некотором удивлении или, возможно, несогласии, то есть слушал так, как слушают коллеги — Татьяна Николаевна не раз присутствовала на Ученых или Художественных советах в Институте на Моховой и, чаще, на Исаакиевской, в Консерватории, в театрах или «Ленкон-

церте», только Лёша слушал значительно доброжелательнее. Здесь уместно пояснить, что писателя Ю. звали Алексеем, правда Татьяна Николаевна стала звать его по имени несколько позже описываемой беседы в мороженице. «Он явно умеет слушать», — подумала она, и в это момент он спросил: «А Вы знакомы с Барсуковым?» О, это был блистательный ход, это было стопроцентным попаданием в «десятку». «Вы имеете с виду его “Рассказы из русской истории ХУШ века по архивным документам”?» — мягко улыбнулась она, и её сердечко окончательно расположилось к этому внештатнику в поношенном демисезонном пальто. «Да, как и его статью “Иосаф” в «Древней и Новой России» за 1870, кажется, год». — «За 1875, — поправила Татьяна, — впрочем, эти две работы почти идентичны, в 1885 году Барсуков лишь несколько расширил документальную базу», — она откинулась на спинку плетеного кресла и с удовольствием допила шампанское. Давно ей не было так спокойно, уютно, радостно. Потом они поговорили о «Записках» Екатерины, Татьяна Николаевна, удивляясь сама себе, рассказала анекдот весьма сомнительного свойства о Потемкине и Дашковой — Алексей Кронидович заразительно смеялся, затем вышли на улицу, смеркалось, они попрощались и разошлись — она в редакцию, он — домой, писать свой роман.

...Стало мрачнеть. Татьяна Николаевна заставила себя встать, еле разогнулась, ныла поясница, промокшие ноги задеревенели. Старики уже ушли. Было совсем пустынно и страшновато. Она направилась к выходу.

...Чем больше она узнавала его, тем больше он удивлял и привораживал. Конечно, он не был так глубоко погружен в материал, как Татьяна Николаевна, но его система мышления, его аргументация совершенно не походили на всё то, что приходилось слышать ей от самых авторитетных своих коллег и знакомых. К примеру, она так и не могла понять, почему Петр, взойдя на престол, не освободил Батурина. Если забыл о нем, было бы понятно, нет, помнил, дал предписание держать в крепости «с тем, чтобы давать лучшее там пропитание», то есть сделал послабление. И всё. Почему? Да, недолго царствовал несчастный муж Екатерины, но шесть месяцев более чем достаточно, чтобы выпустить из Шлиссельбурга человека, который и сел туда только потому, что попытался принести корону Великому Князю. На Истфаке, в Пушкинском Доме, в Публичке ей отвечали не очень охотно и не очень уверенно: «Стало быть, не было чувство благодарности знакомо Петру», или: «Так он же был ненормальный», или: «Не до того было, видимо...». Лишь Лёша ответил, не задумываясь: «А ты вспомни, что именно он — Петр Третий прикрыв Тайную Канцелярию. Впервые за столетия в России не пытали, всего полгода, но не вырывали шматы мяса с костей на дыбе, не коптили на огне заживо, не рвали ноздри, не “изымали подноготную правду”, то есть не загоняли под ногти железные гвозди или деревянные колышки, не надевали “испанский сапог”, не “клячили” голову, не ...» — «А причём здесь это?» — «А при том, Таня, что Петр был европеец. Станный, возможно, не совсем нормальный, Россию, как и жинку, не любивший и боявшийся, в солдатики и на скрипочке игравший, пивший “по-черному” и офицеров заставлявший пить, чудной то есть, но — европеец! Не мог он понять и, главное, вопреки закону простить человека, посягнувшего на легитимную власть, даже если это посягательство для его же пользы затевалось! Облегчить в благодарность попытался, но не более. Европеец он: Карл-Петр-Ульрих Голштинский, европеец. За это его, как и Павла, как и “моего” Лжедмитрия так люто ненавидели современники и так остервенело пинают потомки — Европой чуть запахло — да не в машкерадной, потешной — внешней оболочке Петра Первого, а по сути, а это России, как кость к горле. Хуже воровства. Не в подъем!»

Что значат слова «моего Лжедмитрия», Татьяна Николаевна к тому времени уже знала. Лёша писал книгу. О ней он мимоходом сообщил ещё при знакомстве на Фонтанке. Позже он неоднократно посвящал её в детали своего романа, рассказывал об интересных находках, но до поры до времени Татьяну это мало волновало — было занимательно, не более того. Ей казалось, что не может быть ничего более захватывающего, волнующего, нежели феерические судьбы Батурина и Бениовского... Однако постепенно блеск авантюры её героев, фантастичность их судеб, с чудесами взлетов и глубинами падений и расплат, включая ужас многолетнего сидения в “земляной тюрьме”, в постоянной ежеминутной борьбе с крысами, вшами, во мраке, в собственных испражнениях, или в каменных мешках, где узник годами не видел света, практически без свежего воздуха, не мог встать, лечь, вытянуть ноги или распрямиться — постепенно всё это стало отступать и меркнуть перед лицом подлинной трагедии, в которую вовлек её Алеша.

Не надо полагать, что всё их общение, особенно в комнате на Радищева сводилось к обсуждению исторических, филологических проблем, событий культурной жизни Ленинграда или «ленправдовских» новостей. На пятом десятке узнала Татьяна Николаевна, что такое страсть, что такое мучительное нетерпение в ожидании каждого прикосновения, что такое зажатый зубами край подушки, только сейчас она стала понимать своё тело, наслаждаясь реакцией каждой, казалось бы, независимой его частички, уже под старость она почувствовала, что ради его губ, ради его рук, ради его дыхания она готова пойти на любую глупость, возможно, на преступление, способна совершить гадкий немислимый поступок. Если бы он сказал, она бы, наверное, смогла бы бросить всё: работу, мужа, положение... Впрочем, он ей этого не предлагал. И... «слава Богу», думала она, возвращаясь в такси в свою квартиру в Гавани — она никогда не разрешала себя провожать. Но буквально через пару часов она опять начинала мечтать о следующей встрече — какое счастье, что Игорь Владимирович последнее время всё чаще уезжал в командировки или задерживался допоздна на срочных производственных совещаниях: она могла лежать всю ночь и, лаская своё тело, мечтать о следующей встрече, мысленно благодаря его соседку — некую незнакомую Леночку за то, что её опять не будет дома, и она сможет, не сдерживая себя, стонать, кричать, плакать, смеяться. Самое забавное, что Леша не был искусным любовником. Напротив, он был явно неопытен, робок, порой неуклюж. Именно его осторожная, благоговейная ласковость, его нежная пылливость в постижении всех её потаенных уголков, его настойчивая потребность доставить ей максимум счастья во всем, что их связывало, — всё это возбуждало и покоряло её. Он как-то сказал: «Ты — самое дорогое вино в изысканном венецианском бокале». — «Ты хочешь сказать: самое старое!» — «Нет, я сказал то, что хотел — самое хмельное, самое легкое, самое терпкое из вин». — «После которого утром голова раскалывается?» — «Не-ет! Ты путаешь с портвейном за 2.78; я же говорю об изысканном — “Дом Периньон”, скажем». — «Ты пробовал?» — «Нет, читал, но это не важно: от тебя же голова кружится и хочется пить и пить!» — «Ну, так пей...». И он «пил» неторопливо, маленькими глотками, но не опытного дегустатора, а восторженного новичка, с восхищением открывающего для себя новый мир чувств, ощущений, желаний.

Его неосведомленность в делах любовных проявлялась не только во время отсутствия соседки Леночки. Татьяну Николаевну развеселило желание Ю. обязательно ввести в свой роман хотя бы одну эротическую сцену. «Это ведь жизнь, а жизнь без этого невозможна», — горячо уверял он. «Жизнь невозможна, — парировала она, — но твой роман, именно этот — твой, вполне возможен. Ты же не “Тропик рака” пишешь. Не нужны ему

эти подробности, не в этом суть, да и не силен ты, Лёша, в данной номинации». — Сказала, а потом пожалела, потому что он, кажется, обиделся. Как-то, когда он был на кухне, она тайком заглянула в главу под названием «Иван Мартынович». Глава ограничивалась двумя обрывочными фразами, которые должны были живописать любовные сцены. Ей запомнилось: первая фраза: «Она безвольно раздвинула ноги», и вторая — «Её большие тяжелые груди с крупными сосками...» Далее шло многоточие. Видимо, Алексей Кронидович не знал, что делать с этими «тяжелыми грудями» и «крупными сосками». Скорее всего, он учел её совет и более не возвращался к эротике, без которой «и жизнь — не жизнь». Да и не нужна была она — эта эротика в его романе — права Татьяна, — никоим образом не соприкасалась она с трагедией Марины.

Только с Алёшей Татьяна Николаевна стала чувствовать себя настоящей женщиной, способной не только по-настоящему любить мужчину, но и готовой быть матерью. Никогда ранее не думала она о детях — не нужно ей это было, не представляла она себя “в положении”, в халатике, выглядывающей из окна родильного дома, потом замученной, внешне опустившейся, с отвисшей грудью, неприбранными волосами, опухшим от бессонницы лицом, занятой пеленками, ползунками, детскими смесями, очередями в консультацию, родительскими собраниями... Да и не испытывала она умиления или восторга при виде детей, как, впрочем, и при виде собак, кошек, прочей живности. Сейчас, приближаясь к пятидесяти, поняла она, что обворовала себя, лишила, возможно, самого главного в жизни, потеряла её — эту жизнь — безвозвратно и безнадежно.

Ощувив, наконец, свою женскую суть, смогла она войти в мир романа — так и не дописанного и никому не известного — своего Алёши, ощутить своей плотью, кожей, кончиками пальцев, холодеющим от ужаса низом живота — всем своим существом ужас женщины теряющей, отдающей на мучительную смерть беззащитного ребенка, её плоть, её душу, её жизнь.

Незадолго до того, как Алешу увезли по «Скорой», лежали они в кровати, и зашел разговор о подробностях казни в XVII веке. Тогда опоясывающая боль в верхней части живота не была столь острой и не носила продолжительного характера, но он уже сильно похудел, иногда его лихорадило, он почти ничего не ел, стал желтеть лицом. Вот в ту ночь, одну из последних терпимых ночей, он и спросил, не знает ли она, всегда ли раздевали на эшафоте. Татьяна Николаевна вспомнила, что нужна была особая милость, чтобы разрешить казнить не «разболокши», то есть не «снев рубашенку». Так, Петр Первый снизошел и обещал Марии Гамильтон, что палач не прикоснется к ней во время казни и не обнажит «тела ея». И выполнил таки царь-демиург свое обещание: когда несчастная фрейлина упала на колени, прося «миловить», дать пожить хоть в темнице, хоть в монастыре, кат, следуя тайному сигналу Петра, снёс голову несчастной, не тронув её и, действительно, не обнажив. Царь умел слово своё держать. «Эта та, которую Петр целовал на эшафоте, а после казни, подняв её окровавленную голову, прочел присутствующим лекцию по анатомии?» — уточнил Алеша. — «Всё ты знаешь! Да, Петр не только присутствовал на казни своей мимолетной любовницы, он не мог, как всегда, не принять участия в этой веселящей его процедуре. Да и явилась на свою казнь бывшая фрейлина в чрезвычайно эффектном платье — белом с черными лентами. Петр по достоинству оценил и мужество, и кокетство обреченной. Не только расцеловать её, но и поддержал, когда она упала в обморок». — «Галантен был. Европейец...» — «Но это ты зря, зря иронизируешь. Ритуальное раздевание перед казнью было характерно для всей Европы. Вспомни Людовика

XVI — уж как мужественно вёл себя перед гильотиной, а сплеховал, стал сопротивляться, когда собрались ему волосы стричь и обнажить шею. Раздеть — значит лишить чести, “публично обнаженный” приравнялся к шельмованным, исключался из числа честных людей». — «Да я не об этом. Иронизирую, потому что изверг был Петр. Представь себе любого европейского монарха, самого кровожадного, лобызавшего свою жертву за минуту до казни. А затем на отрубленной голове поясняющей любознательной публике систему кровеносных сосудов». — «Не знаю, не знаю... Но Россию то он перевернул». — «Бог с ним. Я про мальчика. Его тоже, скорее всего, раздели. В противном случае, ежели помиловали, то есть не раздевали перед повешением, упомянули бы... Холодно ему было».

...Татьяна Николаевна остановилась у железнодорожного перехода. Эта ветка, кажется, вела в Сестрорецк, но она не помнила. Когда-то в детстве жила она на даче в Разливе, там был разросшийся малинник, мама набирала большую старинную фаянсовую миску «с верхом», и Таня уничтожала её в несколько минут, она обожала малину. Потом мама говорила: «Когда ты научишься аккуратно есть ягоды! Опять вся замазюкалась». И вытирала её губы мягким теплым ворсистым полотенцем. Было жарко, солнечно, сухо. Перед глазами возникло отражение в зеркале: губы и пол лица — в малине, хитрые голубые глазки, загорелое личико, распахнутые окна веранды. И сразу же Татьяна Николаевна увидела искусанные губы Алеши: никогда раньше не умела она чувствовать чужую боль острее, нежели свою, а тут её сразу опоясала пронизывающая боль, пересохло горло, появился зуд. Что же должна была чувствовать женщина, возлюбленного которой, сажают на кол! Какая это жуткая мучительная долгая смерть. Лёша не посвящал её в свои изыскания, но она, опять-таки, тайком прочитала у него, как это происходило: кол вводили в задний проход так, чтобы тело под собственной тяжестью оседало к земле; особое мастерство требовалось у палача — надо был так насадить тело, чтобы острие кола, проходя через внутренности, не задевало жизненно важные органы, нельзя было умереть раньше срока, зимой даже шубу надевали на несчастного, дабы часом не замерз... Кто такой этот Заруцкий? — Атаман донской, вояка, воин доблестный и удачливый — до поры до времени — вовлекла его стремнина Смуты, прибило его к Марине, возгорелся возможностью регентствовать при царевиче Иване; был пешкой в руках всесильных игроков — и на кол. Игроки тузовые даже сечены не были, куда там, обильную жатву сняли они с затеянной ими же Смуты. А его — Ивана Мартыновича — на кол. Но он ласкал её, любил её и она любила его, ласкала, осызала его плоть... Что должна было чувствовать эта женщина?

...Уже в больнице, зная о диагнозе — всё выяснял у врача, где же расположена эта поджелудочная железа и что от неё зависит, — Лёша мучительно думал не о себе, не о своем конце — страшном, изнурительном и неизбежном, — не думал не потому, что гнал от себя эти мысли, но потому, что уже жил жизнью Марины, и Татьяне Николаевне стала передаваться эта связь судеб, эпох, страстей и боли, и она уже всё более и более ощущала себя частью того целого, которое представляли её «внештатник» и дочь сандомирского воеводы. Она разрывалась между больницей и работой, к тому же безуспешно пыталась раздобыть разрешение на морфий, чтобы хоть как-то облегчить его страдания, но такого разрешения так и добилась, так как необходимо было доказать, что Ю. не наркоман, а доказать это было абсолютно невыносимо, ибо в наркодиспансерах города он на учете не состоял, плюс, ей надо было отмечаться и дома — как назло, Игорь Владимирович сидел на больничном с ангиной — но всё равно, даже в сумасшедшем темпе этих дней не отпускала её боль Марины, боль, перешедшая к ней от Алеши. За день до ухода, когда созна-

ние вернулось, и боль на минуту отпустила, он сказал шепотом: «жаль, что не дописал». Действительно, одна глава была лишь начата, пара глав не закончена, остальные нуждались в основательной редакции. Однако последняя фраза романа, которая врезалась в память Татьяны Николаевны, была написана давно:

«На крови невинного младенца замесил свою династию Филарет, и отметила эта кровь весь её трехсотлетний путь, и отозвалась в подвале ипатьевского дома кровью таких же невинных отроков».

...Впереди, метрах в пятидесяти, прогремел полупустой трамвай. Окна высокого кирпичного здания засветились уютным разноцветьем абажуров, торшеров, бра, отблесков телеэкранов. В лужах зарябили отблески тусклых фонарей. Сырой августовский ленинградский вечер. Татьяна Николаевна почувствовала головокружение и слабость в ногах: «Опять давление, наверное, упало» — подумала она, у нее была гипотония. Она остановилась и на минуту прислонилась к деревянному забору. «Авантюристка, конечно, хотя, скорее жертва — жертва своего отца, фактически продавшего свою дочь за 300000 рублей и «северскую землю с четырнадцатью городами», жертва своей гордыни, жертва интриг, жертва Смуты, не ею затеянной, не ею раздутой. Но она была женщиной, матерью. И у нее отбирают возлюбленного — на кол и её сыночка — четыре годика ему было, и палач несет его к виселице, и демонстративно рвет рубаху от ворота до пояса, и пытается затянуть на его шею толстую намыленную веревку из мочала, и не может сделать этого, так как шея тоненькая, детская, и ещё долго висит мальчик живой, коченея, у Серпуховских ворот... Московский люд ходит, глазет, радуется, семечки лужает... Господи...»

Глухой лающий звук, вырвавшийся из уст пожилой женщины, прислонившейся к забору, испугал проходившую супружескую пару. Они встревожено отпрянули, но затем подошли к ней, мужчина спросил, не нужна ли помощь. Та лишь отрицательно покачала головой, оторвала свое тело от промокшего деревянного ограждения и медленно пошла к трамвайной остановке. Прогремел ещё один пустой призрачно-прозрачный трамвай. «Теперь придется долго ждать следующего».

Небо прояснилось, появились крупные августовские звезды. Прямо под фонарем на трамвайной остановке целовались молодые люди. Какая-то полная крашеная дама в модном импортном пальто возмущенно пожимала плечами и демонстративно отворачивалась. Однако, не находя сочувствия у публики, состоявшей из одной седой женщины в черном блестящем плаще, повторяла свои телодвижения с большим усердием. Трамваем не пахло.



## Михаил ЛУКАШЕВИЧ



Родился в 1977 году в подмосковном городе Климовске. Окончил Московский инженерно-физический институт. Основное занятие — отец ребенка, для которого написаны эти замечательные стихи; в свободное время — предприниматель, журналист, редактор, переводчик и поэт. Переводит поэтов США (Огден Нэш, Фрэнсис Брет Гарт, Шел Силверстайн, Стивен Крейн, Джойс Килмер, Мэри Кэролин Дэвис, Джелетт Берджесс), Германии (Август Бюргер, Бёррис фон Мюнхгаузен, Детлев фон Лилиенкрон, Йозеф фон Шеффель), Англии (Роберт Геррик, Спайк Миллиган, Генри Кэри, Вильям Стивенсон), Шотландии (Джордж Утрам, Вильям Теннант), Бельгии (Морис Карем).

В 2003 году победил в конкурсе поэтического перевода, организованном сайтом «Город переводчиков». Неоднократно завоевывал призовые места в конкурсах поэтического перевода, проводимых под эгидой «Века перевода» (семинар Е. Витковского).

Опубликовал в «Русском журнале» цикл критических статей и эссе, посвященных теории и истории поэтического перевода.

Участник 8 семинара молодых писателей, пишущих для детей, в Карабихе (2011 г.), а также 12-го Форума молодых писателей России и Зарубежья в Липках.

## ДЕЖУРНЫЙ ВОЛШЕБНИК

### Кошки в море

Сенсация! В море плывут косяком  
Три кошки, под воду уйдя целиком!  
Лучатся они от счастливых улыбок.  
Ещё бы! Тут столько непуганых рыбок!  
Сбылась наконец голубая мечта  
Любого кота!

Они по морским продвигаются трассам  
То по-собачьи, то кроллем, то брассом,

А встретив акулу в пути невзначай,  
Стремглав переходят на стиль КОТтерфляй.  
Надеюсь, и вы повстречаете их —  
Трёх кошек морских.

## Летают летом во весь дух

Летают летом во весь дух  
Над городом жуки и птицы.  
И лёгкий тополиный пух  
Летает, не угомонится.

Летают летом средь светил  
Тарелки, блюдечки и миски.  
Летает даже крокодил,  
Но только очень-очень низко.

И я в летучем летнем сне,  
Как тополиный пух, летаю.  
Тянусь за блюдцем в вышине —  
И вырастаю.

## Дежурный волшебник

...А у него такая  
Работа непростая:  
Следи, чтоб неизменно  
Сменялись ночь и день;  
Чтоб восходило солнце,  
Чтоб высыпали звёзды,  
Чтоб щебетали птицы  
«Тень-тень, тень-тень, тень-тень»;

Поди-ка ты, попробуй,  
Так исхитриться, чтобы  
Весна сменяла зиму,  
не наоборот;  
Чтоб кончились метели,  
Закапали капли —  
И делать это нужно  
Буквально каждый год!

А мелкие заботы?  
Ведь на ночь должен кто-то

Сны сочинять для спящих  
И закрывать цветы.  
Мир погружён в дремоту,  
А он в свою работу —  
И даже не приляжет  
С приходом темноты.

Подумай, если худо:  
Ну разве мир не чудо?  
Смотри, какой оранжевый  
И круглый апельсин!  
Он на твоей ладони —  
Как маленькое солнце,  
Смеющееся солнце,  
Огромный витамин!

Так знай, кипит работа  
И день и ночь до пота,  
И, что бы ни случилось,  
Ты в мире не один.  
Кипит, кипит работа,  
Ведь сотворил же кто-то  
И это солнце в небе,  
И этот апельсин!

## Я мчу на самокате

Я мчу на самокате,  
Дождем умытый мир  
Красив, как на плакате,  
И вкусен, как пломбир.

Навстречу мне несутся  
Поселки, города,  
А позади плетутся  
Машины, поезда.

Курносая девчонка  
Мне долго машет вслед,  
И, шелестя, вдогонку  
Деревья шлют привет.

Я мчу на самокате,  
Объеду целый мир.  
И вы скорей с кроватей

Слезайте, из квартир  
На улицу бегите,  
Берите самокат,  
И мчите, мчите, мчите  
Куда глаза глядят!

## Морская колыбельная

Луна появилась, и вскоре  
Дремотой окутала море.  
Пушистый туман  
Из сказочных стран  
Укрыл от ненастья и горя.

Спит рыбок усталая стайка,  
Умолкла крикливая чайка,  
На лёгкой волне,  
Уютной волне  
Ты, море, её укачай-ка.

На время утихли муссоны,  
Пассаты сопят полусонно,  
И ты, как ветра,  
Усни до утра,  
Сынишка мой неугомонный.

## Котофей-корифей

У нас живёт учёный кот.  
Он чудеса который год  
Творит подобно магу.  
Как весело с младых когтей  
Он грыз гранит наук, верней —  
Терзал наук бумагу!

Сперва он одолел букварь  
И следом взялся за словарь:  
Над каждою страницей  
Корпел котёнок наш, пока  
По мановенью коготка  
Та не взмывала птицей.  
Драть мебель научился он,  
Тайком уписывать бекон,

Гонять собак кусачих...  
И вот Пафнутий-котофей  
Непревзойденный корифей  
Премудростей кошачьих.

Я помню (то-то был испуг!),  
Исполнил он смертельный трюк:  
Пробрался за окошко  
На узкий жестяной карниз  
И элегантно прыгнул вниз  
За пролетавшей мошкой.

Представьте, он остался жив!  
В полёте, зная, наворожив,  
На все четыре лапы  
Он приземлился, а потом  
Приветственно взмахнул хвостом  
За неимением шляпы.

Ему бы в цирке выступать,  
Да слишком любит он поспать.

## Дождливая песенка

Всё небо затянула хмарь,  
Не сунешься наружу.  
А дождь бубнит, как пономарь,  
И льёт за лужей лужу.

*Просвета месяцами жди.  
Насмарку выходные.  
Мы любим спорые дожди,  
Не любим — обложные.*

Знать, прохудилась в небесах  
Какая-то прокладка.  
И вот — захлюпало в носах,  
И под ногами гадко.

*Просвета месяцами жди.  
Насмарку выходные.  
Мы любим спорые дожди,  
Не любим — обложные.*

А вдруг потонет всё окрест,  
Сольются лужи в море?  
Придётся нам на Эверест  
Переселиться вскоре!

*Просвета месяцами жди.  
Насмарку выходные.  
Мы любим спорые дожди,  
Не любим — обложные.*

Найти бы вентиль потайной  
И починить погоду,  
И всем устроить выходной  
Как минимум по году!

## Песенка кондитера

Да, я кондитер, но к тому ж  
Я врачеватель детских душ.  
Лечу уныние и грусть.  
Рецепт запомни наизусть:  
*Коль что-то не идёт на лад,  
Отведай свежий шоколад.*

Лекарство горьким быть должно?  
Какая чушь! И так, дружок,  
В болезни горечи полно.  
А ты попробуй хоть разок,  
*Коль что-то не идёт на лад,  
Отведать свежий шоколад.*

Возьми еще конфет, малыш,  
И станет на душе легко.  
Так успокаивают лишь  
Орех, какао, молоко.  
*Коль что-то не идёт на лад,  
Отведай свежий шоколад.*

Да я и сам, хоть и старик,  
Хоть округлел уже, как нуль,  
Лекарство сладкое привык  
Ценить превыше всех пилюль.  
*Коль что-то не идёт на лад,  
Съедаю свежий шоколад.*

## Считалка про маяк и моряка

Я — моряк, а ты — маяк,  
Светишь сквозь туман и мрак.  
Твой неугасимый свет  
Бережёт меня от бед.

Я — маяк, а ты — моряк,  
Ходишь сквозь туман и мрак.  
Счастлив я тебе помочь  
Путь найти в лихую ночь.

## Считалка голодной Бабы-Яги

На неведомой дорожке  
Чахнет в ступе Баба-Ёжка:  
Разыгрался аппетит,  
А посудина — стоит!

Бабка воеет,  
Бабка злится,  
Битый час уже  
Бранится:  
«Ступа, ступа,  
Гром гремучий!  
Ступа,  
Ты меня  
Не мучай!  
Ступа, ступа,  
Ай-яй-яй!  
Будь, как туча,  
Ты летуча;  
Через реки, через кручи  
Отнеси меня  
В тот край,  
Где кафе и рестораны  
Где шеф-повар самобранный —  
Хоть в Корею,  
Хоть в Китай.  
Ступа старая,  
Взлетай!»

## Считалка про чёрную метку

Шхуну скрыл  
Густой туман.  
Будь на страже,  
Капитан!

У пиратов суд  
Несложен:  
Скоро будешь ты  
Низложен.

Вот — пистолы,  
Вот — ножи.  
Метку чёрную  
Держи!

## Шел по городу поэт

Шел по городу Поэт  
С целью молодецкой:  
Он разыскивал Сюжет  
Разноцветный, детский.

А Сюжет сидел в кустах  
И свистел украдкой.  
И Поэт в него — ба-бах! —  
Жахнул мармеладкой.

Ведь не соблазнишь Сюжет  
Кашкою из манки —  
Лучше мармелада нет  
Для него приманки!

Возвращается домой  
Наш Поэт с уловом:  
Вот Сюжет вам расписной,  
Обрамленный Словом!

---

---



## Ксения ДРАГУНСКАЯ



*Ксения Драгунская — драматург и прозаик.*

*Автор романа «Заблуждение велосипеда», нескольких книг «трансвозрастных» рассказов, множества пьес, идущих в театрах Москвы, России и бывшего СССР, и ряда опубликованных, премированных, но, разумеется, не поставленных сценариев: «Сыроежки», «Знак препинания пробел», «Чистокровная», «Светло и нестрашно», «Реконструкция скелета».*

*Сотрудничала на театре с Дмитрием Бертманом, Кириллом Серебренниковым, Ольгой Субботиной, Александром Калягиным, Романом Виктюком и другими театральными деятелями.*

*Живёт в Москве.*

## ИРГА

### 1

**Б**абушка, расскажи про парад!

Опять про парад...

Ну бабушка, ну расскажи...

Ладно.

Сперва только объявили, что будет парад. В воскресенье. Мы с друзьями не верили, шутили, а сами уже присмотрели себе подходящую крышу, чтобы оттуда смотреть.

Нет, бабушка, ты с начала с самого, про море...

Ах, вам ещё и с начала, негодники?.. Ладно, так уж и быть...

«Ресницы у меня были такие длинные, что неудобно носить солнечные очки. Все всегда обращали внимания на эти ресницы. Ну вот. В августе мы с моей мамой, вашей прабабушкой, между прочим, уезжали в санаторий в Прибалтику. Нет, Прибалтика это не одна страна, это несколько разных, а называются одним словом, потому что на берегу Балтийского моря все страны стоят. И вот Прибалтика, все три страны, она была вся наша,

то есть, в нашей стране, была такая одна большая страна, ну это долго объяснять, потом, когда вырастете...

Ну вот.

Там были мальчики, сыновья санаторского доктора, местные, старший и младший. И вот со старшим мы ели иргу, такие сладкие чёрные ягоды на высоких кустах, ели иргу и целовались в дюнах, это такие из песка, из песка такие, а младшего всяко умасливали, чтобы за нами не ходил и ничего никому не говорил. Как их звали? Янис и Андрис? Юрис и Улдис? Как-то так... Балтийские белоголовые мальчики, загорелые и вежливые, докторовы сыновья. Когда мы целовались, полагалось закрывать глаза, а он всегда открывал. Я ему говорю — это же нечестно. А он — мне нравится видеть, какие у тебя длинные ресницы. Ещё он водил меня в Луна-парк, кататься на каруселях.

Мы с ним не виделись после этого очень долго. Лет тридцать.

Он потом написал мне на фейсбук, была такая штука в компьютере, чтобы быстро найти кого угодно где угодно и пообщаться.

«Здесь теперь всё наше, нам всё вернули, называется «реституция», три дома и почти весь парк, приезжай ко мне и к морю, к нам с морем приезжай, здорово, что я тебя нашёл, я тебя всегда помнил».

И тут этот парад! Все говорили, что это очень важно, провести парад, показать, какие мы мирные, сознательные и терпимые, и тогда нас всех примут в Единство Достоянейших Равных. Они там все ездят друг к другу, без паспортов и печатей...

Мы заняли крышу, набрали с собой минералки, потому что жарко, да и крыша нагревается, и долго ждали. Фотики нацелили, видеокамеры, мобилы, чтобы снимать...

Но никто не пошёл. Парад отменили. Там кругом были надписи такие неприличные на стенах и везде, и священники выступали по телевизору. Парад отменили, потому что городские власти не могли гарантировать безопасности для участников.

Другой парад, или там демонстрация, которая специально снаряжалась бить этот, первый парад, они стартовали от собора, от самого главного храма... А, да, это называлось не парад, а марш. «Наш марш» или так как-то... Хотели драться, пошли громить Макдональдс и американское посольство, всегда начинают именно с этих точек. Увлёклись как-то, начались настоящие беспорядки, жгли машины, убивали случайных прохожих. А уж потом пришли войска, чтобы овладеть ситуацией, но в войсках не было единомыслия, разброд и шатания, и началось...

И нашу страну, ну, ту страну, которая тогда была, не приняли никуда, ни в какое Единство Достойных. Нет, Единство Достойных — это другое, это не та одна страна, где Прибалтика была наша, но тоже... По-другому, но похоже... Долго объяснять... Вырастете, прочтёте, если будут книжки... Словом, не приняли... Разве можно в Единство Достоянейших принимать тех, кто всё громит и убивает друг друга прямо на улицах?»

Тогда бабушка была молодая. Единственный раз в жизни, в первый и в последний, побила своего сына, здоровенного подростка, он теперь мой папа. Побила сильно, за то, что ходил с этими, которые против парада. Побила и плакала всю ночь — парад отменили, страну не примут в Единство Достоянейших Равных, никуда не поехать без печатей, не повидаться с Янисом и Улдисом.

Бабушка рассказывает про бывшую жизнь, про Макдональдс, про компьютеры и электронную почту, пересказывает фильмы и поёт старинные песни своей молодости — ком-

позитора Бориса Гребенщикова, на улице зима, уже сумерки, но от снега ещё светло, снег всюду, кругом, выше домов, на высоких елях и соснах, а в избе тепло, трещит печка, горит лучина, бабушка рассказывает...

## 2

**П**ощряя браконьерство и поддерживая нищую старуху, покупаешь букетик васильков, они завернуты в клетчатый тетрадный листочек, и дома, на кухне, пока вода льётся в вазочку, освобождаешь тонкие сырые стебельки из бумажки и замечаешь расплывшуюся гелиевую надпись: завтра в полдень с северной пристани уйдёт последний теплоход.

Я люблю свой город, вернее, то, чем он когда-то был, вернее, раньше любила, ведь это он меня вырастил, все эти проходные дворы, тёмные от зарослей лопухов и крапивы, где спят старые, укрытые многолетними слоями сухих листьев автомобили, проломы, заветные дырки, погнутые железные прутья в оградах садов, крутые переулки, бегущие вниз, к реке, к рекам, у нас две бедных городских реки. К тому же наш город такой многострадальный, то выборы, то кинофестиваль, гей парад, день семьи и верности, марши и демонстрации, карантин, штормовое предупреждение...

Но постепенно мы с моим городом перестали узнавать друг друга в лицо, оба как-то изменились. Понятно, что я всё равно ему благодарна и никогда никому не позволю его бранить, хули припёрлись, на фиг торчите, если не нравится? Но теплоход — последний, а я люблю всё последнее, если в магазине есть что-то последнее, беру не глядя, какая разница, нужно мне это или нет? Ветер, надувающий пыльную занавеску, уже кажется мне морским, как когда-то, где-то там, в детстве. Я начинаю собираться на последний теплоход, беру самое необходимое — книжку Пильняка, банковские карточки, айпод, там много фотографий сына, когда он был мал и мил, несколько яблок пожевать в дорогу, косметичку (у меня аллергия и нужны специальные жидкости для лица) и деревянный игрушечный парусник с чёрными парусами из коллекции моего папы, он собирал корабли до того, как придумал собирать колокольчики. Я знаю, что мне надо на последний теплоход, там, куда он доставит меня — хорошо, и там меня не найдут ни Аня с Серёжей, ни Наташа, ни Петя, ни Дима с Олей, ни этот пень Царевнин. Они мне ужасно надоели, эти, блин, коллеги, кусачие лохи и лохушки, амбициозные лузеры, соплежуи высокой квалификации, истеричные мужики и бабы под пятьдесят, засидевшиеся в моих персонажах. Настоящие уроды! Грохочущим трамваем я приезжаю на конечную станцию и парком бегу на причал, в стеклянное здание. Оказывается, надо заполнить анкеты, они разбросаны тут же, на пластиковых стульях и на стойке неработающего бара. Все уже тут! И Царевнин в том числе, смотрит собачьими глазами, норовит прикоснуться... Петя подсказывает, как заполнять анкеты, но никто не знает, латиницей или кириллицей. К тому же, у некоторых из нас такие фамилии, что возможны варианты... Вопросы какие-то idiotские, как из девчонской анкеты в школе, типа «ваш любимый цвет», но Наташа взволнована, боится ответить неверно, не так, как надо, боится, что от правильности ответов что-то зависит, вдруг не возьмут туда, куда так хочется попасть, говорит, что там, в другом городе, на далёком берегу, наконец найдёт своё счастье, там кто-то хороший и добрый оценит её внутреннюю красоту и духовное богатство... Там она выйдет замуж по любви, и

ребёнок не будет видеть помойки и пробки. Аня тоже нервничает, кого-то ждёт, то и дело кому-то звонит, просит Серёжу поддержать её скрипку, отходит в сторонку, говорит по мобильному и украдкой плачет, и Серёжа, неделю назад бросивший курить, просит у меня сигарету и передаёт скрипку Царевнину, поддержать, пока он прикурит. Дима и Оля ссорятся из-за какой-то катушки, оставленной дома, к тому же Оля волнуется, что её сфотографируют папарацци, которых нет в помине сейчас на заброшенной северной пристани... Петя талдычит про свой очередной проект, что там, куда мы гипотетически уйдём на теплоходе, он наконец раздобудет денег на свой гениальный проект, но только его будет трудно снять не в России, значит, надо будет построить выгородку России где-то в павильоне, а это сложно...

Так, а вы-то как здесь оказались, спрашиваю я, кто вам сказал про этот теплоход? Они наперебой говорят про какие-то надписи на асфальте, листовки в почтовом ящике, ночные смски с не определившегося номера и всякую такую чушь.

Как они мне остопиздели, у каждого человека в жизни наступает момент, когда друзей надо срочно послать на хуй... Вот и у меня момент настал, утром на северной пристани... Наташа решает позвонить Сане, чтобы Саня с матерью тоже успели на теплоход. Аня, лучшая подруга Наташи, уже перестала плакать, подходит ко мне близко и шепчет: Наташа какая-то странная, носится с этим Саней, он её трахнул несколько раз в прошлом году, просто по близорукости, так она до сих пор чувствует себя обязанной...

Проходит часа два, полдень давно миновал, все хотят есть и пить, жарко в стеклянном загоне, но никто не расходится... Я понимаю, что надо что-то делать, совершить поступок, сделать шаг, отличный от всего предыдущего соплежуйства, перестать играть в эти поддавки, наконец, хоть раз в жизни сделать шаг. Послушайте, говорю я, неужели непонятно, что всё это розыгрыш, чья-то милая шутка, нет никакого теплохода, пошли лучше выпьем, но они не хотят уходить, и я ухожу одна, почему-то совершенно нет машин, ни одной, блин, попутки, я иду по проспекту, и трамваи мёртво стоят, вот так раз, а я иду-шагаю, и пройти ещё смогу, но впереди неуклюже тыркается по пустой площади танк, потом другой, и люди на танках кричат непонятно... Короткими перебежками, прячась в подъездах, в подворотнях, а мимо куда-то бегут люди, бросая автомобили у тротуаров, я добираюсь до своего дома и останавливаюсь, глядя вверх.

У дома больше нет стены, моя комната обнажена, выворочена наружу, на всеобщее обозрение, но васильки стоят на столе...

Самое смешное, что теплоход пришёл, и они убралась на тот берег, куда-то туда, где уважают внутренний мир и духовное богатство, и даже успели прислать две фотографии.

Интернет некоторое время ещё работал...

### 3

**Н**а бульваре вскочить в пустой утренний ранний прозрачный троллейбус...  
На мне такое платье, что старичок в льняной рубашке щурит глаза, жмурится от удовольствия, радуется — как ребёнок большой конфете. Я улыбаюсь ему в ответ, и он подсаживается ко мне поближе, передвигается от окошка на край и спрашивает меня через проход:

— Какой ваш любимый аттракцион?

— Виски и Харли Дэвидсон! — без запинки отвечаю я, и глаза его становятся строгими.

— Не надо обманывать старших.

Но я и не думала обманывать, послушай-ка, старичок, ты что, я тебя не обманывала, ещё даже и не начинала, не приступила, так сказать, к введению тебя в большое заблуждение, быть может, в последнее заблуждение твоей полной идиотизма жизни...

На фиг ты сдался, сказать по чести?

— Ваш любимый аттракцион — карусель «цепочная», — строго и даже грустно говорит старичок.

Вот придумал! Карусель «цепочная»! Тоже мне, аттракцион, я даже толком не знаю, что это такое, что-то старинное, как сам старичок, я смеюсь, и он улыбается тоже, снова радостно оглядывая меня, ну точно, как ребёнок — игрушку или сладость. Сейчас он похвалит моё платье. Я жду, чтобы ответить на похвалу, поблагодарить за комплимент, но он качает головой и спрашивает, глядя то на платье, то мне прямо в глаза:

— И в этом вы собираетесь идти на коронацию?

Ах да, ведь коронация же! Уже совсем скоро, всюду постеры и огромные перетяжки.

— Это просто несерьёзно, — говорит старичок. — Вас могут не пропустить.

Как это — могут не пропустить? Пропустят всех, народу осталось мало, всего ничего, и теперь все будут жить дружно и счастливо, «Обнимитесь, уцелевшие!» — именно так и написано на перетяжках.

— У меня есть знакомые фэшн-дизайнеры, — говорит доверительно старичок. — Они вас оденут. Пойдёмте со мной.

Мне интересно посмотреть на этих фэшн-дизайнеров, и старичок выглядит вполне мирно, к тому же я моложе его раза в три и гораздо здоровее, мы всегда ели сало и картошку, запивая молоком...

Опираясь на руку старичка, я выпрыгиваю из троллейбуса, и крутым переулком мы приходим в дом с деревянной галереей на втором этаже. Это коммуналка! В детстве бабушка рассказывала, и я никак не могла запомнить это слово, думала, что это вопрос: кому жалко?

— Привёл? — радуется бородатый китаец.

Или кто-то ещё бородатый, похожий на китайца, чукча или бурят.

Входит старушка с мешком свежескошенной травы и принимается устилать ею пол. Это Троица, что ли? Сегодня Троица? Я пропустила Троицу, мой любимый праздник... В деревне мы всегда...

Нет, Троица после коронации, теперь всё будет после коронации, всё переносится, возможно, будет новый календарь и новое летоисчисление, а трава для того, чтобы мастеру, фэшн-дизайнеру, хорошо работалось, он любит когда вот так вот трава...

Вокруг меня суетятся люди, советуют, каким должно быть платье, надо украсить его вологодскими кружевами и гуцульской резьбой, якутскими алмазами, чукотскими мехами и дагестанским серебром, самыми лучшими художествами народов, обретающих новую Отчизну — ведь такое бывает раз в жизни — коронация. Какое счастье, что все мы дожили до этого события, нам назначат царя, долго выбирали самого достойного, наконец нашли, мы это заслужили, была война, мы прятались в деревне, ели одну картошку с салом и пили молоко, и бабушка говорила нам про мирную жизнь, про несостоявшийся гей-парад, из-за которого наш город не приняли в Союз Достойных Равных и началась вся эта буча.

Уже стрекочет швейная машинка, старушка в инвалидном кресле спешно плетёт кружева — она делегат от семьи убийцы президента, это было давно, а их до сих пор уважают, меня обмеряют, щекоча старыми сантиметрами со стёртыми цифрами, какие ласковые, тёплые и мягкие руки у всех этих стариков.

— Мне будет жарко, — говорю я.

— Что ты, что ты, не будет, главное, не бойся.

Какие-то внутренние, потайные кармашки, и я понимаю, в чём дело — старики против коронации, они хотят, чтобы я надела их платье и подошла поближе к новому царю, а пульт будет у одного из них... Эти старики, ровесники бабушки, она умерла в деревне, не дождавшись конца войны, может быть, эти старики — её друзья, были вместе в каком-то там строительном пионерском отряде, она говорила нам что-то такое...

Люди с активной жизненной позицией.

И этот старичок, он что, тоже хочет, чтобы моё розовое тело, на которое он так облизывался в троллейбусе, разметало в клочки?

Старичок что-то замечает в моих глазах, замечает какое-то «Эх, ты...», он понимает, что я догадалась про пульт и тротил, и встаёт со скамейки.

— Мы на минуту, — он властно берёт меня за руку, он тут главный, никто не возражает, и мы выходим задними комнатами, кладовками, перешагивая через сломанные компьютеры и прочее старьё, у последней комнаты не достаёт стены, словно разбомбили, но вазильки стоят на столе, выходим в черничный лес, где пахнет прогретой сосной. Я не понимаю, как из московской коммуналки можно выйти в лес, и сбоку смотрю на него — жёсткие морщины старого морехода, военного, служилого человека. Мы идём лесом, впереди что-то светлеет между стволов. Море! С дюн — это такие песчаные, из песка, с травой и кустами — я вижу охваченный августовским закатом берег, там гуляют весёлые нарядные люди, играет музыка и море шумит, а подальше над дюнами взлетают и кружатся разноцветные кабинки карусели «цепочной».

Не боясь испачкаться, он рвёт чёрные ягоды с высоких кустов, протягивает мне полные ладони:

— Попробуй, это ирга.

Мы едим иргу, пачкаясь соком, смешно и чудесно, ведь правда же, смешно? — это мальчик, с которым целовалась бабушка, но как чисто он научился по-русски, бабушка говорила, что прибалтийский акцент «не лечится». Я хочу сказать, что всё детство слушала истории про него, и вообще поблагодарить, что увёл от этих террористов-маразматиков, но он вынимает из-за пазухи наган и вскидывает руку, я зажмуриваюсь, чтобы проснуться, а он говорит:

— А ресницы у тебя стали короче.

## Даниэль КЛУГЕР



Выдающийся израильский писатель, поэт и исполнитель собственных баллад. Родился в Симферополе, окончил физический факультет Симферопольского университета, работал в области клинической дозиметрии. Печатается с 1979 года. В 1986 году стал лауреатом конкурса, посвященного 125-летию журнала «Вокруг света», за лучший фантастический рассказ. Работает в жанрах фантастики и детектива, занимается исследованием истории детективной классики. Многие статьи Клугера, посвященные изучению эстетики фантастической и детективной литературы, публиковались на английском языке в известных во всем мире журналах *Science Fiction Studies* (США-Канада) и *Locus* (США).

Поэтические произведения Даниэля Клугера выходили отдельными изданиями, публиковались в израильской, российской и американской периодике, а его переводы баллад Франсуа Вийона вошли в престижную антологию «Век перевода» (Водолей Publishers, Москва 2005 -2006).

Поэтический цикл «Еврейские баллады» получил высокую оценку критики и в 2007 году его автор был удостоен премии «Олива Иерусалима».

Господин Клугер член Израильской федерации союзов писателей и иностранный член Британской Ассоциации писателей криминального жанра (*Criminal Writer's Association, CWA*).

## ИГРОК

*Готическая повесть в трех балладах с прологом и эпилогом, в которой, среди прочих, упоминаются добрый король Генрих Наваррский и великий изобретатель и художник Леонардо да Винчи.*

### Пролог

**15** мая 1610 года в Париже фанатик по имени Равальяк убил короля Генриха IV. Среди оплакивавших эту смерть был некто Мануэль де Пименталь, испанский эмигрант, друг и постоянный карточный партнер короля. Генрих однажды пошутил: «Король французов, конечно, я, но король картежников — безусловно, Пименталь». Настоящее имя этого короля картежников было Исаак бен-Жакар, уроженец Лиссабона, и эмиграция его из Испании была вынужденной. После смерти Генриха ничто не удерживало Мануэля-Исаака в столице Франции. Он счел за благо покинуть Париж и отправиться в Амстердам, налегке — с одной лишь колодой карт в кармане.

## Друг четырех королей

Согласно одному из толкований, карточные короли изображают следующих исторических деятелей: пиковый — Давида, трефовый — Александра Македонского, бубновый — Юлия Цезаря и червовый — Карла Великого (Шарлеманя).

Эй, девка, ставь на стол четыре кварталы,  
Да придержи браслетик на руке!  
Картежник Пименталь раскинет карты  
Сегодня в амстердамском кабаке.  
За окнами дождливая погода,  
Тоскует не согретая земля,  
И у врагов — крапленая колода,  
Но есть друзья — четыре короля!

*Пиковый король — псалмопевец Давид,  
Трефовый — суров Македонец на вид,  
Бубновый — у Цезаря мощная длань,  
Червовый король — Шарлемань.*

Совсем недавно тучи стали ниже,  
Совсем недавно всё пошло не так,  
И Генриха Наваррского в Париже  
Зарезал проходимец Равальяк.  
Жизнь Пименталья повернулась круто,  
И ни синицы нет, ни журавля.  
Помогут ли в последнюю минуту  
Ему друзья — четыре короля?

*Пиковую арфу настроит Давид,  
Трефовым копьем Александр пригрозит,  
Бубновый штандарт держит Цезаря длань,  
Червовый огонь — Шарлемань.*

Пускай отныне недруги судачат,  
Пускай враги твердят наперебой,  
Что отвернулась от него удача,  
Что был обманут Пименталь судьбой.  
Уйдут в туман Парижи, Амстердамы,  
Растает в небе призрак корабля.  
...Венок ему сплетут четыре дамы,  
Поднимут гроб четыре короля.

*Молитву прочтет псалмопевец Давид,  
Печально главу Македонец склонит,  
И Цезарь поднимет приветственно длань,  
Погасит огонь Шарлемань.*



В Амстердаме Мануэль де Пименталь, подобно другим эмигрантам-беженцам, вел вполне беспечную жизнь и даже преуспевал. Между тем, на его родине творились страшные дела.

## Аутодафе соломенных кукол

**Т**о, что Пименталь бежал из Испании, не избавляло его от преследований инквизиции и даже от участия в аутодафе (так называлась процедура вынесения и приведения в исполнение приговора инквизиционного суда). Для бежавших или умерших еретиков существовала процедура *«суда в изображении»* — осужденного изображала большая, в человеческий рост, соломенная кукла. В случае не побега, а смерти, к кукле привязывали ящик с останками умершего.

Спят купцы и мореходы ранним утром в Амстердаме,  
Но грохочут барабаны тем же утром в Лиссабоне.  
Там, на сцене-кемадеро\* — дань трагедии и драме,  
Там врагам напоминают о божественном законе.  
И торжественно шагают инквизиторы, солдаты,  
Следом, в желтых санбенито — осужденные злодеи.  
Не спасут злодеев деньги — мараведи и дукаты,  
Не избегнут наказанья колдуны и чародеи.

Над столбами кемадеро, словно парус, черный купол.  
Барабаны умолкают — лишь молитвы да рыданья.  
Следом за еретиками на шестах проносят кукол  
Из холста, соломы, красок — тем злодеям в назиданье,  
Что побегом или смертью избежать суда хотели.  
Имена и преступления намалеваны на платье.  
Их поймать святые судьи не смогли иль не успели,  
Вместо них костер подарит куклам смертное объятье.

«...Доктор Антонио де Вергара, он же Моисей де Вергара, португалец, по роду занятий врач, иудействующий, *отсутствующий беглец, предстал в аутодафе в изображении*, с отличительными знаками осужденного, был выдан светскому правосудию с конфискацией имущества, которого не оказалось.

Диего Гомес де Саласар, он же Абрам де Саласар, португалец, по роду занятий купец, иудействующий, *отсутствующий беглец, умерший во Франции, предстал перед аутодафе в изображении*, с отличительными знаками осужденного, был выдан светскому правосудию с конфискацией имущества, которого не оказалось...»

В беззаботном Амстердаме, на другом краю Европы  
Мануэлю Пименталю улыбается фортуна.  
Он купец, судовладелец, перед ним — прямые тропы.  
У причала ждет приказа белопарусная шхуна.  
Вновь зовется Исааком, даже ходит в синагогу.  
Хоть состарился, шагает так же быстро и упруго,

---

\*Кемадеро — каменный помост, на котором проводились публичные казни.

За покой и процветанье он хвалу возносит Богу,  
Каждый вечер он играет в кабаке «Четыре друга».

Исаака бен-Жакара в Пиментале разодетом  
Узнает купец Альфонсо за столом, в пикет играя.  
«Исаак, ведь в Лиссабоне вас казнили прошлым летом!»  
«Дон Альфонсо, я там не был. Козырь ваш, игра вторая!»  
«Казнь была в изображенье, просто кукла из соломы,  
В колпаке и балахоне, на табличке — имя ваше...»  
«Жизненной реки порою столь причудливы изломы...»  
Исаак тасует карты, долго-долго пьет из чаши.

«...Мануэль де Пименталь, он же Исаак бен-Жакар Пименталь, португалец, по роду занятий судовладелец, иудействующий, *отсутствующий беглец, предстал в аутодафе в изображении*, с отличительными знаками осужденного, был выдан светскому правосудию с конфискацией имущества, которого не оказалось..».

Возвращается под утро, вновь пришла к нему удача,  
В кошельке его монеты, изумруды и агаты.  
Он ложится спать веселым, но во сне едва не плачет:  
Исааку снятся куклы, кемадеро и солдаты.  
Куклы корчатся и стонут, их вот-вот поглотит пламя,  
На него ж глядит сурово инквизитор на балконе.  
...Спят купцы и мореходы ранним утром в Амстердаме,  
Но опять, опять грохочут барабаны в Лиссабоне...

...А вскоре появился в Амстердаме странный незнакомец. *Он пришел в кабак «Четыре друга», в котором каждый вечер Мануэль Пименталь давал урок карточной игры. Незнакомец с тусклым взглядом и глухим голосом сел за его стол, и Мануэль проиграл ему всё, чем владел: шхуну, дом, шпагу, даже старый пистолет, с которым никогда не расставался. «Я приду за выигрышем ночью», — сказал незнакомец перед тем, как оставить кабак. На просьбу Мануэля отыграться, он повторил: «Ночью, — и добавил: — Если тебе есть, что ставить».*

## Баллада о пользе пистолетов

Главная деталь старинного пистолета состояла из курка с зажатым кусочком кремня и колесиком с насечкой. Стоило нажать на спусковой крючок, как из кремня *высекалась искра* и зажигала пороховой заряд. Автор этой конструкции — Леонардо да Винчи, и это единственное его изобретение, получившее всеобщее признание при жизни изобретателя и просуществовавшее по сей день: сейчас так устроены *зажигалки*.

Мрачен и молчалив нынче дон Исаак.  
Пальцами по столу — будто бы в барабан.  
Рядом с колодой карт старый лежит тесак,

А в Лиссабоне вновь время отверстых ран.  
Таёт в ночной тиши стынущий темный дом.  
Чьи-то звучат шаги... Кто-то сейчас войдет...  
Дон Исаак давно ждет за пустым столом.  
Дон Исаак давно гостя ночного ждет.

Дон Исаак вчера все проиграл ему:  
Шпагу и пистолет, шхуну и этот дом.  
Дон Исаак готов нынче уйти во тьму.  
Он о себе грустит, сильном и молодом.  
Бьют вдалеке часы, доски уже скрипят.  
Дон Исаак опять молча глядит на дверь.  
А на пороге — гость, он с головы до пят  
В черный укутан плащ, скалится, будто зверь.

В тусклых его глазах горечь и вязкий мрак.  
Вот он колоду карт мягкой берет рукой:  
«Хочешь сыграть опять, бедный дон Исаак?  
Что же поставишь ты, чтоб обрести покой!»  
Гостя лицо бледней старого полотна:  
«Немощен человек, праха земного горсть».  
Хмуρο глядит в окно призрачная луна,  
Хмуρο глядит в глаза странный, нелепый гость.

«Я за тобой пришел, страшно, небось, смотреть?  
Я из соломы черт, скрученный твой двойник,  
Чтоб не принять в огне лютую, злую смерть,  
Послан Судом Святым я за тобой, старик.  
Завтра тебя свезут стражники в Лиссабон,  
Радовать палачей эдаким барышом.  
Я же, хоть годным был только гонять ворон,  
Буду отныне жить в доме твоём большом».

Дон Исаак сказал: «Ставлю свою судьбу,  
Стóит она того даже на склоне лет.  
Коль проиграю, что ж — в пламени ли, в гробу.  
А отыграть хочу разве что пистолет!»  
«Ладно, — ответил гость, — этого мне не жаль.  
Ставлю — а ты давай, карты свои раскрой!»  
И стариной тряхнув, выиграл Пименталь...  
Высек курком искру — вскинулся гость ночной:

«Смеешь ты мне грозить? Я — твой двойник и смерть!  
Брось пистолет, игрок, это уж через край!»  
Молвил дон Исаак: «Будешь ты здесь гореть,  
Я подожгу тебя, чучело, так и знай!

Ты же не человек, хоть и хитер, и смел,  
Я б пощадил тебя, только не будет в прок!»  
...Был, говорят, пожар. Дом, говорят, сгорел.  
Чудом остался жив дон Исаак — игрок.

## Эпилог

...И в кабаке «Четыре друга» снова  
Раскинет карты старый Исаак,  
О страшном приключении — ни слова:  
Что дом сгорел — безделица, пустяк.  
У Пименталья снова ни дуката,  
Пропали закладные, векселя,  
Но шляпа щегольская не помята  
И в рукаве — четыре короля:

Пиковую арфу настроит Давид,  
Трефовым копьём Александр пригрозит,  
Бубновый штандарт держит Цезаря длань,  
Червовый огонь — Шарлемань.

И что ему богатство иль хоромы,  
Коль он в последний миг успел понять,  
Что смерть — всего лишь кукла из соломы,  
А кукле человека не подмять!  
Уйдут в туман Парижи, Амстердамы,  
Растает в небе призрак корабля.  
...Венок ему сплетут четыре дамы,  
Поднимут гроб четыре короля.

Молитву прочтет псалмопевец Давид,  
Печально главу Македонец склонит,  
И Цезарь поднимет приветственно длань,  
Погасит огонь Шарлемань.

В 1615 году Исаак бен-Жакар купил в городке Аудеркер, расположенном в 10 км к югу от Амстердама по реке Амшель, участок земли под кладбище. Оно стало первым еврейским кладбищем в Голландии и получило название «Бейт-Хаим» — «Дом Жизни». Это название кладбище сохраняет по сей день. А первым человеком, чей прах упокоился именно в этом месте, стал искатель приключений, картежник и авантюрист дон Мануэль де Пименталь — он же Исаак бен-Жакар. Может быть, он хотел обезопасить свой прах от преследований инквизиторов.

**Айдын ХАНМАГОМЕДОВ**  
(1946-2012)



*...Почему вообще до сих пор существуют поэты? Не переводятся ведь, хотя их истребляют порой не менее последовательно, чем евреев!...*

*...Когда-то один друг автора этих строк заявил: «Молитва совершеннее любого стихотворения!» Через несколько лет другой друг возразил: «Смотря какое стихотворение. Иное стихотворение становится молитвой!»...*

Рафаэль Левчин

*Как траурна древняя тишь,  
твердящая к полночи строго,  
что жизнь не подарок, а лишь  
подачка, хотя и от бога.*

Айдын Ханмагомедов

*Подробные сведения о творчестве Айдына Асадуллаевича Ханмагомедова можно прочитать в Википедии. Только поторопитесь — энциклопедия, щедро выделившая с десяток страниц на никогда не существовавшего поэта Расула Гамзатова, собирается удалить статью о человеке, который не только оставил после себя прекрасные стихи, но и обогатил русскую поэзию дробными, акрорифмицами, эгорифмицами, диарифмицами, тотальками и рухонками.*

*По образованию — филолог и юрист. Праправнук выдающегося ученого и поэта Хасана-эфенди ибн Абдуллаха ибн Курбанали ал-Алкадари ад-Дагистани, сын Асадуллы Гаджи-Курбановича Ханмагомедова — одного из зачинателей жанров поэмы, рассказа и пьесы в табасаранской литературе, двоюродный брат всемирно известных ученых Селима Омаровича Хан-Магомедова и Мариэтты Омаровны Чудаковой (урожденной Хан-Магомедовой). Остановимся на этом, потому что для перечисления всех знаменитых членов рода Хан-Магомедовых потребуется еще одна страница. Добавлю только, что сын Айдына Асадуллаевича Риад, благодаря любезности которого стала возможной эта публикация, — многократный чемпион России, Украины и Беларуси по пазлспорту, решению и составлению кроссвордов, решению sudoku.*

*Когда умирает настоящий поэт, останавливается время. Вот выдержка из письма, полученного мной от Риادا Ханмагомедова: «25 ноября 2012 г., отвечая на вопросы полицейских, составлявших протокол о смерти папы, мама сказала: «Мы его потеряли час назад». И посмотрев на часы, добавила: «В половине девятого». Полицейский удивленно возразил: «Но сейчас половина одиннадцатого!», и мама вновь горько расплакалась — её часы остановились в момент смерти мужа. В эту секунду все перевели взгляд на настенные часы — они тоже показывали*

*21:33. Время в квартире родителей остановилось. Мамины часы пошли после полуночи, а стенные всегда будут напоминать нам и гостям об Айдыне Ханмагомедове».*

*В 1983 году глаза Айдына Асадуллаевича Ханмагомедова перестали видеть, но духовное зрение поэта не утратило остроты до последнего мгновения его земной жизни.*

## БЕГЛЕЦ

### Музе

Когда беда тысячестью  
бьёт с неба, с суши и с воды,  
когда уже настолько больно,  
что я не чувствую беды,

когда душа — сплошная рана  
и сыплется на рану соль,  
ты появляешься неожиданно  
и заговариваешь боль.

### Творчество

Душа и мозг работают как рации,  
без слов, но все слова в конце концов —  
есть только черновые вариации  
их тайных и святых беловиков.

### Определение жанра

Уж если говорить спроста,  
четверостишье не искусство,  
а четвертованное чувство  
на плахе писчего листа.

### Беглец

Поэты здесь рабы, а не поэты.  
И муть небес обманчиво чиста.  
Чеканит ночь фальшивые монеты  
из бронзы пожелтевшего листа.

Но ты ушёл, и сонные кварталы  
обрамили дорогу на перрон.  
И ведали, догадываясь, шпалы,  
куда далёкий путь твой проторён.

Попутный поезд на второе утро  
остановился, чтоб уйти назад.  
Там, на конечной станции маршрута,  
сошёл ты, рад поездке и не рад.

Сошёл и замер на пустом вокзале,  
как будто из того конца земли  
тебя сюда просили, приглашали,  
ну а встречать забыли, не пришли.

## Агафье

Я по воле судьбы-баловницы,  
весь больной и промокший насквозь,  
снова в хате, где, кроме божницы,  
только двое: хозяйка и гость.

Отказавшись от чая с вареньем,  
я забудусь в табачном дыму  
и негромким молитвенным пеньем  
обогрею себя и уйму.

А когда полегчает на сердце,  
вдруг услышу твой голос в тиши:  
«Ах, откуда в тебе — иноверце  
столько много рассейской души?»

Я родился на юге, а проще —  
не была мне праматерью Русь.  
Только здешние звонкие рощи  
я и раем назвать не боюсь.

Вот и нынче пред нашу встречу  
я за трелями в рощу забрёл,  
и увлётся, и с птичьих наречий  
их на русский язык перевёл.

Я покину тебя на рассвете,  
поклонюсь на прощанье избе,  
где всю ночь я грустил о Дербенте,  
как в Дербенте грустил о тебе.

## Зима

Снега и снега на земле,  
как будто Отчизна на белом  
операционном столе,  
больная и духом, и телом.

## Заповедник

О бедная моя страна,  
в наш век больной и непогожий  
ты вся как заповедник божий,  
где рвёт и мечет сатана.

## Весна

Голубое небо нараспашку,  
а земля зелёная в цветах.  
Вновь рядится в майскую рубашку  
родина смиренных рубах.

## Родина

Весь Дербент, как грустная страница,  
нараспев читается с холма.  
На одной окраине — больница,  
на другой окраине — тюрьма.

## Память

Я тленен, но вечен Дербент,  
в чьей памяти татуировкой  
в надежде предсмертной и робкой  
я выколю автопортрет.

## Стихи с минарета

Я пойду к муэдзину и, если позволит старик,  
прочитаю дербентцам молитву и речь без запинки.  
Земляки, земляки, отзовитесь на мой полукрик,  
я вас всех приглашаю сегодня к себе на поминки.



Нет, не умер никто, но стихает на смертном одре  
наша древняя память, вернее, история наша.  
Сквозь года и столетья звала она, как атаманша,  
нас в родимые дебри, к далёкой и близкой поре.

Но великая память истёрта почти что сполна,  
потому что давно мы назад не шагаем за нею.  
Легче делать червонцы и сытно краснеть от вина,  
чем пускаться вслепую в какую-то там одиссею.

Лучше связка петрушки, чем грёз несъедобный букет,  
и один бриллиант, чем горстями слова-бриллианты.  
Но неужто потомок дешевле оценит гирлянды  
уникальных сказаний из былей, из притч, из легенд?

Неужели и завтра с желудка начнётся душа,  
а пузатый торгош летописцем замрёт у базара?  
Кстати, каждый второй почитает рубли торгоша,  
но едва ли и тысячный помнит стихи Самандара.

Земляки, земляки, пробудите себя поскорей,  
оторвитесь от дач и родимые корни полейте.  
Нас уже наплодилось за семьдесят тысяч в Дербенте  
без учёта надгробных, но вечно живущих камней.

## Аквариум

Пусть он многоуголен и широк,  
но всё равно в минуты ностальгии  
в нём рыбка в тот забьётся уголок,  
который ближе к морю, чем другие.

## Руки

Навеки раскрыты объятья,  
в которые тянется люд.  
Но гвозди, что вбиты в запястья,  
сомкнуться рукам не дают.

## Зов

На погосте пустынно, но слышится зов,  
будто там под землёй по старинке  
мертвецы окликают наземных жильцов,  
по которым справляют поминки.

## Русский перс

Я кладбище певчих изгоев,  
где с пулей казённой меж глаз  
спит Клюев, увы, не достроив  
в России мужицкий Шираз.

## Велимиру Хлебникову

Ты строчка «Свобода приходит нагая»,  
в которой так просто и так неспроста  
звучат триедино, мой слух обжигая,  
свобода, пришествие и нагота.

## После жизни

К прощенью склоняя людей,  
не к скорби, а только к прощенью,  
я буду простившею тенью  
скорбеть у могилы своей.



## Ксения КУММ



Родилась и выросла в Одессе. С 1995 года жила в Нью-Йорке, работала в финансовой отрасли. С 2010 года живет в Берлине. Последняя публикация: подборка стихотворений на английском языке (с нем. переводом) в журнале *Kritische Ausgabe* (N21, 2011).

# ВЕЛКОМ ТУ ЮКРЭЙН!

I

**В** Берлине у меня есть друг, немец — большой оригинал и русофил, что, кстати, не очень-то и редкое сочетание среди выходцев из бывшего ГДР. Его бабушка с дедушкой в середине семидесятых провели в Москве несколько интересных лет в качестве консультантов геологического НИИ, и их рассказы о путешествиях по России вдохновляли фантазии маленького Максимилиана. Когда он со мной познакомился, то первым делом осведомился, какой марки мой самовар. Узнав, что самовара у меня нет, он немного огорчился (у него самого было три, включая угольный тульский), но уже в следующую нашу встречу в одном из берлинских кафе он приволок приобретённый на барахолке советский электросамовар и торжественно вручил его мне. Мы прошеествовали с этим подарком через весь город ко мне домой, и, водрузив его в центре кухонного стола, заварили чай. Краник тёк, вода была «с душком», но Макс был очень доволен. Я попыталась было намекнуть, что самовары в Одессе, откуда я родом, особой популярностью не пользовались по причине ужасной жары. Но Макс сделал вид, что намёка не понял, и подарок до сих пылится у меня на кухне, служа в глазах иностранцев неоспоримым подтверждением популярной псевдо-теории о неразрывной связи русской души и самовара.

Макс никогда не появлялся без подарка, за пару лет «обрусив» мое домашнее хозяйство помимо пресловутого самовара, расписными деревянными ложками, подстаканниками с Кремлём и «Спутником», мельхиоровой солонкой за 2 руб. 50 копеек, тяжелой медалью «к 100-летию русской трёхлинейной винтовки» с рельефом некоего С.И. Моси-

на, явно приложившего руку к созданию этой самой винтовки. На полках появились новые книги: путеводитель по Советской Москве, книга о крымских винах, русско-немецкий разговорник за 1963-й год с такими ходкими фразами, как «я вам настоятельно рекомендую осмотреть наш машиностроительный завод и электростанцию». Макс наизусть цитировал поэму В. Ерофеева «Москва — Петушки» в переводе на немецкий. Но не только советский период интересовал моего друга. Как-то он принёс зачитанную «Анну Каренину» и принялся умолять меня достать из кладовки потрёпанную норковую шубу и пройти с ним под ручку по Унтер ден Линден. На это я ответила категорическим отказом, и не только потому, что за окном было лето.

Маковки русских церквей, деревянные тротуары, усадьбы с чаепитием в саду, крестьянские дети в лаптях — эти незамысловатые сюжеты первых цветных фотографий Прокудина-Горского начала прошлого века приводили Максимилиана в умиление. Глаза у него застлало мечтательной дымкой. Он хотел в Россию.

## II

Между тем, подходила пора моей очередной поездки на «историческую родину». Как истинная одесситка, Киев я видела только из окна поезда, а знания мои об украинском сельском быте были почерпнуты исключительно из Гоголя. Поэтому мне показалось этнографически-заманчивым предложение моего бывшего одноклассника Арсена Хачманяна остановиться по пути в Одессу у них с женой в украинском городке Радомышль. Арсен, сын мясника на одесском «Приводе», пережил вместе со мной все 10 классов нашей «альма матер», средней школы номер X на Молдаванке. Те, кто «прошел эту школу» и выжил в послеперестроечные годы, могли в этой жизни стать кем угодно и где угодно. Арсен стал директором молочного завода в Радомышле. О том, как это произошло, должна быть написана отдельная приключенческая книга.

Когда я упомянула об этом приглашении Максимилиану, он выказал столько энтузиазма сопроводить меня, что я, переговорив с мужем, согласилась.

Но это не Россия, — предупредила я его. Макс задумался, но, понадеявшись, что церкви, берёзы и пьяные там тоже наверняка найдутся, побежал заказывать билеты на поезд. Да, на поезд. Ехать он хотел по-старинке, чтобы «прочувствовать всю силу расстояния» (от столицы Германии до столицы Украины — 23 часа, но для немцев это уже очень далеко).

Приключения начались с кассы. Дойче Бан мог предложить билеты первого класса на поезд «Каштан» только в один конец, то есть — до Киева. На недоумённые вопросы Макса ответ был один: такая уважающая себя компания, как Дойче Бан не в состоянии гарантировать, что, придя на место отправки поезда из Киева, пассажиры этот поезд вообще обнаружат.

Я ещё долго пыталась разъяснить Макс, не очень хотевшему путешествовать без обратного билета, что такое этот самый «русский авось»: ни на английском, ни на немецком это выражение не несло такого сильного смыслового значения, сводясь к слабенькому «как-нибудь».

### III

**В**стретились мы на вокзале уже затемно. В зале ожидания для пассажиров первого класса приветливые официантки под приглушённый джаз предлагали бесплатный кофе, хрупокое печенье с шоколадной прожилкой и травяные ликёры.

Вскарабкавшись в грязный вагон, мы поняли, что «первый класс» окончился вместе с печеньем. В душном, узком коридоре двоим разминуться было невозможно. Подозрительно раздутый чемодан Макса сразу же застрял. «Уж не самовар ли там?» — закралась ужасная мысль.

Сзади наседали бывшие соотечественники. Под напором мата чемодан сдвинулся с места, и был кое-как водружен в купе. На нас места там уже не оставалось.

Осмотревшись, мы увидели, что «первый класс» заключался в том, что в этом микроскопическом пространстве с тремя полками на одной стороне мы будем ехать вдвоём. Другие же купе вмещали в себя троих человек в различных градусах согнутости. Расстояние между полками не превышало 60-ти сантиметров. Такой вагон почему-то назывался «немецким». Еле сдерживая нахлынувшую клаустрофобию, я чуть было не выскочила на остановке Берлин-Остбанхоф. Меня остановила блаженная улыбка Макса, разглядевшего в темноте коридора блестящий бок самовара.

— Podstakanniki, — мечтательно протянул он.

Ну что тут было поделать?

### IV

**К**моему большому облегчению оказалось, что самовара Макс с собой не взял. Помимо вещей, его чемодан был набит предметами «первой необходимости», включая тушёнку, лампу, грелку, полную аптечку, набор ниток и иглол, три буханки хлеба и объемную пластиковую бутылку с водой.

— Ты же не в путешествие по Амазонке едешь?

— Почти, — произнёс он и напряжённо прислушался к ругани из соседнего купе. За окном все ещё плыли тёмные пригороды Берлина, но ругались уже по-русски.

Макс завалился спать, а я устроилась читать на нижней полке, изредка пытаюсь различить в темноте очертания уже польских станций. Через Польшу мы ехали всю ночь. Под утро мне удалось заснуть, но в это время громко забарабанили в дверь.

— Таможенный контроль, — в полутёмное купе ввалился огромнейших размеров бюст.

Макс с испугу подскочил и ударился головой о верхнюю полку. Увидев его всклокоченную белобрысую голову и немецкий паспорт на столе, бюст потерял к нам всякий интерес.

— Что это было? — с ужасом спросил Макс сверху.

— Бюст, — невозмутимо ответила я.

— Кошмар, — пробормотал Макс и, отвернувшись к стенке, тотчас же засопел, счастливчик. Я поняла, что утро мне уже испортили.

До завтрака нас также навели очень серьёзные пограничники в полной форме, с собакой, но, глянув в паспорт и подобострастное немецкое лицо Макса, пожелали нам до-

брого пути и вежливо прикрыли дверь. Я решила, что какие-то выгоды в том, чтобы быть немцем, всё же есть.

Только мы сели завтракать, как поезд остановился на унылом сером полустанке. Где-то громко стучали железом по рельсам. Под окном, раскорячив лапы, сидела скучающая дворняга. Мы принялись за бутерброды, но тут вагон качнулся и начал медленно подниматься вверх. Достигнув трехметровой высоты, он завис в туманной дымке.

Мне вспомнилось, как Алиса в Зазеркалье перепрыгивала через меридианы. Нечто подобное, по всей видимости, происходило и с нами. Это было более, чем логично и я успокоилась. Макс же, побелев, выбежал в коридор. Там царило оживление команды подводной лодки при всплытии. Все громко перешучивались, даже не улыбочивая проводница оторвалась от ноутбука с российским телесериалом и принялась разносить чай. Согласно расписанию, мы достигли границы Украины, и нам меняли колеса. Длилась эта процедура ровно три часа, потраченные нами на созерцание вялых попыток дворняги изловить воображаемую блоху.

Только под вечер, в Коростене — первой украинской остановке — нам наконец-то разрешили выйти на свежий воздух. Быстро отбрав приставучих быбуль с варениками, грибами и калиной, а также одного настырного деда с вяленой рыбой под полой пиджака, я с удовольствием прохаживалась вдоль поезда.

Возвратившись к нашему вагону, я увидела небольшую, но очень громкую толпу. Бабушки вычислили моего немца и взяли его на абордаж. Было очевидно, что я опоздала: Макс растерянно прижимал к груди вареники, букетики калины, и вяло мотал головой, увораживаясь от рыбьей морды, что совал ему с криками «Дойче, дойче, фиш, гут, гут» неистовый дедок. От рыбы я Макса кое-как отбила.

В купе Максимилиан вытянул ноги в несвежих носках, и, выуживая из пакетиков жирными, сметанными пальцам тёплые тельца вареников, громко чавкал и звучно всасывал горячий чай, щуря глаз от торчащей ложечки. Немец адаптировался удивительно быстро.

## V

**В** Киев поезд прибыл уже ночью, с опозданием всего лишь в полтора часа. На вокзале нас встретил Арсен Хачманян. Как и полагается уважающему себя директору молокозавода, он важно выступил всей своей большой, колоритной фигурой из толпы встречающих. После объятий, мы прошли к машине, где нас, покуривая, поджидал шофер Витёк.

Машина сразу взяла лихой разгон, ведь ехать надо было еще километров сто по загородной дороге. Макс напрягся, судорожно шаря по заднему сидению в напрасных поисках ремня безопасности, в то время как по радио, громкости которого никто не снизил, орал хит местного сезона «Тебя хочу». Арсен с Витьком говорил по-украински, со мной — по-русски, с Максом — по-немецки, а кому-то по телефону ответил на армянском. У меня тихо начала ехать крыша. Рядом со мной Макс прерывисто задышал и попытался перекреститься, хотя крещённым не был: на полной скорости мы въехали в абсолютно чёрный лес, и машина запрыгала по ухабам.

— Ми цю дорогу звемо «Сімнадцять поворотів», — пояснил Витек. — Як нарахуєте

сімнадцять поворотів, значить все в нормі — проїхали. Тільки в понеділок тут машина перекинулася.

— Что, что он говорит? — заволновался Макс.

— Это местный лес, — перевела я. Макс с недоверием пытался всмотреться в скачущее пространство, освещаемое фарами.

— Та вы не бойтесь, — уверил меня Арсен, — выживем. Ща я Ире позвоню, чтоб борщ грела.

— Какой борщ? — часы показывали двенадцать ночи.

— О! Borscht! — понял Макс и радостно закивал. Было ясно, что полуночного борща нам не избежать.

## VI

**П**омимо борща, симпатичная Ирина открыла банки с солеными огурцами и маринованными грибочками, нарезала колбаски, помидор. Макс с громким одобрением всё съел, и, с осоловелой благодарностью глядя на Иру, залопотал по-английски. И без перевода всё было понятно по его раздутому животу. Вскоре, выкурив сигарету, он ушёл спать, провозгласив «I love Ukraine, I love Borscht!». Представляете такую футболку?

После суточного сидения, мне захотелось пройтись, о чем я и сообщила Арсену с Ирой. Они недоуменно преглянулись.

— Где пройтись?

— Нигде, просто по улице.

— Тут идти некуда, — сообщил мне Арсен.

— Что, дороги нет? — съязвила я в ответ.

— Нет, — хором ответили они.

Я не поверила и, выйдя во двор их частного домика, осмотрелась. Хозяева вышли вслед. Над нами миской нависало звёздное небо с молодым сказочным месяцем. Вдалеке лаяли собаки. Улицы не было. Не было и уличных фонарей. Сразу за воротами виднелись рытвины и ухабы, освещённые лампочкой-таймером. Лампочка погасла, и ухабы пропали.

— Ну что, убедилась? — спросил из темноты Арсен, — а теперь давай чаёк пить, у нас ещё тортик есть, «Киевский».

— Не, спасибо, я уже больше есть не могу.

— Мы тоже не можем, но надо. Велком ту Юкрэйн!

## VII

**У**тром, после долгожданного и глубокого сна, я вышла на кухню, где мне открылась следующая картина: здоровенный армянин в майке, заправленной в спортивные штаны, отрезал от свиной туши громадным бармалейским ножом куски мяса, запихивал их в мясорубку и яростно крутил ручку. Мясорубка исходила чавканьем и выдавливала розовых кровоточащих червяков. Рядом, подле куска сала размером с го-

лову, возвышалась гора очищенных красных перцев. Ничего себе сюжетец полотна «Утро украинских вегетарианцев», промелькнуло в голове.

— Ира уже ушла на работу, а я вот решил нам перцы нафаршировать, — пояснил Арсен, ловко — как-никак сын мясника — поддевая следующий кусок.

— На завтрак? — удивилась я.

— Ну почему же на завтрак, — обиделся Арсен, — на завтрак вон омлетик, греночки, салатик с колбаской, борщик разогрет, а перцы мы съедим, как они готовы будут.

Я присела за стол и занялась начинкой перцев. Максимилиан ещё спал, и я решила воспользоваться этой паузой, чтобы объяснить моему консервативному однокласснику, кто это вообще такой.

— Макс — это хороший друг нашей семьи. Он очень интересуется Россией, просто бредит ей. Даже самовар мне принес.

Арсен с пониманием кивал, попеременно то вертя ручку мясорубки, то нарезая куски мяса и сала. Его всегда было сложно удивить.

— А у мужа — лекции, да и не хотел он на поезде ехать. Вот. А Макс просто в восторг приходит. Так обрадовался, когда первую церковь увидел.

— А он что — православный? — нож на секунду завис в воздухе.

— Нет, он вообще некрещёный, в Восточной Германии детей обычно не крестили, но ему очень нравится всё русское — церкви, купола, березы.

— Так давай его покрестим, — предложил Арсен, отсекая от куска сала увесистый шмат.

— Как так?

— А так. Вон там телефончик лежит, дай-ка его мне.

Я послушно передала телефон Арсену, он отложил нож, быстро набрал номер, и, не переставая вертеть мясорубку, из которой ползли уже белые гусеницы сала, приложил телефон к уху.

— Алло. Арсен говорит. Да. Доброе утро и вам, а батюшка уже есть?

Пауза.

— Здрасьте, у нас тут мальчика надо покрестить. Нет. Взрослый. Немец. Что? Немец. Да, настоящий. Что? Да, есть. И крёстная тоже. Когда? Хорошо. Спасибо.

Арсен отложил телефон и посмотрел на меня:

— Завтра в девять утра — в церковь. Иди, кума, буди крестничка, после завтрака надо за покупками съездить. Крестик купить.

## VIII

**П**ерцы подспели к концу завтрака, так что пришлось есть и их. На обед прибежала Ира, и услышав о предстоящих крестинах, засуетилась.

— І рушник треба купити. І хусточку. Ще ім'я треба вибрати.

— Какое полотенце? Какой платок? Что за имя?

— Новое имя, каким крестить будут, — разъяснил Арсен. — А остальное — в «Сільпо» купим.

— Где?!

— Супермаркет такой тут, «Сільпо» называется, там и крестик купим.

Я смекнула, что за моё отсутствие в стране многое изменилось.



Ира, порывшись в шкафу, достала церковный календарь и вручила его слегка обалдевшему ещё в поезде Макс. Готовясь к поездке, он выучил кириллицу и теперь пытался читать имена, пока мы завели беседу на молочно-производственные темы.

— Я тут новый сыр задумал выпускать. Вот попробуйте, — начал Арсен, и Ира моментально выудила из холодильника несколько упаковок. Отказываться было неудобно, и мы послушно отведали от каждого куска.

— А чего ми всухом'ятку? — вновь подскочила Ира, — Я зараз чайка приготую.

Пришлось снова пить чай. От «Киевского» торта тоже было сложно отказаться.

— Надо. Надо доесть. А то испортится.

Я с тоской начинала понимать, что ещё очень не скоро влезу в джинсы.

— Pafnutiy!!! — неожиданно вскричал Макс и потряс над головой церковным календарем, перемазанным тортом.

— Что?? — мы вопросительно устроились на него.

Макс сверился с текстом, и медленно, по слогам произнес:

— PAF-NU-TIY, — довольно лыбился он, — I want to be Pafnutiy!

— Это что, он Пафнутием хочет окреститься? — вежливо сдерживая смех, спросил Арсен.

Я смех не сдерживала. Это был тяжелый, глубинный смех, со спазмами. После перцев и торта, сидя смеяться было трудно, поэтому я неэлегантным образом сползла под стол и оттуда громко постанывала. Смех оказался заразным. Под столом вскоре очутился и Макс с Арсеном. Из солидарности, Ира тоже присела на пол.

— Па-а-афну-утий! Ой, не могу-у, — дергалась я в конвульсиях.

Арсен Хачманян еще со школы знал эту мою, не всегда удобную, привычку впадать в неудержимый хохот от одного слова. Он так же знал, что, раз попав в разряд смешных, слово «срабатывать» будет всегда — и через десять, и через двадцать лет. Я, может быть, и из страны уехала, потому что накопилось слишком много смешных слов.

— Так дело не пойдет, — простонал Арсен сквозь смех, — как только батюшка произнесет «раб Божий Пафнутий»...

Тут уже все в полной истерике заметались по полу так, что чашки на столе угрожающе зазвенели.

— Ну вот, что я говорил? Нас всех из церкви попрут. А я тут, можно сказать, уважаемый человек.

При этих словах «уважаемый человек», лежа на спине, залился гомерическим хохотом, держась за живот. Смеялись мы ещё где-то час, пока Макс не выбрал спокойное имя Арсений — в честь будущего крёстного отца.

## IV

«**В**икипедия» сообщила мне, что городок Радомышль, с населением около 15 тысяч человек, до войны был наполовину еврейским. С приходом немцев, всех евреев согнали за город и расстреляли. Сейчас в городке живут в основном украинцы. Имеется пивоварня. Молочный завод. Есть и старый замок с прудом. Неподалёку — лес с вековым дубом, под которым, по легенде, отдыхал еще сам Богдан Хмельницкий. При осмотре городка из окна машины, также обнаружился монумент с трактором и памятник Ленину (у подножия последнего — три пластмассовые гвоздики).

Невдалеке я увидела провалившиеся крыши обугленных домов.

— А это что за сгоревшие дома? — спросила я Иру, как самую местную.

— А.. цэ.. цэ — еврейськи дома.

— Это дома расстреляных немцами евреев?

— Я не знаю. Всі ці будинки так тут називають — єврейськими. Треба у бабусі запитати.

Вона маленькою була при німцях.

— О чем это вы говорите? — с интересом спросил Макс по-английски.

— О погоде, — мрачно ответила я ему. Он кивнул и вновь высунул голову из окна машины. На обочине женщина в грязных резиновых сапогах прутиком подгоняла корову с раздутым выменем. Возле уха женщина держала ядовито-розовый мобильный телефон и кого-то громко бранила.

В «Сільпо» мы действительно купили крестик — я хотела маленький, попроще, но Арсен, с армянской щедростью, выбрал самый здоровенный, с фигуркой Иисуса и надписью «Спаси, Сохрани».

— Не каждый день немцев крестим, — резонно пресёк он все мои возражения.

Там же мы приобрели и специальное полотенце с золотой вышивкой, вытирать крестничка предстояло мне. Примерив косынку, я увидела в зеркале суровую колхозницу — доярку-призёршу — приехавшую в район получать медаль. Я быстро натянула тёмные очки, но желаемого сходства с Джэки Онассис не получилось. Доярка из зеркала не исчезла. Пришлось уходить мне.

После магазина, мы осмотрели замок с квакающим прудом, лес со знаменитым дубом, пригубили пива на пивоварне и посетили молочный заводик (пришлось пробовать и сметану, и сыр, и снова не всухомятку).

Вечером, после домашнего ужина, перечисление блюд которого отвлечет от текста любого, даже не очень голодного, читателя, мы вышли во дворик, подышать. А точнее — отдышаться.

Над головами у нас простирался яркий Млечный Путь, указывая давно исчезнувшим чумакам дорогу на Крым. Притихшие, мы всматривались в его мерцание. Он был так близок, что звёзды, казалось, можно было потрогать. В глубине сада синела стена украинской хаты-мазанки.

— Это, кстати, настоящая хата. С печкой. Она нам с участком досталась. Жалко сносить.

— Речка? Речка? — оживился Макс. Я уже привыкла к его способности выуживать знакомые слова из наших разговоров. Не могла я привыкнуть только к странному словарному запасу, включавшему в себя помимо «самовара», «подстаканников», «борща» и «печки», такие слова, как «галоши», «запой», «икра» и словосочетание «курица фаршированная».

Гостеприимные хозяева тотчас же пригласили нас в пустую низенькую хату. Арсен пошел за дровами, а Ира принялась клеивать старыми газетами голые оконца.

— А это она зачем? — спросил заинтригованный Макс.

— Та баба Марина все в вікна заглядає. Баба Марина до всіх заглядає, а потім всім розповідає, що вона бачила.

— Babamarina? — спросил уже с печи сбитый с толку немец. — What is Babamarina?

Ему никто не ответил, и он, разложив вокруг себя новые приобретения, включая крестик и полотенце, вновь углубился в церковный календарь. Так Максимилиан лежал, пока печь не накалилась, и не запотели окна, резко снизив бабе Марине видимость.

## Х

Церковь оказалась небольшой, очень уютной и красиво расписанной. Нас немедленно окружили три церковные бабульки. Они очень быстро и одновременно заговорили по-русски с глухим украинским «г».

— Ой, а он чога взаправдашний немец?

— А у нас тут немцы бували. Их тут мно-о-го було.

— Да, все вокруг церкви лежали. Могилок, считай, сто...

— А в году, дай-ка вспомнить, в году 2002-м ли...

— Та не, в 2003-м...

— Та точно, в 2003-м, сюда приехали, с Германии...

— Организация такая ихняя...

— Грят, мы за нашими немцами...

— А батюшка давать разрешение не хотел, грит, вы мне тут весь сад перекопаете!

— У нас деревья дуже гарни — вишня та яблони...

— А они ему, та не — мы аккуратненько.

— И так и вышло, мы утром пришли, а воны все вже обратно посадили.

— Даже лучше, чем було...

— За ночь всех откопали, только один остался — там, где трассу проложили.

— Батюшка даже молебен отслужил...

Макс тщетно пытался вслушиваться, но знакомых слов не находил.

— О чем они говорят? — шепотом спросил он меня. Но бабки заметили и немедленно переключились на него, повысив голоса.

— Ой, дай тебе Господи здоровья!

— И хорошего всего, счастья да радости!

— У нас батюшка хороший, славно окрестит...

Это я ему перевела.

Тут Арсен позвал нас делать запись в церковной книге.

Строгая старушка в чёрном платке открыла толстую книгу и приготовилась писать.

— Имя крестного?

— Арсен Матевосович Хачманян, — внятно продиктовал Арсен. После имени старушка замешкалась.

— Ма-те-во-со-вич, — повторил он.

Старушка с подозрением оглядела рослого армянина.

— Крещёный?

— Да, крещёный.

— Точно?

— Да что я вам тут врать буду? — одесскую манеру отвечать вопросом на вопрос старушка не оценила и продолжала пристально всматриваться в мясистый армянский нос.

— Да крещёный я, крещёный, армяне ещё раньше русских христианство приняли! — начал горячиться Арсен.

— Имя крестной...

Я назвалась. Двойное «м» не внушало доверие, но взглянув на подвязанный под моим подбородком доярочный платок, старушка успокоилась и перешла к имени Макса, что мы диктовали уже хором:

- Макси-ми — ли-ан, -пыхтя, старушка водила шариковой ручкой.
- Крестить Арсением будем.
- Ар-се-ний. Хорошее имя. Отчество?
- Отца, как отца зовут? Фазер?
- S-stefan...
- Степанович, значит. Так и запишем. Фамилия?
- Гу-зе-винкль. Немец.

Для пущего колорита мы также записали мой старый нью-йоркский адрес, Арсенов одесский и Макса берлинский. По огорошенному виду старушки было видно, что рассказ об этом крещении затмит все байки бабы Марины за последний год.

Вышел батюшка в небесно-голубой парчовой рясе, до удивительности похожий на американского комедийного актера Стивена Карелла, и я еще раз порадовалась тому, что Макс не стал настаивать на имени Пафнутий. Батюшка захотел узнать причины принятия немцем православия, обратившись с этим вопросом к самому Максиму на превосходной смеси украинского с русским. Арсен объяснил за него, подкрепив свою речь подношением в церковную кассу.

Обряд начался. Запела неожиданно молодым, ясным голосом одна из церковных бабuleк. Сверху, сквозь специальное оконце, просунулась игривая солнечная рука и защекотала позолоту окладов. Стройно горели свечи. Ира засопела, смахнула слезу и щёлкнула видеокамерой. Максимилиан-Арсений босиком, с мокрыми волосами, склонил голову, и батюшка надел на него крест.

Было очень красиво.

*Radomyshl — Berlin, 2012*

---



---



**Жёсткий реалистический РОМАН**  
**«Останусь лучше там...»**  
**Игоря ФУНТА**  
 вскрывает  
 тайны всемогущей  
**криминальной организации**  
 на территории  
**России**

ЛИТЕРАТУРНОЕ **zaza** ИЗДАТЕЛЬСТВО  
 VERLAG

## Тамара ВЕТРОВА



Тамара Ветрова, год рождения 1955.

По образованию и по профессии — филолог, преподаватель (окончила Уральский государственный университет, филфак).

Публикуюсь с 1992 года.

Основные направления — ироническая проза, фантастика, детективы.

Постоянный автор журнала «Урал», вошла в шорт-лист премии журнала «Урал».

Давненько, в 1999 году, стала лауреатом премии журнала (ныне не существующего) «Магазин» (который выходил под крылом М. Жванецкого).

На сегодняшний день, помимо ежегодных публикаций в журнале «Урал», мои детективные рассказы появляются в каждом номере журнала «Человек и закон» (начиная с 2008 г.).

Публикуюсь также в «Знание — сила: фантастика», в сетевых изданиях.

В 2009 году в Екатеринбургском издательстве «PJ-group» вышла книга иронической прозы «Кремлевские звезды».

Постоянный автор нескольких педагогических изданий.

Живу и работаю в городе Лесной Свердловской области.

# ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ МИКУЛА СЕЛЯНИНОВИЧ

фантастический рассказ  
из цикла «Девятая квартира»

**Х**отелось бы заметить, что талантливая книга Гиндилиса «SETI: поиск внеземного разума» аннотируется как сочинение, доступное читателю со средним образованием, и, помимо того, не требующее никаких специальных знаний. Впрочем, если вдуматься, то и правда — зачем? То есть к чему эти специальные знания? Известный космонавт (обладающий специальными знаниями) услышал во время полета отчетливый лай. Лаяла, по его предположениям, собака безусловно плебейской породы... Во-круг же, как сами понимаете, открытый космос... Можно, таким образом, допустить, что в описываемую минуту космонавт ощутил себя именно человеком со средним образованием, как раз... Такова реальность.

Возможно, в тот же самый час, когда было зафиксировано явление невидимой псины на космической станции, мертвая квартира №9 подала признаки жизни. А может, это без-

относительно... Так или иначе, вначале в квартире заработал пылесос. Сдержанный рокот прокатился по подъезду.

— Очнулись, бляди, — кратко высказался Старопольцев Виктор Ильич, жилец квартиры №11.

Старопольцев, интеллигентный пенсионер, который ежедневно с мрачной иронией выслушивал обзор погоды по региону, был человеком терпимым и выдержанным. Однако девятая квартира подточила эти его природные свойства. В течение последнего года он дважды просил в хозяйственном отделе показать ему топорик; получив требуемый предмет, Виктор Ильич его ревниво осматривал.

— Подходит? — равнодушно спросила девочка за прилавком.

— Смотря для чего! — отрезал Старопольцев.

В конце концов пенсионер топорик отверг. Что топорик! Жилец девятой квартиры Вася, маленький, толстый, голубоглазый идиот, гулял уже вторую неделю; гулял так лихо, что в квартире этажом в ы ш е намокли полы! Вот, спрашивается, как? Но, однако, именно намокли; набух палас... А грохот на лестничной площадке был таков, что мог соперничать с Ниагарским водопадом! Голубоглазый подонок Вася, однако, не находил в своем досуге ничего предосудительного. Тем более, его досуг тянулся с утра до вечера... Гулял, скотина, с таким смаком, как будто родился бабочкой, а не человеком... В субботу из окна (еще прошлой осенью лишенного стекол) выпала неплохая люстра с тремя рожками.

— Подними! — заорала в пустое окно соседка. И добавила, что люстра еще т а к с е б е, вполне годная...

Вася моментально возник в окне и улыбнулся, точно сидел в телевизоре.

Но благодущие внезапно покинуло телегероя.

— Щас! — заорал он на заботливую соседку. — Кто швырял, пусть и поднимает. Блин!

И провалился обратно в пустую комнату; сгинул...

А иногда случалось и так: праздничный дух неожиданно покидал девятую квартиру, и она, будто повинувшись таинственной злой воле, превращалась в поле брани. Брань там, кстати, действительно слышалась — крепкая и, прямо скажем, первородная... Что-то валялось на пол — тяжелое, как ядра; бухали далекие взрывы... Ну а потом, как и на всяком поле сражения, наступала тишина; в голову даже невольно заползала мысль о павших богатырях с известной картины; в высоком небе кружили черные вороны...

Но вот что следует отметить: никто не мог сказать с достоверностью, сколько человек жило в удивительной квартире. Ну сколько? Это было неизвестно, тем более, всякий раз из дверей вываливались разные, нередко и совсем незнакомые фигуры. Однажды — это чистая правда — в проеме окаянной квартиры вырос высокий красавец в фиолетовой чалме. Смуглое лицо с изогнутым, как боевой лук, носом, указывало, что чалма не видение... А что? Сплошные вопросы без ответов...

Жилица 10 квартиры Альбина Семеновна действия своих соседей никак не комментировала. Глядя на страшную дверь, она молча, но с сильным чувством плевала через левое плечо, а потом обводила вокруг себя руками в соответствии, по-видимому, с утраченным языческим ритуалом.

Конечно, милицию вызывали... Что ж!

Молодой участковый, симпатичный мальчик, растерянно вглядывался в раскрытый блокнот. Как видно, он искал там указание или хотя бы намек: как быть? В смысле — как одолеть орду из квартиры №9?

— С Васей я разговаривал, — робко докладывал он Альбине Семеновне. — Дважды... И с Анатолием...

— С Синим, что ли? — сверкнув глазами, уточнила жилища квартиры №10.  
— Он синий только в период запоя, — объяснил участковый. — А в период ремиссии...  
— А?

Участковый вздохнул.

— В диспансер определяли... На две недели...

Альбина Семеновна утерла лицо тыльной стороной ладони и машинально обвела вокруг себя руками. На что, интересно знать, рассчитывала? На магический круг?

Но бывало и так. Девятая квартира затихала на день, два, три. В недрах бастиона устанавливалось глухое безмолвие. Это было тем более странно, что никак нельзя было понять: куда подевались люди? Пусть и этот Синий? Или другой, в чалме? Да и беспечный, как птица, жилец Вася с ярко-голубыми глазами?

Полная тишина, полнейшая... Будто на некогда живой мир справедливые боги наслали вечную тьму; маунды, пустыня...

Вот в такой-то час и заработал в квартире №9 пылесос.

— Очнулись бляди, — высказался по этому случаю Виктор Ильич Старопольцев.

И будто в подтверждение в недрах проклятой квартиры сразу открылись краны. Выло и хлестало, как в Тереке — есть на далеком Кавказе такая гордая, непокорная река...

Виктор Ильич постоял пару минут, не отводя тяжелого взора от дверей девятой квартиры.

— И поджечь не годится, — выговорил сам себе пенсионер. — Сами же окажемся в зоне бедствия... А этим что! вон как вода хлещет...

И тут, будто от мощного удара изнутри, раскрылась дверь...

На пороге стоял (Виктор Ильич покачнулся) высокий человек... а лучше сказать — богатырь... Косая сажень (если вы понимаете, о чем речь)... Короче говоря, могучий, как дуб, незнакомец, подпирающий плечом дверной проем... С КАСТРЮЛЕЙ НА ГОЛОВЕ!

В глазах Виктора Ильича потемнело.

«Это не кастрюля, — успел, кажется, подумать пенсионер, угасая. — А шлем...».

Подумал — и закрыл глаза, мягко оседая на пол.

Неизвестный гость осмотрелся. Выглядел он форменным чудовищем: здоровый, как небольшая водонапорная башня, с плоской озадаченной физиономией... А одет?! Какая-то рубаха с узором до колен, лапти — каждый экземпляр величиной со сковородку... Залезавшийся реквизит ДК железнодорожников! И не будем мы садиться на добрых коней, не поедем мы во чисто поле... Бред, бред — да и еще с фольклорным уклоном...

Между тем, можно было заметить, грохот пылесоса и кранов в девятой квартире смолкли сами собой. А из распахнутых дверей потянуло как будто озоном; во всяком случае, ни один из стандартных запахов — пролитого пива или вчерашней закуски — наружу более не вырывался.

Незнакомец покашлял и коротким и точным движением запустил могучую длань под рубаху. После чего раздался щелчок, будто там внутри был скрыт какой-нибудь тумблер — и тут гость раскрыл рот.

— Гусли-самогуды, люди добрые, хлеб да соль! — сообщил богатырь. — Молодца на

обед, лошаденку на ужин, — добавил сей персонаж народной фантазии — впрочем, без особой уверенности.

Пенсионер Старопольцев открыл глаза.

— Не сули беду, ладу горькую, — участливо прогудело неизвестное чудовище.

— Лажу? — пискнул пострадавший пенсионер.

— Ой-люли-люли! — отвечал богатырь.

Тут в подъезде появилось еще одно действующее лицо. Это была Альбина Семеновна.

Еще с утра женщина была расстроена; поскольку горячая вода только называлась горячей, а на деле была комнатной.

— Что ихней водой помоешь? — прямо спросила она лежавшего на лестничной площадке пенсионера Старопольцева. — Руки?

Но тот ничего не отвечал.

Зато откликнулся богатырь из девятой квартиры.

— Чудище поганое! — густо вымолвил он. — Кишки воронам скормлю, зеленую кровь в болото спущу!

Лицо Альбины Семеновны слабо порозовело, но женщина не растерялась. Она привычно сплюнула через левое плечо и обвела себя руками.

— Хоть в унитаза, — спокойно ответила жилица десятой квартиры, а потом с осуждением сказала поверженному Старопольцеву:

— И вы хороши. Развалился, как на паласе...

Богатырь (или кто там было это чучело в национальной одежде) всё щелкал под рубашкой неизвестным механизмом.

Внезапно в открытых дверях девятой квартиры возник жилец Вася. Тут следует отметить, что, во-первых, Вася был безусловно трезв. Или, может, лучше сказать — не был пьян? Так или иначе, он твердо стоял на коротких ногах, а голубые глаза (это второе удивительное обстоятельство) смотрели не под ноги, а вверх, будто пытаясь пробиться сквозь облупленные стены и разглядеть звезды...

Наконец Вася отворил уста.

— Постоянство скорости света, — довольно уверенно заметил он, — требует, чтобы мы отказались от устаревших представлений о том, что одновременность является универсальным понятием.

В подъезде сделалось очень тихо.

— Вот ведь матери подарочек, — едва слышно вымолвила Альбина Семеновна.

— Додегустировался, — заключила женщина с жалостью, кивая головой в адрес Васи.

— Не существует универсальных часов, — гнул своё Вася. — Часы не могут бесстрастно отсчитывать секунды здесь, в квартире №9, — и на Марсе, на Юпитере, в туманности Андромеды или в любом другом уголке Вселенной.

Высказавшись, Вася внезапно всхлипнул. Слезы одна за другой покатались из голубых глаз.

— Вселенная, — всхлипнув, добавил Вася (надо думать, от себя), — очень большая...

А богатырь, установив могучие кулаки на широкой талии, вымолвил:

— Ошибка... Ошибка... Ошибка...

И — возможно машинально — прибавил:

— Горе-горькое, мати-дубравушка... Мати...

— Квартира №9 — наше дано, — заявил Лектор. — А теперь прокомментируем описанную ситуацию. Прошу!



Самый юный Слушатель задал вопрос:

— С чьей точки зрения?

Лектор усмехнулся.

— А с чьей бы вы предпочли?

Юный Слушатель пожал плечами.

— Я-то предпочел бы с точки зрения Вселенной.

Лектор хохотнул и покинул свою кафедру. Легким шагом он прошелся перед Слушателями, а потом заметил:

— А может, все-таки, с точки зрения Земного Наблюдателя? Допустим — одного из жильцов дома? Или непосредственно — девятой квартиры?

— Взгляд жильцов квартиры №9 непродуктивен для анализа, — уверенно возразил юный Слушатель. — Если учесть, что, согласно д а н о, жильцы квартиры пребывают в галлюциногенном тумане...

— Обыкновенный алкоголь, — вставил Лектор, с интересом приглядываясь к юному Слушателю.

— Неважно! Главное — общая неадекватность оценок. Что им чудо-богатырь? Мало ли... К ним, возможно, уже и джин из бутылки являлся!

— Что касается свидетелей, — продолжал Слушатель, — то, признаться, я не вижу большого отличия между жильцами девятой квартиры и жильцами других квартир. Характер их восприятия, как мне кажется, весьма сходен (хотя причины, лежащие в основе этого восприятия, — различны). ТЕ И ДРУГИЕ СВИДЕТЕЛИ НЕИНТЕРЕСНЫ, поскольку склонны объяснять фантастические события, не прибегая к фантастическим теориям.

— В д а н о, — заметил Лектор, — не было указаний на попытки объяснения.

— Так дайте эти указания! — дерзко высказался юный Слушатель, — И вы убедитесь, что трактовка будет стандартной...

— Не будем отвлекаться, — предложил Лектор. — Начнем с самих событий, а реакцию на события (как объект комментариев), с вашего позволения, отложим на потом.

— Ладно, — неохотно сказал юный Слушатель.

В лекционном зале возникло движение. Остальные Слушатели, по-видимому, начали проявлять нетерпение.

Лектор вернулся за кафедру.

— Вы понимаете, — обратился он к аудитории, — что тема обсуждения — контакт. Разнообразие его вероятностных форм стремится к бесконечности, однако... Мне бы хотелось напомнить вам, что Эйнштейн указывал на изъяны нашей интуиции...

— Эйнштейн, — влез непочтительный юный Слушатель, — говорил о скоростях, которые чрезвычайно малы по сравнению со скоростью света!

— Так и есть, — печально согласился Лектор. — Чрезвычайно малы... Да.

— Но мы говорим о другом, — буркнул юный Слушатель.

— О том же самом, мой друг, — выговорил Лектор. — О том же самом...

— Я думаю, — сказал Лектор, помолчав, — мы все забываем одну маленькую деталь. Которую — подчеркиваю — должны помнить во всякую минуту нашей жизни. МЫ ЖИВЕМ В КОСМОСЕ, вот в чем дело. Не в городе Малые Коленцы, улица Степана Разина; не на Луне (поселок Колонистов) — а в Космосе. Независимо от адреса и прописки.

Бесчисленное количество предметов, окружающих нас — будь то природные объекты или то, что сконструировано искусственно, — всё это, в конечном счете, Космос. И до тех пор, пока мы не научимся учитывать эту космическую составляющую, — мы будем жить

в заблуждении, что контакт возможен лишь с зелеными человечками, прилетевшими на летающей тарелке, на которой, к слову сказать, далеко не улетишь... Так, с крыши одного сарая на крышу другого...

— А тот, другой сарай, где? На Меркурии? — пробурчал неугомонный юный Слушатель.

— Неважно, — отрезал Лектор. И вторично предложил:

— Не будем отклоняться от нашей задачи. В квартире №9 произошел контакт. Впервые в истории человечества — или в десятитысячный раз — нас не касается. Контакт. Как, на ваш взгляд, инопланетяне появились на чужой территории?

Раздалось сразу несколько неуверенных голосов:

— С помощью переноса энергии!

— Сконденсировались из местных материалов, чтобы не использовать релятивистские скорости (что невозможно!).

— Из невыброшенного вовремя мусора? (юный Слушатель).

— Отказались от идеи переноса больших масс?

— Именно! Иначе вся их надежда базировалась бы на создании гиперпространственных тоннелей!

— Ну и базировалась бы...

— Это невозможно! Зато перенос электромагнитным излучением информации для формирования необходимых структур из местного материала...

— Уже говорил...

— Тем не менее! Хочу напомнить о Зонде Брейсуэлла...

— Ну, напомни...

— Господа! (Лектор). Быть может, имеет смысл отказаться от личных амбиций и перейти к культурной дискуссии?

— Они (реплика юного Слушателя) появились и м о д н и м и з в е с т н ы м  
с п о с о б о м !

— Из воздуха?

— Смотря что вы называете в о з д у х о м...

Лектор (несколько повышая голос): Благодарю, господа, за интересные версии. А теперь прошу прокомментировать — гм — внешний облик.

— То есть лапти, шлем?

— Богатырскую повадку?

И лексику?

Именно так, господа.

— У него на бейджике (реплика с последнего ряда) указано имя: Микула Селянинович. Я разглядел...

— Да ведь бейджик скрыт на внутренней стороне воротника!

— А я присмотрелся...

— Он же сам признал, что его богатырство — ошибка. Экспонат...

— Как ты сказал?

— Ну, экземпляр...

— Сам ты экземпляр!

— Господа, господа! Оговорки на уровне терминологии нередко имеют, как вы знаете, серьезные последствия. Назовем нашего гостя «космонавт»; тем более, так оно и есть. Микула Селянинович... эээ... — первый из известных космонавтов, вторгшийся на территорию Земли из внешнего космоса.

— Вторгшийся? (реплика юного Слушателя).  
— Прошу прощения. Явившийся с визитом.  
— Ага...  
— И последнее на сегодня (Лектор). Каковы перспективы? Иначе говоря, как данное событие отразится на судьбе жильцов квартиры №9? Всего подъезда? Дома? Населенного пункта? Человечества? Солнечной системы? И всего звездного сообщества?  
— Всего?  
Лектор (поколебавшись): Рассмотрим для начала только область Млечного Пути.  
В двух словах, господа... Прошу!

Голубоглазый Вася приходил в себя.  
— Вот коростель, — заметил он, пытаюсь схватить ускользающую мысль.  
Тут жилец девятой квартиры протер глаза и обвел комнату равнодушным взором.  
— Разрушения, — вымолвил Вася. — Как на великой стройке...  
Напротив сидел знакомый добрый молодец. Даже сидя он был заметно выше Васи, который стал рядом и со скрипом потянулся.  
— Здорово, — сказал хозяин квартиры гостю. Потом подумал и добавил:  
— Как это говорится... Хлеб да калачи... Чего?  
Богатырь молча выслушал жильца квартиры №9 и тоже встал. Вася вторично протер глаза, или лучше сказать — ясные очи.  
— Крепкий... организм... — вымолвил он, с трепетом осматривая чудесного гостя.  
Богатырь вдруг отворил уста.  
— Я пошел, — сообщил он.  
— Куда? — уточнил жилец.  
— Восвояси.  
— А это где?  
— Рядом. 12 тысяч световых лет.  
— А?  
— Но ты останешься. Будешь моими глазами и ушами.  
— Ну, — сказал Вася, почесав лоб. — А работы много?  
— Никакой. Только смотреть, слушать и записывать.  
— Шпионить?  
— Добывать информацию. Но за мной, — добавил гость великодушно, — всё необходимое. Пиво, водка — в количествах, которые требует твой организм.  
— Он, — вставил Вася, — того... Много требует.  
Гость кивнул.  
— Будет, — твердо пообещал он. — Каждый день столько, сколько сумеешь вместить.  
— Я-то вмещу, — заметил жилец девятой квартиры.  
Богатырь кивнул. Он сделал шаг к окну и напоследок обернулся. Потом засунул руку под рубаху и привычно щелкнул. Раз — и Васи в комнате больше не было. Зато на покрытом клеенкой столе появился граненый стакан. Глаза и уши. Око Вселенной... Мы не будем садиться на добрых коней, не поедем во чисто поле... Не поедем? Ну да, еще как поедем... Куда денемся...

Василий БЕТАКИ  
(1930-2013)

АНОНС

АНОНС



Обычно, когда человек уходит из этого мира, он оставляет на земле скорбящих родных и друзей. Обычно, но не всегда. Яркость личности и насыщенность жизни того, кто начал новый этап своего бытия 23 марта 2013 года, делают скорбь ненужной и неуместной.

Исчезновение изношенной физической оболочки ничего не значит. Истинная суть этого человека, его истинное «я», продолжающее свою жизнь в иных измерениях, никогда не покинет нас полностью, продолжая делать наше земное существование чуть более переносимым. Поэтому я буду говорить о нем только в настоящем времени. В прошедшем времени о таких людях не говорят.

\* \* \*

Василий Павлович Бетаки — поэт, писатель, переводчик (ученик Павла Антокольского и Татьяны Гнедич), историк архитектуры, голос «Свободы» и просто хороший человек.

Сын известного художника-футуриста Павла Бетаки. Родился 29 сентября 1930 года в Ростове-на-Дону, через год переехал с семьей в Ленинград, где прожил до сорока трех лет. С 1973 года живет во Франции, в Медоне.

Василий Бетаки олицетворяет собой непобедимый дух свободы, кузминский «легкий гений», раблезианскую полноту жизни — короче говоря, все то, что пытался у нас отнять советский режим.

Это он переправлял «тамиздатские» книги в СССР, давая нам возможность не утратить сопричастность русской культуре. Это его голос прорывался сквозь визг глушилок вместе с голосами Анатолия Максимовича Гольдберга, Виктора Вольского, Галича и сэра Севы. Это его переводы донесли до незнающего иностранных языков читателя гений Эдгара По и Ярослава Сейферта.

В своих мемуарах Бетаки приводит едкую, но абсолютно справедливую цитату из Солоневича: «В эмиграции каждая болонка рассказывает, что в России она была сенбернардом».

Бетаки никогда не рассказывал, что он был сенбернардом. По очень простой причине — он и есть сенбернар.

В следующем номере мы опубликуем подборку стихов и прозы Василия Павловича Бетаки, посвященную его памяти.

*Вадим Молóдый*

АНОНС

Валерий ИСАЯНЦ

АНОНС

АНОНС



*Краеугольным камнем изучения и понимания людей творческого типа и в особенности, изучения творческого психомеханизма, служит психопатология гениальных людей и психопатология творчества.*

*Г. В. Сегалин (1878-1960)*

Говорят, что когда-то доктор Сегалин (основатель «Клинического архива гениальности и одаренности», он же «Журнал эвропатологии») лечил Хлебникова и при выписке выдал ему следующую справку:

*«Хлебников В. прошел курс лечения в клинике доктора Сегалина и никакой опасности для общества не представляет, однако ввиду того, что общество представляет для Хлебникова несомненную опасность, убедительно просим всех порядочных людей оказывать Хлебникову В. любую возможную помощь».*

Скорее всего, это апокриф, но как бы хотелось, чтобы это было правдой...

Издательство «Водолей» снова сделало бесценный подарок всем ценителям русской поэзии. Только что в Москве вышла книга «потерянного поэта» Валерия Исаянца (*Исаянц В. «Пейзажи инобытия»*. — М.: Водолей, 2013. — 200 с. ISBN 978-5-91763-155-4).

В следующем номере «За-За» мы поместим подборку стихов этого выдающегося мастера, а пока я отсылаю всех, интересующихся его биографией, к предисловию составителя книги Полины Синёвой и послесловию Михаила Непомнящего. Особенности мышления Валерия Ивановича Исаянца, сделавшим его одним из интереснейших поэтов нашего времени, я посвящу отдельное эссе.

Позвольте только напомнить вам эти строки Джона Драйдена:

Высокий ум — безумию сосед.  
Границы твердой между ними нет.

*Вадим Молóдый*

Заказать книгу Валерия Исаянца можно здесь:  
<http://www.vodoleybooks.ru/home/item/978-5-91763-155-4.html>

АНОНС

Андрей КНЕЛЛЕР

АНОНС

АНОНС



*Начиная со следующего номера, мы начинаем печатать шедевры русской поэзии в переводах на английский язык. Позвольте представить вам переводчика. Андрей Кнеллер родился в Москве. В десять лет вместе с семьей эмигрировал в США. Жил и учился в Нью-Йорке. Не желая терять свои корни и забывать язык, читал любые книги на русском языке, которые мог найти. К счастью для Андрея, его отец очень любил русскую поэзию и имел хорошую библиотеку. Таким образом, Андрей открыл для себя поэтов, которых начал переводить, и научился писать стихи. Долгое время он считал свое увлечение не более чем забавой, пока не понял, что многие любители поэзии оценивают его переводы чрезвычайно высоко. В переводах Андрея вышли стихи Пушкина и Блока, Цветаевой и Маяковского, Ахматовой и Пастернака, Высоцкого и других поэтов. Вот один из его переводческих шедевров:*

Моим стихам, написанным так рано,  
Что и не знала я, что я — поэт,  
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,  
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,  
В святилище, где сон и фимиам,  
Моим стихам о юности и смерти,  
— Нечитанным стихам! —

Разбросанным в пыли по магазинам  
(Где их никто не брал и не берет!),  
Моим стихам, как драгоценным винам,  
Настанет свой черед.

Май 1913

АНОНС

\* \* \*

My poems, written early, when I doubted  
that I could ever play the poet's part,  
erupting, as though water from the fountain  
or sparks from a petard,

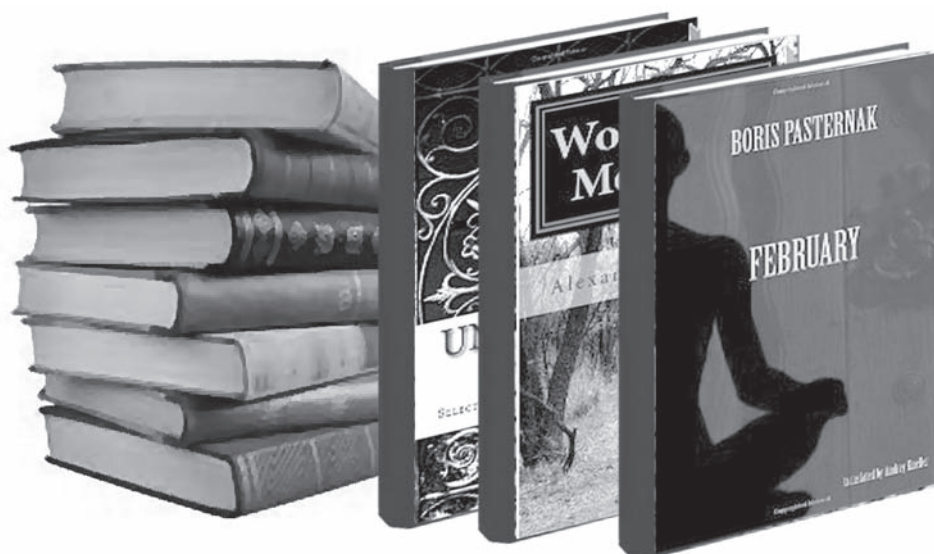
and rushing as though little demons, senseless,  
into the sanctuary, where incense spreads,  
my poems about death and adolescence,  
— that still remain unread! —

collecting dust in bookstores all this time,  
(where no one comes to carry them away!)  
my poems, like exquisite, precious wines,  
will have their day!

*Вадим Молóдый*

АНОНС

АНОНС



Редактор  
Е. Жмурко

Редакционная коллегия  
В. Порудоминский, В. Молóдый, Е. Крюкова, Н. Борисова, И. Дж. Курас

Редакционный совет  
Е. Витковский, С. Александровский, В.Бетаки, Л. Зорин, Б.Кокотов, Е. Кольчужкин,  
Р.Левчин, Ли Мэн, Е. Цейтлин

Обложка The Val Bochkov Studio © USA  
Компьютерная верстка и внутреннее оформление О. Гураль

Copyright © 2013 Зарубежные Задворки  
ZA-ZA Verlag: [www.za-za.net](http://www.za-za.net)  
Düsseldorf, Februar 2013 — 240 s.

Гарнитура «Calibri»; кегль «12»  
Отпечатано в типографиях: LULU, USA и ООО «Книга по требованию», РФ